К 79/31

НОВИНКИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дм. ФУРМАНОВ

ДНЕВНИК

(1914—1915—1916)

Предисловие Г. Зиновьева

★

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

1930

ГОСИЗДАТ РСФСР
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Российская Ассоциация Пролетарских Писателей
НОВИНКИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ДМ. ФУРМАНОВ

ДНЕВНИК

(1914 — 1915 — 1916)

Под редакцией
АННЫ ФУРМАНОВОЙ

2-е ИЗДАНИЕ

ГОСИЗДАТ РСФСР
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
МОСКВА 1930

Отпечатано
в 14-й типографии
„МОСПОЛИГРАФ"
Москва, Варгунихинская гора, 8.
Мособлит № [redacted] 10 000.
Ст. ф. А4 148×[redacted] Т. 930.
Об'ем 16 л.

БИБЛИОТЕКА Г. И. М.
№ 27567
8 - XII 1930

Дм. Фурманов

ОТ РЕДАКТОРА.

Что представляют собой дневники Дм. Фурманова? С внешней стороны это большое количество записных книжек, тетради, большие конторские книги, просто сшитые листы. Все дневники написаны четким почерком с применением целого ряда обозначений и сокращений. Имена и некоторые слова зашифрованы особенным фурмановским шифром — русское слово написано немецкими вперемежку с французскими буквами.

Подчас расшифровка представляет громадную трудность, потому что Фурманову хотелось написать побольше и поскорее, мысли опережали писание, и ни о слоге, ни о знаках препинания думать ему не приходилось. Чрезвычайно трудно было при отсутствии запятых и слитности слов разбивать фразы и отдельные слова, определять само слово, так как некоторые буквы имеют одинаковое начертание. Но одними буквами шифр не ограничивается, введены особые знаки для обозначения некоторых слов.

Дневники писались Фурмановым не для печати, при обстановке, далеко не располагающей к отделыванию слога и порой самой неожиданной: то под видом студенческой работы на глазах у всех, то на университетских лекциях, в окопах, в поезде, перед боем, в бою. Немудрено, что язык его иногда не отличается изяществом. Стилистические поправки, может быть, сделали бы эти записки более понятными для читателя, но они отняли бы у этих драгоценных человеческих документов колорит подлинности, а потому считаем их недопустимыми.

Будучи журналистом и братом милосердия, Д. Фурманов в 1914—1916 гг. побывал на всех фронтах, на Кавказском: Сарыкамыш — Карс — Эривань — Джульфа, побывал в Галиции, наконец, попал на германский фронт под Двинск — Казяны.

Фурманова все интересовало: и жизнь в окопах, и быт на стоянках, и переживания солдат во время боя. Бессонными ночами, дежуря у раненых, Фурманов выспрашивал у них о боях, о враге, о деревне, о семьях и сейчас же записывал все в дневники.

Я помню такой случай: Георгий Гребенщиков, находящийся теперь за границей, заведывал 28-м Сибирским отрядом, где находился и Фурманов. Отношения вначале у них были хорошие, а потом Фурманов стал обрывать Гребенщикова за грубость к солдатам, за нечуткое отношение к их переживаниям. Однажды, после крупного скандала, Фурманов спокойно взял книжку и стал записывать. Гребенщиков, разозленный, подскочил к нему.

— Что, для истории записываете? Гребенщикова зверем выставляете? Журналистишка несчастный! Я разорву ваши записки! К чорту, к чорту! Как писарь, носится с пером и книжкой. Чтобы не было этого, слышите, иначе вон-вон из моего отряда. Мне доносчиков не надо, студентишко, недоучка!

Фурманов спокойно продолжал писать, вывел из терпения Гребенщикова, и через несколько дней Фурманова в отряде уже не было.

Из-за записных книжек у Фурманова не раз были неприятности и с Чапаевым, который также думал, что Фурманов строчит донос на него.

— Ты эти глупости брось, — говорил Чапаев. — Меня на словах не поймешь, я знаю, что ты все мои слова записываешь,— Михаилу Васильевичу жаловаться!

Не знал он того, что по этим запискам будет написана книга „Чапаев“, не знал и того, какие ценные материалы оставил Фурманов, ведя эти записи.

Эти записки предназначал он для своей большой работы „Эпопея гражданской войны“. Фурманов не был еще коммунистом, но читатель, прочитав эти записки о войне, ясно представит себе дорогу, по которой должен был итти Фурманов. Через записки о войне, через „Путь к большевизму“ Фурманов пришел в коммунистическую партию, которой и отдал все свои знания, здоровье и силы.

Москва, 28 апреля 1929 г. *Анна Фурманова.*

1914 и 1915 гг.

22 ноября 1914 г.

Еду в санитарном поезде. Путь — Вятка, Вологда, Екатеринбург. 2 доктора, 2 брата, 3 фельдшерицы, 5 сестер. Знаком мало, узнал мало.

Прежде всего и сильнее всего поразила меня расточительность на персонал. Закупаем бог знает что — даже моченые яблоки. Обед из трех блюд; компоты, яблоки, кисели, желе... Возмутительно. Там, где-то, чуть ли не умоляют принести огарки свеч, худые штаны, дребедень разную, а здесь — из трех блюд. Интеллигенция — конечно, но все знают, на что едут, до какой степени можно сократиться.

Можно и (верю) согласились бы все уменшить бюджет, по крайней мере, наполовину. Масса идейных, серьезных работников, вначале и не помышлявших о вознаграждении, но отказываться в одиночку нет сил, да и смысла мало — не поможешь. На передовых позициях платят громадные деньги, в то время как у дверей всех союзов стоят целые кадры желающих работать добровольно и бесплатно. Откуда-то свыше санкционированы все эти шальные расходы, и масса денег уплывает попусту. Надо понимать общее положение дела, до дна, а тут все как-то поверху. Затей много — крупных, необходимых, целесообразных, но форма как-то всюду неумна. Чужие деньги. Этим все об'ясняется. Приходят бог знает откуда эти страдающие. Мы ведь воочию-то не видим страданий, только слышим о них да читаем. А где ж тут почувствовать все?! Отклики. Отзвуки. Грустно видеть, как все эти добрые дела обрастают какой-то шелухой, загрязняются, утрачивают красоту своего существа, своей первоосновы.

Совет в Фплях. Решены ночные дежурства. Сестры, конечно, на дыбы. Нашлось много обходов: нецелесообразность, опасность ночных осмотров, скука, беспокойство. Мы с товарищем поделили первую ночь. Я осматривал, спрашивал. Сидит солдатик и плачет.— „Что плачешь?“ — спрашиваю. „Рука болит, ломит всю, спать не дает“. Посмотрел: сквозная рана почти у самого плеча совершенно подсохла. Ничего страшного. Ломит кисть и несколько выше. Успокоил, сказал, что доктора приведу. Оказалось, что разнервничался, устал он. Принес я ему таблетку морфию. Смотрю — уж улыбается, сидит спокойный, такой веселый; видно, что верит в помощь „белого человека“. Принял таблетку, улегся; конечно, уж успокоенный лег. Верно, заснет теперь крепко. Как же вот тут ночная-то помощь не нужна? Всю-то ночь промаяться не шутка! А мало ли таких-то случайностей может быть.

Ровное настроение, хорошее самочувствие. Видно, что кругом все хорошие люди, только не сошлись еще. Дичимся, замалчиваем, сторонимся друг друга как-то инстинктивно. Новички. Но видно уже заранее, что на мужской половине все будет дружно, за женскую не отвечаю.

26 ноября.

Когда впервые явилась эта мысль, она казалась такой необ'емлемо-широкой, важной, самоценной. Чудилось дело, могущее заполнить все существо — без обычных мелочей, раздражительных и пошлых. Я даже видел свое лицо в перспективе — оно было серьезно, сосредоточенно, проникнуто одною лишь мыслью о важности самого дела. Даже улыбки не было на лице, так было оно сурово, серьезно, ревниво к своему молчаливому покою. Вся жизнь ушла в дело. Пусть первоначальная мысль избрала это дело средством самоубийства, пусть. Я и теперь держусь еще той же мысли, хоть и ослабевшей, но самое дело, как дело, громадно, значительно и слишком важно, чтобы подпускать к себе шутку. Но первоначальная форма дела разбилась: вместо боя — стоим, вместо неперевязанных искалеченных бедняков — я вижу только широкие белые поля, разбросанные деревеньки да красивую густую шапку занесенных белых елей.

27 ноября

Здесь, на Урале, странно дико. Те же ели, что и у нас, те же поля, прогалины, овраги, но вы чувствуете сразу, что тут непробудная, первобытная глушь. Лес словно втягивает в себя: опушка такая же редкая, чистая, как и у нас, но пройдите несколько шагов, и вы увидите, как деревья сжимаются, как опушка переходит в чащу. А день солнечный, светлый, радостный. Все серебрится кругом и блещет чисто праздничной, северной красотой. Скоро будет Гороблагодатная,— увидим ворота из Европы в Азию. Мужички говорят, что здесь много медведей.

— Идешь, а он, косолапый, уж хрустит по ельнику. Почует тебя аль увидит,— и наутек.

— А не трогает? — спрашиваю я.

— Куды ему? Разя тронет? Никогда не тронет, это только мы ему не даем покою-то,— засмеялись мужички.

Много тетеревов, глухарей, рябчиков.

6 января 1915 г.

НА ТУРЕЦКИЙ ФРОНТ

Мне как-то стыдно об этом писать. Так мелко, так пошло, что не стоило бы и говорить, но дело обострилось, и хочется поговорить о нем. Тем более, что тут много интересных психологических оттенков и самых неожиданных осложнений. Наши женщины, почти все, крайне несимпатичны своей мелочностью. А в общежитии уже одно это является крупным недугом. То-и-дело слышишь тайные совещания и шушуканье за углом: „Я сказала. Он сказал, что я сказала, а он говорит, что я"... и проч. и проч. без конца. Получилось много интриг — смешных, глупых, возмутительных. Тут еще целый месяц безработицы, ужасная деморализация,— ну, словом, создалась самая удобная каша для скандала. Мы взвинтились до последней степени, как-то невольно упустили из виду нашу главную цель и сконцентрировали все свое внимание на этой стороне жизни. Раз вечерком, впятером, выкурив свой товарищеский брудершафт, мы разговорились о ненормальности

обстановки, отсутствии общего товарищества и невольно пришли, сами того не замечая, к необходимости предложить ультиматум нашему старшему начальству: или мы, или они. Вышло случайно, но чем дальше и глубже мы копались, тем больше отыскивали причин и поводов к этому решению. Дело сделано: написали протест, подписались, подали. Старший врач женщина — отчаянный трус — не приняла нашей бумаги, и пришлось итти в местное отделение Земского союза, где как раз находился в это время уполномоченный и глава 7-го полевого отряда Полнер. Подали свою бумагу не ему, а другому — Глебову. Тот отнесся довольно сочувственно и обещал разобрать. Так в тоске прошло несколько дней — неопределенных, мучительных, противных своей туманностью. Бумага была коротка, там значилось: „Имеем честь доложить Земскому союзу, что мы оставляем поезд, не имея возможности работать с некоторыми лицами медицинского персонала". Следовали подписи. И так мы промучились 3—4 дня. Отправки и ждать было нечего. Мы отчаивались и решили отправиться с первым попавшимся поездом под Сарыкамыш, надеясь там найти работу. Был уже поздний вечер. Мы сидели и пили чай у себя в купе. Влетает товарищ и сообщает неожиданную весть: в три часа ночи едем под Сарыкамыш. Как громом ударило нас. И обрадовались сразу и смутились. Собрали живо, что было можно, утром тронулись. Вот и все. Но здесь ценны некоторые частности. Сейчас я о них и скажу.

Новый наш товарищ Яков Альбертович был, конечно, во всем с нами заодно, он был даже один из упорных. Главою нашего заговора мы выбрали заведующего Н. Е. Ему приходилось вести все переговоры с врачами, ему всегда были козыри в руку. Врач в последнем разговоре пыталась ему раз'яснить, что все это слишком мелко, недостойно внимания и унизительно. Что она и сама, может быть, ушла бы давно из этой тянучки, но боится — не пострадал бы поезд, не раскассировали бы его, да еще, конечно, держит и сама святость работы. Н. Е., конечно, передал все это нам, и как раз в то время, когда мы шли в союз подавать бумагу. Яша сделался вдруг молчалив, задумчив и все время жаловался на страшную тягу в душе. В последнюю минуту он отказался от нашей

затеи: „совесть, говорит, не позволяет, думайте обо мне что хотите, но я останусь. Пусть обстановка будет тяжелая, буду держаться за дело и терпеть". Произошел форменный разрыв. Наша шестерка распалась. Написали тут же новые бумаги с пятью подписями и дали Глебову. Он остался в коридоре один, опустив голову на руки. Картина была не из веселых. Все мы сразу почувствовали какую-то неловкость; он стал уже не „нашим", не „своим", как мы называем членов нашей коммуны. Потом подошел к нам и как-то робко все пытался что-то об'яснить о высшем принципе, но выходило плохо. Да его и слушали плохо. „Только не дай бог, господа,— заключил он,— кому-нибудь из вас переживать то, что я теперь переживаю". И, действительно, на него было жалко смотреть. Естественно, что каждый мог толковать его поступок и вкось и вкривь. Но я поверил почему-то сразу и во все. Он подкупил меня своей серьезностью. Для меня было ясно, что тут нет ни трусости, ни измены. Его, действительно, поразила та ничтожность, из-за которой мы все решили пожертвовать большим и важным делом. Неловкость создалась, и ее все чувствовали. Если бы он заявил смело и решительно, вышло бы лучше, а он как-то робко, хотя и окончательно, высказался перед нами, и видно было, что боялся товарищеского суда. После он говорил мне, что, сидя один, все думал, что мы говорим о нем, как осуждаем его за измену, какие даем ему названия.

Ночью об'явили, что на заре выезжаем. Все как-то ободрились. Это ехали еще не в Сарыкамыш, а в Навтлуг, куда должно было прибыть более тысячи раненых. Когда на работе я вспомнил наш разлад, он так показался мне ничтожен, так гадок, что я решил остаться во что бы то ни стало. И что значат наши мизерные разлады в сравнении с этой настоятельной необходимостью помогать изуродованным солдатам? Накануне я сильно разладил с врачом, грубо оборвал его, так грубо, что он бросил тарелку, убежал к себе в купе и заплакал. Дело вышло так: в Навтлуг брали не всех. Мне страшно хотелось ехать, но я отказался ехать лишь на том основании, что я явился первый к доктору и об'явил о своем желании ехать. Я требовал жеребьевки, потому что ехать хотелось всем. На этой почве и произошло недоразумение. Тут,

в горячей работе, мне сделалось стыдно и жалко врача, я вызвал его в коридор, взял руку и попросил извинения. И вышло так хорошо, так просто. Мне сделалось легко. Я об'явил товарищам о своем решении; вместе со мной был заодно и Александр Павлович. Остальные еще не дали окончательного ответа. На следующий день рано утром мы уехали в Сарыкамыш, и дело пока приостановилось. Но теперь стоит другая задача. Если бы я шел только против товарищества, то я остался бы с легкой душой, но здесь затронуто еще дело чести. Николая Евгеньевича мы, можно сказать, подбили на это дело, и теперь выходит так, что, подбив, бросаем. Он должен уходить, потому что ему нечем оправдать свое желание остаться после такого официального отказа. У нас совсем другое дело: мы просто чистосердечно расскажем, что, побывав снова на работе и увидев воочию все ужасы, решили отказаться от своего старого решения. У нас причина слишком очевидная и осмысленная, а у него что? Товарищество, за компанию? По-мальчишески выходит, да и не согласится он на это сам никогда. И выходит гадко: затравили и оставили одного. Дело еще может решиться само собой. Елена Романовна, кажется, думает уходить сама, а Гречушка выходит замуж. Эта тоже долго не наездит. Теперь Яша снова наш. И как он рад, как теперь он тепло и дружески относится ко мне. Но если только он останется один — какая же это будет для него мука!

Одной из крупных ошибок всех организаций санитарного отдела является назначение женщин в качестве старших врачей. Где нужно смелое, твердое и прямое слово, там бессильны и даже несколько смешны приемы женской психики. Много вопросов остаются неразрешенными: к женщине с ними не подойдешь, а подойдешь — рискуешь быть понятым лишь наполовину. Да хорошо еще, если душа поистине теплая и любящая,— там недостаток твердости и уверенности до известной степени покрывается лаской и приютом. А что вы будете делать, если попадется вам в начальники такой вот отвлеченный человек, как наша женщина-врач? Она нас всех словно совсем и не замечает, словно нас и нет подле нее, словно тревоги нашей жизни — не общие тревоги. Она, быть может, хорошая,

тихая жена, спокойный кабинетный работник,— но и только. Нужду нашу, потребность общего согласия она глушит своим возмутительным равнодушием и остается покойной, не захваченной высоким пульсом общей тревоги. Это, конечно, с известной точки и хорошо, но хорошо лишь для нее самой, а не для нас. Поставленная в голову жизни целой семьи идейных людей, собравшихся бог знает откуда для хорошего дела, побросавших свои дела, отрекшихся на время от своего покоя и уюта,— она могла бы широко использовать эту благодарную почву.

Здесь все так напряженно, так близко к порыву, что играть на струнах этих возбужденных душ совсем не трудно,— надо только иметь в душе хоть маленькую искорку. А она — от'единенная, сторонящаяся общей, круговой поруки — создала нам такую тоску, такую скуку, что больно писать. Когда мы вместе, ее присутствие действует подобно молоту, занесенному над простой, хорошей речью, подобно молоту, готовому все пришибить своей молчаливой тяжестью. Она молчит, она редко перечит, но в том и все горе. Легкая улыбка, невольный кивок головой — достаточно и этого, чтобы пришибить живое слово. И нам гадко, противно быть с нею — с этим безукоризненным, тактичным, но безжизненным и затхлым существом. Это от'единение, впрочем, дало и благие результаты. Мы от'единились сами и на почве протеста составили свою знаменитую в известном смысле „шестерку". Категорически заявленный нами протест против двух сестер-барынь кончился в нашу пользу. Их выгнали с триумфом. Ну, и действительно уж были барыни! Словно они и не на работе, а где-нибудь на водах, на курорте. Чувствовали себя великолепно, требовали вместо чаю какао, раздражались на непрожаренные котлеты, гоняли целый день прислугу по своим гадким и смешным надобностям; заявляли громкие протесты по поводу папироски, выкуренной возле их купе, и проч. и проч. Фактики мелочные, даже гаденькие, но мы, пожалуй, учитывали не столько эти фактики, сколько общий дух поведения и видимое непонимание ими благородства и святости нашей работы. На поставленный ультиматум: мы или они, нам ответили, что одну уж давно зовет муж, а другая не хочет, чтобы из-за нее одной уходило пять-

шесть человек, а потому уходит сама. Ясно было, что их прогоняли, тем более, что и сами врачи дорожили ими только на словах, ратовали больше за себя, чем за них, видя в нашем возможном успехе, в нашей победе и свое собственное поражение. Врачи наши—типичные слюнявые, воркующие бабы. Это ничего, что второй врач мужчина,—он, пожалуй, даже будет похуже и поразмазистей любой бабы. Он женат, есть, кажется, ребятишки, но еще совсем молодой—лет 28—30. Бесхарактерность удивительная, мысль поразительно короткая и неглубокая. Близорукость восхитительная до смешного и в придаток ко всему мягкая, засыпающая под любой говорок душа. Он милый, легкий в жизни человек. Жена уж, верно, молится за своего Маркушечку, а у детей нет лучше моментов, как сидеть у него на коленях, ласкаться и играть золотой цепочкой, переброшенной по нарастающему маленькому, беленькому животику. Молодой барчонок, понявший прелесть расстегнутых и заношенных студенческих мундиров, родовой патриций, проведший несколько лет в кругу плебеев,—он не оттолкнулся от плебеев, а, напротив, по-своему полюбил и оценил их. С ним жить легко каждому, кто не ищет в мужчине истинного мужчину. Он мягок, словно воск, а когда случайно вспыхнет, то становится смешным, как молодой разлягавшийся теленок. Но—как это ни странно—он о себе как раз противоположного мнения. Он подозревает в глубине своей души наличность еще непочатых углов решимости, прямолинейности, стойкости, умной и деловой распорядительности и... неумолимости в сложных и путанных делах. Мы смеемся от души, когда он начинает обнажать перед нами эти непочатые углы. По близорукости он не видит насмешки и шумный, порою даже слишком ядовитый наш восторг принимает за чистую монету и понимает по-своему. Мы уже больше не возмущаемся его распоряжениями, не сердимся злобно на то, что у него „на дню семь пятниц“, а попросту не обращаем, где это можно, на его распоряжения внимания и стараемся успокоить милого ребенка, что все будет хорошо. А успокоить, уговорить его так легко. Смотришь—вот уже и глазки хлопают сочувственно и голова покачивается в такт речи,—это значит: все готово, все кончено.

ПОРОЖНЯЯ МОГИЛА

Рассказывал мне это молодец лет 25—26, георгиевский кавалер, конный разведчик одного из туркестанских полков. „Теперь,— говорит,— мы стали какие-то бесстрашные. Да положи меня прежде рядом с покойником — да разве лягу? —нипочем! А тут вот как-то пришлось в одной комнатке заночевать. Туда сперва было забрались курды, человек 6, да мы с товарищем пригвоздили их. Ну, товарищ-то уехал на другой край, а мне и пришлось среди мертвецов-то... Подостлал соломки да и лег возле коня. Ничего. Хоть бы што. Да и много бы, кажется, тут страху, только свыкаешься под конец. А особенно, когда в атаку бежишь. Сердце так вот голубем и прыгает, так и прыгает. Глаза сделаются злые, как раскаленные. Только вот тогда и хочется одного: скоро, скоро ли добегу. Колоть, рубить, хочется...“ И глаза у него действительно блестели недобрым огнем. Видно, что в таком состоянии удесятерялась сила, ловкость и сообразительность. Шапка у него свалилась на затылок, он весь разгорелся, пот катился по загорелым, здоровым щекам, и он утирал его рукавом своей шинели.

И сколько тут народу перегубишь, боже ты мой! И все тебе ничего — совесть не мучит ни капельки. А вот был у меня такой случай, что совесть и до сих пор не совсем спокойна.

Это было года три назад. Мы стояли в деревушке. А тут неподалеку был пироксилиновый завод. У этого самого завода всегда стояли часовые. Ну, вот однажды стоял на часах Андрей Сахаров. Высокий был парень, красивый, волосы до плеч, большого был образования, ученый какой-то. Только с поста-то он и убежал в Персию. Тут недалеко от границы было, и скрыться можно было легко. Послали погоню. Верст за пять до границы увидали его. Да, знать, парень-то был не промах: наладил так метко, что полковника этого самого сразу уложил, а других поранил. Так и убежал. Там он женился, веру переменил на персидскую. Только повздорил он однажды со своими работниками, с персами, а те и донесли кому следует, что вот-де этот самый русский хотел перерезать их, персов. Ну,

русского и передали нашему правительству. Суд был маленький, приказано было расстрелять. Помню, поздно вечером пришел к нам ротный командир. Ну, мы, конечно, ничего не знали. „Ложитесь, говорит, братцы, да приготовьтесь; захватите боевые патроны, всю амуницию да так готовые и спите, а на заре я вас разбужу". Подумали мы, подумали, да так в беспокойстве и заснули. Пришел он, разбудил нас ночью. „Вот что,— говорит,— братцы. Нам пал жребий расстрелять нашего бывшего товарища — Сахарова. Делать нечего. Цельтесь вернее, чтобы смерть пришла сразу, а то раните только — будет мучиться, да и все равно добивать велят, а вам тогда один позор. Так что берите вернее, конец один. Как я подниму шапку — берите на прицел; как опущу — так спускайте курки". Пошли мы. Привели Сахарова. Привязали веревками к столбу, а у самого столба глубокая яма. Он все такой же был, только похудел немного. Выстроили нас, 33 человека, а за нами, сзади, построили еще без мала полуроту,— это на случай, если мы не будем стрелять, так чтобы те перестреляли нас всех. Мы в него нацелились, а те за спиной-то держат ружья по нашим спинам и головам. Приговора все еще не было, за ним уехали. Потом привезли приговор, стал его полковник читать: то-то и то-то, покушался, говорит, на того-то и бросил не во-время завод и прочее и прочее.

А Сахаров стоял такой мрачный да оттуда как крикнет: „Врете, вы, все врете!" „Заткнуть ему рот!" крикнул командир. Заткнули. Дочитали приговор. Привели старика священника. Только он не досмотрел, свалился по дороге-то в эту самую яму, что Сахарову была готова. Вытащили его, ушибся больно. Потом стал говорить Сахарову о покаянии и причастии и прочем. Только не слушал его тот, отвернулся, а потом как-то сразу крикнул: „Пошел прочь! Убивают человека да его же и успокаивают. Лицемеры!" Отказался от всего — и веру персидскую оставил при себе (да, говорят, он и никакой верой не дорожил). Глаза не велел себе завязывать. Дочитал командир, и слезы у него покатились из глаз. Хороший был он человек, добрый... Снял... шапку, поднял ее... Щелк!.. Это мы взвели курки. А Сахаров стоит, не дрогнет, головой не тряхнул. Смотрит прямо в дула нам, и только по лицу словно мор-

шины побежали. Быстро опустил начальник шапку. Трах! Все 33 пули попали... Все ему размозжили, по всем частям попало.

А он как стоял привязанный,— так и остался,— только голову склонил немного на бок. Его отвязали, бросили в яму. И сразу страшно стало. Кругом тут гиены завыли,— они всегда воют, когда слышат, что человека убивают, всегда воют. А нам стало всем стыдно. Командир все отворачивается, а мы сами-то все винтовками заслоняемся. Стыдно в лицо посмотреть. Пришли в казармы, а товарищи-то и кричат: „Эх, вы, головорезы, вам только связанных и стрелять!“ И дразнили они нас с тех пор завсегда и проходу не давали. А что мы тут? Приказали стрелять — и стреляй, не то самого пристрелят, как собаку; полурота-то сзади выстроилась ведь не в шутку. И я не мог никак успокоиться, все меня совесть-то мучила. А за что это я его все-таки убил? Что он мне сделал плохого-то? И очень уж было тяжело, а особенно, ежели товарищи напомнят. Только я это на исповеди батюшке все и рассказал: так и так, говорю, батюшка, человека убил, и душа спокою не имеет. А он и говорит мне: „Эх, ты, глупый ты человек. Принимал ты присягу-то аль нет?“ — „Принимал“,— говорю.— „Ну, так чего же,— говорит,— тебе и беспокоиться? Разве там не сказано, чтобы убивать врагов внутренних и внешних. Сказано аль нет?“ — „Сказано“,— говорю.— „Ну, а он враг какой: внешний или внутренний?“ — „Внутренний,— говорю,— батюшка, потому самому, что у нас в Рассее этот самый завод бросил и убежал, да притом же и солдат он наш, русский“.— „Верно,— говорит батюшка,— все верно. Ну, и не горюй теперь, понял?“ — „Понял“,— говорю...

И вот уговорил, успокоил он меня тогда, стал я меньше горевать, а теперь, с войной-то и совсем забыл. Только могилу эту в самую первую ночь раскопали и тело его утащили — турки ли, текины ли, кто их знает. Так с тех пор и стоит там эта порожняя могила.

НА СМЕРТЬ СЕСТРЫ

Мы ехали из Сарыкамыша. По пути встретился земский поезд. Тут все знакомы — все товарищи по работе. „Знаете?..“ — „Что?“ — „Умерла Штерн... Заразилась тифом и умерла“...

И как-то жутко нам сделалось от этой недоброй вести. Все принахмурились, задумались. Собрались в столовой и сидели, повесив головы. Разговор не вязался. Каждый про себя думал и переживал тяжелое известие. Я помню ее: молодая, красивая, здоровая... Захватила волна и увлекла на общее дело. Там, где-то далеко, ждут, быть может, родители — ждут и никогда не дождутся... Она пролежала в лазарете Тифлиса 16 дней и не перенесла тяжелой болезни... Там, в Тифлисе, ее и хоронят. Много венков, много слез... Все земцы собрались проводить дорогого товарища... Идет народ чужой, незнакомый народ — и плачет... Благородная смерть...

Много голов задумается, запечалится и затревожится о себе.

Мы как-то притихли. К каждому из нас может слишком легко притти эта беда... Вот с весной начнется разложение трупов, промчится эпидемия, может быть, и нас подберет за собой... И как-то сами собой нависают тяжелые думы.

7 февраля

НА ПОЛЕ БИТВЫ

Много народу положили сарыкамышские бои. Крутые, снежные горы помогали пушкам и пулеметам. Затонет, замотается бедняга в снегу, а тут его и прихлопнут. Сделали свое дело и сарыкамышские морозы. Много турецкого войска погибло в пути, много раненых перемерзло в напрасном ожидании помощи. Турки лезли сплошными массами. У них офицеры и вообще командирский состав находится сзади и оттуда управляет ходом битвы, а наши офицеры лежат в цепи и принимают непосредственное участие. Это имеет, конечно, громадные преимущества, так как чувство панибратства и полного товарищества, сознания одинаковости опасности положения тесно смыкают и являются едва ли не самым важным условием в смысле психологическом. Правда, у нас потери в офицерском составе значительно крупнее, чем у турок, но зато и победы чаще на нашей стороне. А это уж вопрос иной, что важнее: славные победы или сохранение офицерского состава. Эта война не приняла в Турции характера священной войны, что и ука-

рывает на искусственность ее создания. Этим об'ясняются отчасти и геройские захватывания нашими мелкими частями крупных турецких отрядов. Не сплоченные общей идеей, силой прогнанные на войну, притом же оборванные до-нельзя, голодные, они идут в плен, мало тревожась чувством чести, солдатского достоинства или соображениями другого характера.

Даже пленные офицеры не скрывают нежелания воевать и не оправдывают это принуждение высших властей. Был курьезный случай. Какой-то видный турецкий военный чин в'ехал в нашу цепь, приняв ее за свою, и довольно спокойно сдался, не волнуясь, не озлобляясь, так что у всех явилось разом подозрение на доброкачественность его поступка. Было слишком очевидно, что его сюда привело нежелание биться попусту, быть может, боязнь за жизнь, быть может, общее недовольство политикой германских провокаторов.

Но все-таки у Сарыкамыша были сильные бои. Здесь наших сгрудили нечаянно. В самом Сарыкамыше войска было до смешного мало. Внезапный огонь изумил и остановил наступающие турецкие колонны, а этого было достаточно, чтобы дать возможность подойти пластунам. А там, где подошли пластуны, туркам приходится туго. Здесь пластуны то же, что на Западе казаки.

Условия природы обрекли здесь конницу на полное бездействие, но ее роль с не меньшим успехом выполняют пластуны. Они совершают непрестанно геройства, подобных которым не совершал еще ни один полк. Славны кабардинцы, славны туркестанские полки, но лишь отдельными делами, а пластун — или герой, или мертвец. Он только знает два конца — славную смерть да георгиевский крест.

И вот подоспели пластуны. Тут заварилось жаркое дело. Несколько полков ударило против несметных турецких полчищ. К разгару боя прибывали новые силы, и в конце концов счет получился такой: против 30—35 тысяч наших войск очутилось более двух корпусов турок, т. е. тысяч 75—80. Тут работали 9-й, 10-й и 11-й турецкие корпуса. Сильно потрепанные, они должны были с позором бежать с сарыкамышских полей. Пластуны подошли неожиданно, как всегда — пластом (откуда произошло и название „пластуны“). Они подошли со

стороны нижнего Сарыкамыша, тогда как турки сосредоточились на горе против горного Сарыкамыша, над самым мостом. Наша артиллерия, говорят, действовала изумительно, несмотря на то, что количество пушек и пулеметов было совершенно незначительно. Важно было особенно то обстоятельство, что турки здесь вообще не ждали никакого сопротивления, и этот огонь застал их врасплох и навел легкую панику. А потом уж особенно легко было жарить с гор по этим несчетным колоннам. Неожиданность артиллерийского огня и дружный натиск пластунов окончательно решили дело. Турки замялись и побежали по направлению к Ката-кургану. Тут их щипали немилосердно. Пленных почти не брали — всех немилосердно убивали.

Я был на Сарыкамышских горах. Печальная картина. Масса трупов раскидано по склону, а у нижнего Сарыкамыша человек 100—120 просто свалено в кучу и до сих пор еще не убрано, а тому делу уж несколько недель. Есть хорошие лица. Один молодой красивый турок зажал в руке какой-то кисет да так и остался с ним. На лице — ни морщинки страдания. Правильное, спокойное, красивое выражение, глаза закрыты, верхняя губа немного приоткрыта, и оттуда блестят здоровые, белые зубы. Хороший был сын. В лице какое-то благородство и сдержанность. Он был грациозен и строен, как горец, сладкоречив, как Одиссей. Хитрости совершенно не было — о том свидетельствуют прямой, высокий лоб и тонкие художественные губы. Жалко стало такого красивого, милого юношу. Сколько было впереди жизни — самой полной, самой радостной, и вот, поди ж ты, нежданно-негаданно угодила шальная пуля прямо под сердце. Мне тяжело было долго над ним останавливаться, и я отошел к старику, который, подложив руку под щеку, скрючился, словно на постели, и совсем не походил на мертвеца. Сморщенное, худое лицо просило непрестанно отдыха. Чувствовалась большая нервность, долголетняя усталость и непрестанные жалобы на тяжелую жизнь. И получалось такое впечатление, что он вот только что пришел с работы — заморенный, больной, и, не дойдя до дому, прилег здесь отдохнуть. А дома уж непременно — ватага черномазых ребятишек и вечно недовольная и ворчливая жена. А теперь вот осталась одна —

мается, стонет и вспоминает то-и-дело своего кормильца-поильца. И сколько теперь у нее нашлось бы для него ласковых, заботных слов, сколько проснулось бы любви, если б только увидела его здесь, на поле. Но не увидит никогда, да и слава богу,— меньше страданья. Все же будет надеяться: а может в плену, а вот вернется, вот придет снова... Не дождешься, старушка, никогда не придет он к тебе.

Два птенца (совсем еще птенцы, потому что им не больше, как по 18 лет) лежат навзничь, лежат чуть не обнявшись: рука одного судорожно сжала плечо другому и застыла в какой-то страстной мольбе. „Возьми, унеси, помоги!..“ Не пришел, не помог никто. Мне кажется, что они были друзьями, так много между ними чего-то общего, помимо молодости... Даже и тут, мертвые, они одинаково закинули головы, одинаково расширили свои недоумевающие, испуганные глаза. А глаза страшны. Широко раскрытые, они затекли какой-то молочной жидкостью и ужасным взором, взором нестерпимого страдания и тоски по уходящей жизни, взором ропота и проклятия вперились в голубое, просторное небо. Молодые, полные силы и надежд — подрезались, как былинки, в чужой земле. Почернели, стали разлагаться.

А вот араб. Черный, суровый, властный хозяин широкой степи и своего любимого боевого коня. Конь будет тосковать по нем, будет жалобно и протяжно ржать, напрасно поджидая своего верного и смелого седока. С упорным, почти надменным взором, не признав мученья,— он умер. Пуля попала в живот, но смерть не могла быть моментальной. Страдания были тяжки и продолжительны. Лицо мало отразило страданья — на нем легла печать сурового проклятья и тоски по любимой степи. Много их молодых и юных, прекрасных и морщинистых, могучих, суровых и властных, робких, нежных и трепещущих. Не разбирала смерть. Клала ряды за рядами, возвышала свои молчаливые укрепления. Жутко здесь на поле. А это, безучастное, голубое небо словно презрение затаило в своем беспечном молчании; словно постоянством и неувядаемой своей свежестью хочет особенно и ярко подчеркнуть всю несуразность и дикость этой ненужной, свирепой резни. Успокоились бойцы. Кому-то, за что-то отдали свои жизни, кому-то принесли

собою жертвы. А жизнь течет, совсем не просит их и только изумляется человеческой жестокости, человеческому неразумию. Шла она, идет и будет итти своим путем. Слишком мало эти жертвы ускорят ее тяжелый ход. Эти жертвы — не добровольные жертвы, а потому и кровь их не очищает. Другое дело, когда целые кадры идут за идею, за святое дело, за ясно сознанную возможность достижения,— тогда на крови павших бойцов создаются колонны молодой, новой жизни.

СЕРЫЕ ВОЛНЫ

Ряды за рядами вдали колыхались
И, серой волною плывя по снегам,
То медленно, густо и плотно сливались,
То мелкою дробью в полях рассыпались,
Темнея по белым холмам.

И вот они близко... Совсем уж подходят,
Прямыми рядами, как нити ползут,
Как будто чего-то они не находят,
Как будто в той песне, что глухо заводят,
Они про тоску и неволю поют.

И грустно мне стало от песен забытых,
Повеяло на душу силой родной...
Я видел их гнойных, больных, перебитых,
Мне чудился стон из могил незарытых,
Мне чудилась гостья с косой.

И не было мощи в усталом их пеньи,
И не было страсти в померкших глазах.
Они в своем долгом, беззвучном томленьи
Развеяли силы в могучем терпеньи
И жар утишили в сердцах.

И шли они бодро, и песня лихая
Могучим призывом из сердца рвалась,
Но чудилось мне, что та песня больная,
Что в сердце ее,— и борясь и рыдая,—
Унылая дума вплелась...

Когда же умолкли и тихо без звука
Они колыхались, волна за волной...
Мне сделалось жутко... И злая разлука...
И встречи последней прощальная мука
Блеснула за серой спиной.

И радости мощной, под'ема живого
Не вызвали в сердце родные полки...
От серой волны и от клича больного
Мне в душу, как будто со дна гробового,
Пахнуло удушьем тоски...

14 февраля 1915 г.

БЕГЛИ-АХМЕТ

Где-то, далеко-далеко на Кавказе, в маленьком селении Бегли-Ахмет стоим и скучаем по работе. Ночь. Тихая кавказская ночь... Темносинее небо слилось с горами, налегло на белую ризу снегов и пропало вдали темной дымкой... Пусто кругом, скучно. Только собаки воют где-то вдали и усиливают тоску. А потосковать так хочется. Вспоминается семья, вспоминаются дорогие знакомые лица. И сердце все щемит больней и больней. Прошел воинский санитарный поезд из Сарыкамыша. Завтра и мы едем туда.

— Дядюшка, чего ты?

— Ничего, хожу, родимый... Скоро поедем...

— Куда?

— Воевать едем, на позиции...

И сделалось скучно, тоскливо вдвойне от этих простых, привычных слов, сказанных как-то уныло солдатиком в эту светлую, тихую ночь, где-то далеко-далеко в забытом людьми и богом местишке. Верно, вот и он ходит здесь один около вагонов ночью да вспоминает... Дома-то ребятишки... Хорошо там, тепло... Да и ночь-то выдалась такая светлая, тихая... Думы так и плывут одна за другой... Где-то там, еще дальше — позиции... Там холодно, там морозы... Выкопали себе ямки, обернулись в обледенелые шинели и лежат.... Спят... Тихо кругом... Только часовые прохаживают, словно ночные привидения... Жутко там, в го-

рах... С первым лучом зашумят, загрохочут чудовища... Закрутятся, завизжат тучи пуль, зарявкает и заухает пушка, задребезжит и быстро-быстро зачирикает пулемет... И польется снова кровь... Снова стоны... Вон я вижу, как облокотился солдатик в снегу и устремил свой прощальный, тревожный взор к небесам... А в небесах так хорошо... Солнце поднимается, серебрятся вершины, горит, горит снег... Утоптали равнину, залили кровью, забыли товарищей и бросились вперед. „Ура!“ грозно прокатился по горам призывный клич, и серые массы бросились куда-то вперед... А там уже испуганные крики, суматоха. Бегут, кричат, бросают все по пути, и все бегут, бегут... А вдогонку им сыплются градом губительные снаряды и один за другим падают уставшие... Кончился бой... Снова все вместе... Все... Нет, всем вместе уж не бывать нам... Не собраться снова у одного котла, не поболтать в свободную минутку... Там, на снежной поляне, стонут и мучатся от боли старые друзья... Изуродованные, разбитые, бессильные...

У нас — словно похороны... В эту тихую, светлую ночь как-то становится больнее в дикой, глухой стороне... Два товарища лежат... А мы вьемся около них, дрожим, молим о чем то... И сделалось всем невыносимо тоскливо... Их перевели в другой вагон... И жутко смотреть на опустелые места... Вчера еще они были здесь, болезнь захватила разом, понадобилось удалить... Мы все с ними, мы не можем расстаться, оставить их одних... Скучно, нудно, жутко...

20 марта

Нечего делать. Опустились руки, перестала работать мысль, и скорбно сделалось на душе. Пусты целые дни, пусты долгие вечера. С камнем на сердце ложишься в постель, с непроглядным туманом в душе, со страхом перед ужасающей пустотой просыпаешься поутру. От завтрака до обеда, от обеда до чая, от чая до ужина. И так целые месяцы. Изредка мелькнет работа, мелькнет, словно привидение, маленькая, короткая, растравляющая,— и скроется вновь. За три месяца было всего пять рейсов коротеньких, малодневных. Все, все померкло. Первоначальная идея не то исчезла, не то затуманилась временно от этой убийственной безработицы,— я не знаю. Высокий,

благородный под'ем, жажда дела, помощи, самоотверженной работы до устали, до поту в лице,— все это тревожит и вызывает краску в лице, как далекие, милые, святые пожелания, разбитые в прах. Мы ехали сюда, словно окрыленные, мы ждали простора истомившейся душе, ждали полного утоления. И что мы нашли? Пустую, скучную, разлагающую жизнь; ряд житейских будничных недоразумений, по временам захватывавших нас за живое, ряд ссор, самых возмутительных и примитивных, ряд наслаждений и удовольствий самых мещански-обыденных, самых притупляющих и глупых.

Жизнь сделала свое. Причудливо-яркие, восторженно-красочные и высоко-благородные порывы она приняла в свои скользкие об'ятия и покрыла все сглаживающей, все примиряющей слизью. Она уняла, утишила наше святое безумство, она вместо ризы одела нас в теплые спальные халаты и превратила из героев в самых пошлых тунеядцев и злобствующих пошляков. Душа как-то онемела: лень двинуться, лень думать и жить бодрей. Мы бог знает что делаем целые дни: играем на гитаре, мандолине, поем, шутим,— и все это взамен лучших наших ожиданий, взамен мечты о геройских подвигах. А там, на далекой родине, мы еще не развенчаны. Там не сняли с нас того ореола, который мы еще и не надевали до сих пор. Там думают о нас так, как думали мы о себе, когда ехали на работу. Письма дышат любовью, заботой и преклонением. Присылают нам вырезки из газет, где помечены случайные страхи нашей жизни: сыпнотифозная смерть, случайное пленение санитарного поезда, зверства курдов. Присылают — и видно, что дрожала рука, когда резала газету; капали слезы, когда запечатывалось письмо, болела, болит и долго будет болеть душа при воспоминании об этих ужасах. Там предполагают страшную эпидемию на Кавказе, а между тем всего неделю назад во всех бараках Тифлиса помещалось больных сыпным тифом 71, брюшным —40 и оспой —32. Ну, где же тут ужас? Умер Гелованн. Ну, тут ужасы возросли до максимума: раз Гелованн не могли спасти, что же будет с простыми смертными? А дело просто: он слишком долго не мог переправиться из Карса в хорошие больницы Тифлиса и приехал сюда почти перед самым кризисом. Карский уход был слаб, и он не выдержал кризиса...

Послезавтра пасха. Как чувствовались дома эти дни и как безучастно и холодно встречаешь их здесь! А тут, как нарочно, несчастья по товариществу: Маргарита все еще лежит в лазарете, Саша перевелся в другой поезд, Яша уехал в Батум ходатайствовать о переводе в летучий отряд, а Нико подал в отставку. „Шестерка" распалась окончательно, прежней теплоты нет в помине. В поезде, чем дале, становится неприютней и холодней. Нет того милого кружка теплых друзей, где можно было похоронить свою тоску и муку безработицы; нет лучших, надежных людей, нет товарищей, с которыми было легко и приятно. Все пошло вверх дном, и сделалось душно.

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

Поезд в пути. У всех лишь одна тревожная мысль: доедем или нет. Машинист мчит, что есть духу, насколько позволяют крутые горные под'емы,— верно, его тревожит та же мысль, что и всех нас. Еще далеко, еще много ехать, а времени много. Хоть бы к утру приехать. Скорей, скорей поезжай. Уж близко, все меньше остается. А ночь так темна, так жутко, неприветливо в горах. Мчится поезд, а навстречу, во мраке выдвигаются огромные темные горы. Стоят, молчат, словно застывшие великаны. Шумят неугомонные реки. Весна дала им свежие потоки, и мчатся, гремят они по камням. А в горах тихо. Ветер стих, небо прояснилось, заблестели звезды. В горах, должно быть, тихо-тихо — и жутко. Только реки шумят в отдаленьи, да беспокойные жители ночи изредка прорежут страшную тишину — и снова все смолкнет. Везде ты, ночь, прекрасна! Тиха, молчалива и величава. Невольно душа летит тебе навстречу и переполняется твоей дивной тишиной. И сколько чистых, понятных звуков уловишь в этой ненарушимой тиши, сколько поймешь невысказанных слов, безмолвных призывов.

Ты вбираешь в себя из души все позорно-человеческое, все наше, земное, и оставляешь одного лишь человека самого по себе, наедине со своей чистой совестью. Сколько укоров родится в эту ночь, сколько родится благородных порывов.

Мать. Сидит она и плачет, непременно плачет: в такую ночь не может не плакать она о далеких, любимых сыновьях.

Там все уже сделано. Вымыты полы, настелили чистые половики, на столах чистые скатерти,— я так люблю их белизну во тьме. Тихо в комнате. Все собрались в кухне. За долгий, суетливый день измаялись все. Истомленные, печальные — отдыхают. Собрались у стола, закусывают. И непременно уж тут жареный картофель — что же больше? Сидит нянечка: худая, понурая. Мама, ни к кому не обращаясь, говорит: „Прошлую пасху вместе встречали". Все молчат. Показались слезы, заплакала мать. Тут Шура сидит — угрюмый, робкий, чего-то все сторонится, боится. Глаза пугливые, невеселые. Он всегда таков, а теперь тем более: знает, что открылась чахотка. Сидит, молчит и как-то пугливо посматривает на плачущую мать. Блестят огромные, черные, глаза, светится высокий лоб — молчит Лиза и только изредка посматривает на маму. Сережа водит вилкой по столу, ни на кого не смотрит и томится тяжелым настроением. Настя плачет: она всегда плачет, если плачут другие — робкая, чуткая, милая девочка. Посидят, разойдутся. Дети будут спать до заутрени — не с кем теперь им коротать это время. Няня будет еще долго возиться возле печи, а Шура ляжет и будет долго, упорно и тяжело смотреть в потолок. Молится мать. Стоит на коленях в полутемной комнате. Слезы градом катятся из глаз, судорожно прижимается ко лбу исхудалая рука,— она все просит, бесконечно умоляет бога сохранить дорогих детей. Дрожит, трепещет лампадка. Пусто, жутко здесь без милых людей. Холодно ей, тяжело. Опустилась бессильно на пол, замерла в горячей молитве и не может никак подняться. Горит душа, тоскует. Неужели всему конец? Неужели невозвратимо? Господи! — и засохшие губы шепчут, торопясь и перебиваясь, какие-то непонятные слова. Слились они в одну тревожную мольбу — и не понять, чего в ней больше: просьб, надежд или необдуманных укоров.

„Господи, неужели? Пощади! За что такое горе? Что ты караешь так немилосердно, чем я прогневала тебя? Год с годом все тяжелей, невыносимей. Когда же будет отдых, когда же радость-то будет, придет покой?" И катятся, катятся неутешные слезы. Холодный лоб давно уже не поднимается с полу, грудь тяжело вздыхает и стонет, рыданья глохнут и застывают в тишине. Эх, мать, как тяжело-то тебе!

Поплетутся к заутрене. Быстро, наспех одеваются, торопятся, снуют во все стороны. Собрались, пошли. Еще совсем темно, только огни поблескивают вдали. Раздаст мама детям копеечки, и двинутся... Верно, на кладбище пойдут. Придут, самовар поставят, окружат его. Только грустно будет за этим самоваром. Шура сидит больной, невеселый. Аркаши, Сони и меня нет. Пусто, скучно. И вместо радостных воскресных разговоров будет тосковать и плакать горемычная мать. Все-то она плачет, все-то кого-нибудь жалеет — уж такой, знать, удел материнский. Засиротела наша обильная семья, разлетелись птенцы из теплого гнезда в разные стороны... Придет день. Пойдет мама навестить по обыкновению немногих близких родных. Будут плакать с тетей Машей; она тоже будет поминать любимого сынка, что встречает праздник в холодных окопах на вражьей земле. Всюду нехватка, всюду горе. И куда она ни кинется со своей тоской — всюду навстречу выставят ей горшую тоску, более острое горе. У мамы еще одна тревога, а сколько уж перебито, искалечено знакомого народа! И каждому в эту ночь невольно вспомнится живо и ярко недавно погибший человек.

Эривань

Приехали во-время, не было еще и двух часов. Ночь была темная; луна все пряталась за облака. По незнакомому городу трудно было бродить впотьмах. Вдали виднелся храм, мы пошли туда. Какие-то огороды, сады, поля. Залезли не то в болото, не то в грязь — постояли, подумали и решили, что не поспеть нам. Прчшли домой. И какая это была торжественная, радостная минута, когда все мы собрались у накрытого стола! Тут уже пошло все вверх дном. Появилось вино, коньяк. Настроение привскочило в 5—10 раз. Были бесконечные тосты, поздравления, приветствия. Пили за нашу семью, за нашего спящего врача, за отдельных членов товарищества. Один товарищ все привязывался ко мне и на ухо таинственно шептал:

— Как это там, у Достоевского... за придавленных, за... за бедных... я уж в таком теперь состоянии, что хочется за них, за несчастных...

— За униженных и оскорбленных,— сказал я...

Он обрадовался и хотел было кричать, но его пришлось унять; как-то диссонансом могло прозвучать его пожелание. Другой приятель настолько расчувствовался в патриотическом под'еме, что крикнул: „За здравие павших воинов",— и долго не мог понять, в чем тут ошибся, в чем неточность выражения.

Появилась гитара, мандолина. Загремели любимые песни. Дело пошло ходом. Я после первой же рюмки почувствовал себя гадко и перестал пить. Мило, любо было смотреть на ликующую ватагу друзей, так тесно сплоченных почти необходимостью. Молодость широка, многое умеет простить от сердца, потому ей легче и радостней жить.

А потом долго ходил я с Кетти по рельсам, и она рассказывала про дорогого жениха, убитого шесть месяцев назад. Бедная все плачет, одна оставаться не может. Это ли не тяга?.. Да если вот Ная... Тут что уж останется в жизни?.. Цветов не будет. Смысл и необходимость, конечно, останутся, но цветов радости не будет. Оно, пожалуй, и радость будет, но уж не та, другая. Этой вот чистой, весенней прелести не будет. Я говорил все Кетти, припоминая Бранда, что сжечь, уничтожить надо всякие памятки по любимом человеке, а в душу западало сомненье: так неужели бы и я сжег дорогие карточки любимой Наи, неужели все — все бы сжег? И письма? Да ведь в них полжизни для меня. Когда перечитываю — сердце выпрыгнуть хочет. Говорил я и мало верил в слова. Я видел в них логический смысл, видел значительность их и серьезность, но чувствовал и безжизненность.

10 часов

А дома теперь поднимаются. 5—6 часов назад все они сидели за столом с белой скатерью... Шипел самовар. Хотели быть радостными и не могли... Мама плакала...

2 апреля.

БЕЗРАБОТИЦА

Нет сил. Опустились руки от безработицы. Размякла душа и не хочется палец ударить о палец. Для того ли мы ехали сюда? Где наши крылья, где под'ем, который бросил всех нас бог знает

куда, оторвал от дела? Мы словно завялые цветы. Притихли, спустились. И чувствуешь, как день за днем все грязнее, мелочнее делается душа, а выхода нет. Куда мы кинемся, где ухватим живую работу? Нудно, гадко. Решили послать в Москву, в главное наше управление Земского союза... Не то жалоба, не то мольба — не знаю что. Мало надежды, что помогут, вытащат нас из омута. Словно тина, сосет эта безработная, животная жизнь. Пьем, едим, спим, собираемся петь и играть. Устали от всего, появились нежелательно-мелочные осложнения, от которых несет какой-то затхлой, противной мелочностью. Мы — живые трупы. Мы еще не похоронены, но уж и на дело не годимся — на то дело, которое одухотворяется внутренней жаждой и ею одной питается...

Вон горы кругом — красивые, прекрасные, озолоченные последними лучами. Да, что мне в вас, проклятые красавицы-горы! На кой вы чорт нужны мне теперь, когда из-за вас потерял я свою живую работу, затер свою душу. Мне представлялось такое широкое поле; мне обождать бы всего 2—3 недели — и был бы на Западе. Сманил, увлек меня Кавказ, не устоял я перед искушающей его красотой и приехал сюда. Какая это смешная и жестокая вышла ошибка! Теперь с полною душою кружился бы я в моей гуще жизни. Где она собралась, как не на Западе? Туда теперь устремлены глаза всего мира, там — и только лишь там — идет битва на жизнь или на смерть. И я променял ястреба на кукушку, захотелось поймать ее поскорей. Вот и поймал — тоску, отчаяние, позднее и напрасное раскаяние. Ну, что эти вопли? Куда, на что, кому они нужны и кому и в чем они помогут? Как утопающий за соломинку, хватаюсь я в крайние минуты за неизменную свою тетрадь — и пишу, все пишу, бог знает зачем, усыпляю, засыпаю себя ложью. А песня? Когда тяжело делается — я пою. И часто тоска пропадает. Но ведь это же искусственность, это же подлость, робость, малодушие бояться своей невыношенной тоски, убить ее в зародыше, не дав развиться тоскливым, острым и всегда более умным мыслям! Ведь это значит — испугаться своего состояния, сробеть перед самостоятельным страданием, не дать умереть ему собственною смертью. И мне делается стыдно, когда чувствую, что под песней

блекнет и мало-помалу совершенно умирает острая работа мысли, наступает старый покой, но такой нудный, жалкий и хилый, такой будничный и бесцветный, что скорее похож на спячку, на тупую сонливость. Прочь песню! Песня хороша лишь тогда, когда радость просится из души или когда песней хочешь расшевелить собственную или чужую душу. Когда же она является прибежищем, богадельней для невыношенных и несозревших состояний,— тогда гадка она, тогда уже опошлена, и убита вся ее главная суть, весь смысл.

Пожалуй, тою же песней являются и эти записки. Лучше, благороднее и плодотворнее продумать много раз свою думу в молчании, чем залепить непродуманную в книгу, словно свежую, чистую марку. Нет, эту марку надо еще осмотреть со всех сторон, налюбоваться ею сперва наедине, наедине поверить искренне ее цене — и лишь тогда только в книгу. Стыдно, как стыдно мне, что налепляю я не только в книгу, но и в самую жизнь все эти вот чистенькие, неосмотренные, непроверенные марки!

Вот что мы посылаем:

Во Всероссийский земский союз.

Медицинский персонал 209-го санитарного поезда находит ненормальным то отсутствие работы, которое в последние два месяца стало обычным явлением. За все три месяца нашего пребывания на Кавказском фронте мы совершили всего 6 (шесть) рейсов, из которых один был 7-дневный, а остальные 2-дневные, так что из 90 дней на долю работы пришлось 17; за март месяц работали 2 дня. Считаем нужным отметить, что, несмотря на продолжительные стоянки, доходящие до 3 недель, бывали рейсы, когда мы привозили в Тифлис всего 100—120 человек.

Такое отсутствие работы оказывает крайне угнетающее действие на каждого из нас.

Мы, нижеподписавшиеся, надеемся, что союз поймет создавшееся тяжелое положение и придет нам на помощь, предоставив возможность интенсивной работы.

Следуют подписи 12 человек персонала:

1 фельдшерица,
1 заведующий хозяйством,
5 братьев милосердия,
5 сестер.

Врач Наумыч струсил и отказался присоединиться, мотивируя тем, что „обсиделся“, „здесь не скучно“, „работа везде одинакова“ и проч. Доводы были крайне глупы, так что, когда он было сказал: „что ж, господа, я советовать не могу“,— пришлось его одному из товарищей остановить, что „пришли-де совсем не за советом, а лишь с предложением присоединиться к нам“.

19 апреля

ВЕНЕРИКИ

Уже второй рейс приходится так, что у меня спасаются почти одни венерики. Я рад им: люблю, жалею, понимаю и грущу. Все простые, нетронутые люди, но эта „венерия“, повидимому, не знает классов: всем одинаково гнетет душу, у всех отнимает и вышибает самые живые соки вольной, надежной жизни. „Молот над головой“— вот нормальное самочувствие нормального венерика. Глупцы или совершенно непонимающие— те, конечно, мало печалятся, мало боятся и ждут, но это все лишь от незнания или непроходимой тупости. Настоящее же состояние венерика — угнетенная скорбь, боязливое ожидание и повышенная восприимчивость. Вы посмотрите только на венерика, когда он почему-либо ощущает в себе присутствие болезни — какая скорбь, вольная или невольная, отпечатывается в его взоре, опущенном с грустью к земле или безразлично упершемся в пустоту; какая чувствуется тогда пришибленность, угнетенность во всей его фигуре, в ненормально согнутом, приплюснутом положении. Он боится всего и всего ждет на повинную свою голову. Те страхи, которые слышал он от любителей трав и домашнего лечения, те изуродованные факты, которые слышит он от своих же нервных друзей-венериков — обыкновенно страшных болтунов или непоколебимых молчальников, те опасения, которые внушил ему доктор,— не дают ему покоя, стерегут его все время из своей таинственной засады и сулят всяческие неожиданные напасти. Жутко, робко ему. Ведь так часто внезапно приходили разные случаи и обрывали крылья еще прыгающему и полетывающему орлу, превращая его вдруг и неожиданно в самое тупое и бессмысленное, несчаст-

ное и жалкое существо. А вдруг и со мной так завтра?.. Грянет вот гроза, опалит, изуродует меня. Да так еще изуродует, что сам-то, пожалуй, я и не буду знать о своем уродстве, а останусь живым посмешищем для всех?.. И дрожит, трепыхается измученная душа из стороны в сторону, ждет отовсюду нападения и ничуть не видит своего проклятого вечного врага. Постоянное ожидание, постоянная напряженность — сознательная или бессознательная — обостряют до последней степени чувствительность особого рода и „венерическую“ восприимчивость. Здесь под „венерической восприимчивостью“ я понимаю способность особенно близко к сердцу принимать все относящееся к венерии и верить беззаветно, как святой истине, всякой сообщенной бессмыслице. Пусть внешне даже откажешься ты от своей веры в это вот новое, рекомендуемое средство, пусть знаешь даже, что оно должно, наоборот, вредить болезни,— останется в глубине души такой уголок, в котором будет теплиться надежда, что авось это вот последнее, повидимому, несуразное средство и поможет, поможет от обратного, задним числом, как-нибудь? И эта надежда будет жить до тех пор, пока вы ее не передадите в форме совета или просто факта — очевидного и бесспорного, пока не передадите другому несчастному — отчаянно глупому или начисто умному и твердому, словом, тому, кто имел бы смелость рассмеяться вам прямо в лицо. Тогда уж как-то застыдишься своего невежества, а застыдившись — и увидишь его во всей наготе.

Но верится поразительно легко всякой галиматье; охотно вбирает душа всяческие предостережения и советы, оттеняет их своим постоянным сумраком, как будто радуется им, любуется, а на деле терзается, мучится и плачет с ними. И сколько создалось бессмысленных планов и решений под тягой этого дрянного балласта, сколько пролилось тут слез, сколько послано было ненужных и оскорбительных проклятий бог знает кому и за что!

С такими-то друзьями пришлось мне ехать. Со всеми быстро создавался центр, вокруг которого позже вертелось наше общение. В отношениях с одним таким центром являлась тоска его по несчастной жене, от него заразившейся гадкой болезнью и давшей трех больных, чахнущих детей; с другим — центром была любовь хохла к обожаемому Тарасу Шевченке; с тре-

тым — ранняя его старость: бедняга за последние 2—3 года перенес так много лишений, что весь засеребрился, даже борода наполовину стала седая и вместо 43 лет все ему стали давать 63—65 лет. Блеск остался еще в глазах, и по ним можно приметить, что седина не кроет дряхлость. Один залихватский молодец все гордился своим одиночеством и заявлял, что никогда не женится, боясь загубить чужую жизнь,— говорил и не замечал, что резал без ножа своего соседа, у которого вся тяга перенеслась именно в это больное место: его душило сознание преступности, хотя бы и несознательной.

Это был мужчина лет 35—37, совершенно плешивый, волосы его можно было сосчитать. Плешиветь он начал через 5 лет по получении сифилиса, т. е. 12 лет назад, и за это время оголился совершенно.

— Через 5 лет начал...— мелькало у молодца.— Вот скоро, значит, и у меня пойдет, да и пошло уж: как птенчик буду, как гусеночек маленький!

И жаль было своих каштановых кудрей, противно было смотреть вперед через эти 10—12 лет на будущую свою лысину.

— А хорошие были волосы-то?

— Эх, хороши... Кружились, сами вились...

И стало еще грустнее от этого признания. А глаза у него такие лучистые, приглядчивые, так вот тебе и смотрят в самую душу, так тебе и говорят, что жду от тебя одной только правды,— а то уж молчи лучше,— словно говорят они, и правда облекается простотой и идет свободная и легкая по этому лучистому призыву.

— Тогда еще не знал я ничего насчет этой самой медицины... Ну, болесь и болесь — минула, значит, и прошла,— рассуждал я сам с собой. А уж ноги и в ту пору болели, суставы ломило, голова кружилась временем — не думал на это, думал с устатку болит все. А тут вот на войне-то раскрыл мне доктор настоящую правду, ну, я и притих. Да так притих, что теперь ночи не сплю — все думаю, думаю... Не себя мне жаль — сам давно угодил бы под пулю: жаль, бабу-то заразил, да ребятишек больных народил. Не знал я тогда ничего, не сумлевался в себе, не то не женился бы нипочем. Так уж вышло, так богу

знать было угодно наказать меня этой мукой: молодые-то грешки — вот они когда отзываются мне!..

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ

Едут с нами три солдата с георгиевскими крестами. Один сделал удачную перебежку к неприятельским окопам, другой в сообществе с товарищем забрал в плен 5 человек турок, третий — не помню за что получил.

Одному георгия привесил сам шеф 5-го Кавказского стрелкового полка — великий князь Георгий Михайлович. Ну, как же не гордиться ему этим воспоминанием! Георгии на груди, георгии светят, привлекают к себе взоры, вызывают на расспросы. Перенеся всю тягу зимних голодовок, суровых морозов и неостижимых горных переходов, они словно захирели с первыми весенними лучами. Словно мороз придерживал, сковывал болезни, вызванные истощением и усталостью, а первые теплые дни вывели их наружу.

В Навтлуге мы сдавали тяжело больных и набирали на их место новых, чтобы везти дальше, в Баку. Доктор попался такой мерзавец, что все время горела рука на пощечину. Подошел он к георгиевцам:

— Э, да у тебя крест висит... За что ты, откуда взял? Да што вас тут! И у тебя тоже... Где вы их таскаете?.. — Увидел и третьего: — Што, — говорит, — воруете вы их, што ли?

— Никак нет, — говорит солдат...

А душа ведь так и горит... Разве они зря их получили? Оскорбленье им было самое сердечное...

Подошел этот доктор к больному с немецкой фамилией, — кажется, Фризену.

— А, немецкая рожа! Ну, што болит?

Пересмотрел всех. Подошел к солдатику, страдающему животом, да так немилосердно начал его мять, что он, бедный, уже по уходе доктора плакал от боли.

Откормленный, здоровый поросенок, надменная, нахально-самоуверенная морда — все так и тянуло выбросить его из вагона, невзирая на последствия. Я после говорил с солдатами: возмущены до глубины души.

Когда рассказывают солдаты, как их обучали, как обращались с ними за все время службы — не верится; думается, что все это было когда-то, но ушло, ушло в вечность, не воротится. Но от того, что слышишь на каждом шагу, волосы подымаются дыбом, душу вывертывает наизнанку. Обращение офицеров настолько грубо, дико и невежественно, что можно подумать, будто это какая-то специально подобранная банда жестоких и наглых притеснителей. Самые невежественные вещи, самые дикие расправы, по теории допустимые лишь в давно отошедшую эпоху крепостничества,— здесь еще заурядный, малозначащий факт. Солдат бьют, как собак, беспричинно и произвольно выдумывают бессмысленные наказания, развита целая система взаимозащиты офицерства от жалоб; впрочем, жалобы могут и доходить, но для того надо иметь, во-первых, большую настойчивость и смелость, а во-вторых, и немалую злопамятность. Солдат подает ротному, ротный — батальонному командиру и т. д. И если подает он на ротного, то жалоба, проходя через руки последнего, как-то невольно задерживается, особенно по первому разу.

Бывают случаи, что солдат жалуется лично и словесно генералу — тогда дело идет ходом, но тут все-таки много риска попасть живым во щи. Один служивый рассказывал:

— Взводный у нас был такая скотина, что поискать. Посадит на словесность, спросит и тут же кричит на тебя, не дает ответить... А у нас все были прямо из деревни, робкие такие, несмелые... Ну, запугается сразу-то и не ответит ничего, а ведь уж все мы знаем, что ответил бы он, если бы покоен был. Один, другой не ответит... А который ответит, тому велит бить по щекам всех неответивших. Ну, как же ему своих товарищей бить?.. Подойдет, да ударит для виду, а сам старается, чтобы не было больно. А взводный-то глаз с него не спущает, все молчит да смотрит за ним... Кончит, отойдет солдат в сторону — и стыдно-то ему, и злоба-то берет. А тут взводный встанет да и говорит: „Да разве так-то бьют? Ты, дубина, и ударить-то не умеешь хорошенько, вот как надо бить!“ — да и начнет с него самого по всем бить. Стоишь — молчишь, потому ничего не можешь тут сказать. Место глухое, далекое (стояли мы в Персии тогда), до начальства не доплюнешь, ну, и

терпишь всякую напраслину. А то новобранцев под кровати запрячет, да и приказывает петь оттуда: „Смело, ребята, в ногу ступайте“,— а сам стоит да хохочет. Ну, пожил-то он, правду сказать, немного: подстерегли его как-то в отхожем месте, да вниз головой и пустили. Только через месяц нашли... То, да другое, кто да почему, ну, а все-таки ничего не узналось, потому рядовой за рядового всегда стоит, как за брата...

В мирное время житья прямо нет, а теперь вот полегчало — неровен час и придушат в горах-то. Да вот в 7-м полку был случай-то: замахнулся офицер на солдата, но тот его на штык и посадил. Забрали солдата, расстреляли, а острастку-то он дал все-таки большую. Бояться стали.

20 апреля

Что бы записать? Нечего. Того ли я ждал, затем ли ехал сюда? Вот отряд графини Толстой где-то на деле. Там работают санитарные собаки, там все при деле. Дух захватывало, когда читал, что раненый солдат целовал свою спасительницу — умного, доброго пса. Там есть дело, а мы сидим сложа руки и ждем-не дождемся его. У Сарыкамыша давно уже все притихло. Про Азербайджан молчат,— значит, и в нем молчат. Некуда приложить силу, некому отдать еще уцелевший порыв самоотверженной заботы и помощи. Этот прорыв уже побледнел, жалок стал, но все же еще сохранился, и я уверен — расцвел бы он, если б только другую атмосферу дали. Мы ушли в свою маленькую, личную жизнь: скудно выказываем душу, скучаем, не знаем, что делать, о чем говорить и думать. Другое дело, если бы приехали мы сюда не с такой благородной целью — тогда легче переносилась бы тоска, многое бы тогда извинил себе, от многого бы не отказался... А теперь стыдно как-то, несоответствие душит.

Прежде мы как-то выдавливали из среды своей неотвязную скуку. Мы собирались вместе, и было легче. Забьемся в купе 8—10 человек: душно, тесно и мило. А теперь разошлись, раз'единились. Сидим в одиночку или попарно. Прежнего компанейства нет и следа. Распалось единение, и стало еще несноснее, еще грустнее.

ВОЗЗВАНИЕ

Первым и самым сильным впечатлением моим на санитарном поезде было возмущение по поводу персонального бюджета. Я недоумевал, как могут люди пользоваться здесь со спокойной душой всеми благами чужого достатка. Организация земская могуча и богата, но отсюда ведь совсем нет вывода, что в нее следует впиваться пауком. А мы оказались самыми обыкновенными, безжалостными пауками. Я говорю здесь о прекрасной пище, расход на которую можно было бы смело сократить вдвое, не рискуя уменьшить питательность. Если бы вопрос этот был поставлен с самого начала организацией, как официальное сообщение, или, лучше даже, если бы тут никакого вопроса и не поднималось вовсе, а учли бы попросту заранее всю массу ненужного перерасхода и ограничили бы власть заведующих этой частью. Но этого не сделали. Я удивлялся той свободе, с которою распределяли здесь чужие деньги. И надо сказать, что здесь еще были честнейшие и экономнейшие люди. А ведь есть поезда, где наполучали таких счетов, которые союз отказывался даже утверждать: таков, например, 208-й поезд времен д-ра Гецельде. Ну, что же это такое? Правда, на совещаниях хозяев много было говорено о „разумной экономии", но эти разговоры остались ведь пустым звуком. Тут ошибка была с самого начала: не учли того, что идут сюда главным образом идейные работники, а следовательно, публика самая нетребовательная по части внешних довольств. Что говорить — были типы и у нас, которые требовали себе кофе вместо чая, чуть не в драку лезли из-за десертных блюд, но это ведь меньшинство. Главным же образом такая публика (и это уже подавляющее большинство), которая временем и безработицей приглушила в себе протест и возмущение против этой незаконной роскоши. Мы все пришли сюда с чистой мыслью помощи и самопожертвования — и только с этой мыслью, других соображений не было у подавляющего большинства. То, что мы загрязли и опустились до сибаритства, об'ясняется не только нашей тупостью и близорукостью, но в значительной степени — условиями нашей жизни. Мы все время в четырех стенах или в горах. Общение у нас только между собой. Большинство томится скукой и безработицей; очевидно для

себя и других погружается в неизбежное болото. Изредка пронесутся живые мысли, подобно метеорам, но они быстро исчезают. Вот помню я и о себе.

Первоначально был возмущен до слез, но чувствовал, что протест среди этой незнакомой, устоявшейся публики невозможен. Потом стал втягиваться сам и мало-помалу забыл совершенно, что роскошное питание принимаю, как должное и необходимое. Но в последнее время, следовательно спустя полгода, эта мысль стала возвращаться все чаще и чаще. Я сначала держал ее при себе. Потом пришлось несколько раз высказаться перед товарищами. Самым характерным случаем был тот, который и двинул меня к активному выступлению вместе с товарищами по поезду. Дело было так. Сидели мы в столовой за чаем и, по обыкновению, острили за неимением живого материала к разговору. Масло сливочное было на этот раз куплено неудачно и отдавало погребным запахом. По этому поводу, кажется, и разражались все остроты. Сидели тут, кроме меня, Ал. Влад., Георгий и Нико. От разговора о масле мы как-то перешли на общую тему о нашем продовольствии. Я высказал свой взгляд и был слегка осмеян. „Мелешь, Митяй,— сказал мне в заключение Георгий.— Если бы ты сам был убежден, ты протестовал бы, и если бы это убеждение чувствовалось в твоих словах,— я первый присоединился бы к тебе". Он сказал мне это уже выходя, и потому об'яснить я ничего ему не смог. Но может быть, и к лучшему. Не высказавшись перед ним вполне, не оправдавшись, так сказать, я только острее почувствовал всю свою неправоту и все ничтожество своего внутреннего протеста перед самим же собой. „Если бы ты был убежден — ты протестовал бы",— эти слова задели меня до потери покоя. Хотелось что-нибудь сделать, но что? Я чувствовал себя слишком беспомощно и одиноко в ту пору. Но счастье спасло. Разойдясь, повидимому, каждый подумал про себя над тем, что говорили о перерасходах. Я предполагаю это потому, что, встретившись снова в столовой, мы уже разбирали этот вопрос довольно сочувственно и спокойно, без боязни чужого глумленья. Спросил я одного, другого,— высказались кто уклончиво и неопределенно, кто решительно против третьего блюда. Радость удающегося начинания захватила меня и не давала покоя все эти последние дни. Я уж принялся

говорить со всеми, то в одиночку, то кучками, то in corpore. В конце концов было видно явное сочувствие, но видна была и великолепная апатия; видно было, что для выполнения не ударят палец о палец, кроме одного, двоих с трудом, а следовательно, надо делать самому. Это не похвальба, а констатирование того грустного и часто встречающегося положения, когда люди соединены лишь отсутствием протеста против начинания, но не горячей любовью к нему. Это отсутствие любви и должного уважения является причиной апатии, и дело глохнет в самом начале, даже без попытки проведения и выявления его на свет божий. Так или иначе, но мы решили отказаться от третьего. Дело было в том, чтобы оповестить об этом своих товарищей по работе во всех санитарных поездах, а равным образом — в лазаретах и отрядах. В форме этого об'явления мы разошлись настолько, что принуждены были приостановить какое бы то ни было выступление на целые сутки. Помню, собрались мы в купе и начали довольно спокойно перебирать pro и contra. Но к концу дело захватило, повидимому, большинство из нас, и обсуждение стало больше, чем только оживленным. Оповестить поезда можно было двояким способом — непосредственно и через центральный комитет Земского союза. Тут были свои соображения у каждого относительно оповещения через союз. Во-первых, мы не знаем адресов всех поездов Западного фронта, но это соображение отпало, потому что об'явилось, что узнать это не составляет труда; во-вторых, оповещение через союз предлагалось как выражение известного доверия и уважения к организации, как желание дать ей в руки лишний козырь.

Но другое предложение — непосредственное оповещение — подкупало тем, что носило чисто демократический характер частного, товарищеского совещания без вмешательства каких бы то ни было верхов, и притом же честь падает все равно на знамя союза. На этом и остановились. Было решено оповестить предварительно кавказскую пятерку, чтобы заявление было более веским и солидным. Получив же согласие хотя бы некоторых поездов Кавказского фронта, разослать по поездам Западного фронта уже готовые экземпляры воззвания за подписью всей „пятерки". Экземпляр будет послан в центральный комитет с просьбою переслать отпечатанные с него копии во все земские

лазареты и отряды, ввиду того, что мы не знаем их местонахождения. На этом конец. У меня — словно крылья выросли. Готов был переписывать бесконечно хоть тысячу экземпляров, ощущая в душе огромную радость. Ведь если только оно удастся — это будет ощутимое, бросающееся в глаза хорошее дело. И вдруг инициатором его будет наш поезд. А мне уж тут особенно лестно потому, что единичным инициатором привелось быть мне. Я два дня все передумывал каждую мелочь, каждую частность, чтобы как-нибудь не пропустить чего-нибудь. Мне так непривычны эти общественные выступления, а тут дело требовало громадной осторожности, продуманности, серьезного отношения к каждому слову. Мне пришлось и составлять воззвание. Я его прочитал товарищам, и по общему соглашению оно было оставлено почти без изменения, за исключением двух фраз, которые за неясностью были вычеркнуты. Мне удалось дело необ'ятной широты. Мне было весело и жутко ощущать и понимать, что исходной единицей по существу являюсь только я. Ведь не заговори теперь я у себя в поезде — бог знает кто и когда заговорил бы об этом, да и заговори ли бы!

Теперь все главное уже сделали. Если даже и не согласится никто присоединиться к нам, то мы будем горды сознанием победы над собою, с нами будет жить восторжествовавший принцип, постоянно будет радовать нас. Это главное, но главное, конечно, только для нас, главное по идее, а не по практическим результатам. Размер этих последних зависит, конечно, от размера того сочувствия, которое мы встретим в товарищах по работе. Теперь наша жизнь полна будет ожиданием новых и новых проявлений сочувствия начатому нами делу.

Вот воззвание. Оно без перемен будет разослано и по западным поездам.

ВОЗЗВАНИЕ

Товарищи у нас зародилась мысль, благополучное выполнение которой может дать хорошие результаты.

Руководясь соображениями принципиального и практического характера, мы решили сократить бюджет персонала, отказавшись от третьего блюда.

Незначительное, на первый взгляд, заявление наше при детальном разборе говорит совершенно обратное.

Имея в виду затяжной и разорительный характер войны, учитывая всю остроту нужды и прогрессивного обеднения страны, мы решили следовать за нуждой времени и призвать к тому своих товарищей по работе.

Приблизительные вычисления показывают, что годовая экономия предлагаемого характера, распространенная на все поезда союза, равняется 30 тыс. рублей. Если же иметь в виду, что приглашение наше найдет сочувственный отклик в отрядах и множестве земских лазаретов, куда подобные же воззвания будут разосланы через центральный московский комитет,— цифра эта может подняться до сотен тысяч рублей. Такое же третьестепенное и незаметное лишение, как отказ от десертного блюда, конечно, стушевывается совершенно перед возможными огромными результатами. Но помимо этих практических результатов, мы имеем еще в виду известное торжество принципа, ради которого нас не должно останавливать в начатом деле даже отсутствие столь желанного и ценного единства.

Это запоздалое предложение даже и в позднем применении не теряет своей огромной цены; оно подсказывается самой жизнью. В данном случае привычка сделала то, что своеобразную роскошь мы стали считать за необходимость, требуя ее как должное.

Нам дорого выполнение этого первого шага еще и потому, что оно может явиться начальным звеном в долгой цепи уже назревших экономических перемен.

Желая отметить деятельность земской организации, как учреждения передового и демократического по преимуществу, мы своим непосредственным обращением к товарищам по работе тем самым подчеркиваем лишний раз единственно возможное по данному вопросу исключительно товарищеское решение.

В виду того, что нам неизвестны в точности адреса всех поездов Земского союза, мы просим товарищей, сочувствующих нашему начинанию, пропагандировать о нем при первой возможности, так как дело не терпит отлагательства, и успех его зависит от быстроты выполнения.

Назначение сберегаемых сумм предоставляется усмотрению центрального союзного комитета в Москве, куда товарищи и должны посылать официальное извещение о своем согласии. Было бы желательно, чтобы товарищи извещали нас о своем согласии, чтобы можно было проследить успешность самого дела, о каковой мы будем извещать в свою очередь при первом же запросе.

Персонал 209-го санитарного поезда Всероссийского земского союза.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

Война создает много положений, необходимо вызывающих ложь, потому что до спокойного принятия полной правды мы еще не доросли. У Самсонова разбили тысяч 250—300, об'являют 75—80. У германцев получилась задержка в доставке провиантов — об'являют о поголовном голоде едва не по всей Германии. Прием понятен как подбадривающее средство, но лишь в умеренном количестве, подобно тому, как часто принимаемое лекарство теряет свою полную силу.

Мы все время только и читаем о пленении тысяч и тысяч германцев или австрийцев, читаем, что нас „потеснили", к нам „пытались пробраться, но смелой контратакой..." и т. д.

Словом, неуклонная и непрерываемая наша победа — без потерь, без лишений, а между тем нет-нет да и выскочит фактик, вроде того, что оборона Галиции при отступлении от отобранного германцами Перемышля стоила нам ни много, ни мало, как 1.000.000 людей.

А теперь вот совокупите и эти факты.

1) В Москве скандалы, грабежи, пожары. И здесь ведь не одно озлобление против немца, здесь, несомненно, основа экономическая.

2) Улицы в Москве в течение летних месяцев освещаться не будут.

3) Рогатого скота в Москву поставляется крайне мало (1.500 голов).

4) В Калужской губ. недосев по отношению к прошлому году достигает 25—30%.

5) Брат прислал мне письмо, где пишет, что бьют торговцев, повысивших цены; фабрики бастуют.

Все идет к тому, все указывает на то, что голодно всем и жутко.

Можно со дня на день ожидать крупных взрывов, больших осложнений. Плоды жестокой войны не может победить даже сила под'ема и всяческих организаций.

25 апреля

ПЕРЕВЯЗКА

Принесли мы его в перевязочную, уложили на стол. Судорожно скрючился он и все дергал изуродованной ногой...

Туго приходилось бедняге. Вспороли промокшую повязку, и открылась печальная картина: всюду повисла гнойная марля, торчали красные гнойные дренажи. С пинцетом в руках осторожно выдергивал я марлю. Всюду сочился гной, всюду капала грязная, серо-багровая кровь. Куски за кусками выползали из ран, один за другим медленно выдвигались дренажи. Наконец, все было вынуто, вытянуто, отброшено.

Зияла темная дыра, торчало высохшее мясо, капал гной и темная кровь. Стал я ему прочищать. Приходилось зондом вводить длинные полосы марли, прихватывать с другого конца пинцетом и продергивать насквозь. Так иногда прочищал я свою длинную курительную трубку: зацепишь тряпку и тянешь, вытаскивая разную дрянь. Так получалось и здесь, только продергивать приходилось через живое больное место, вычищать приходилось грязную кровь и гной. Продернул таким образом несколько раз белые полосы. Сначала выходили они грязные, мокрые и сбитые в тонкую ленту; потом стали чище и шире. Промыли, прокипятили к тому времени дренажи, прокипятили булавки. И как-то жутко вставлять эти трубки в живое человеческое мясо. Наконец они вставлены, продернута где следует марля, положена мягкими, взбитыми подушками, наложена куча ваты. Страдание уж сошло с лица, осталось только страшное изнеможение, слабость и живой след только-что отошедшего ужасного мученья.

Когда начинаешь бинтовать, он уже почти совершенно спокоен, радуется, что всему конец. Зато какое страдание на лице, когда тащишь его снова на белый стол, когда встают перед ним мучения прошлого дня. Еще и не дотронешься, а дергается, ждет боли и мучится прежде времени. Кончено. Уносят его в постель...

И какая же эта великая радость!

Чувствуешь, что только-только сделал какое-то безмерно хорошее дело — облегчил чужое страданье. Выше этой радости ничего не может быть. В эту минуту любишь всех, всем готов

сделать добро, для всех считаешь себя самым теплым другом. Пот еще сохранился на лбу, руки еще дрожат слегка, сердце колотится: с наслажденьем закуришь и отдыхаешь с папиросой, как никогда. Это — минута полного самоудовлетворения, тут апогей ясно-ощутимого счастья.

ЖЕРТВЫ

Мы пошли дальше после предложения отказаться от десертного блюда — мы предложили общий стол с санитарами. На нас выходит в среднем 85—90 коп. в день на каждого, на санитара — 45—50 коп. Нашу цифру можно было бы понизить, санитарскую повысить и сойтись копейках на 55—60, если уж не захотят прямо перейти на данную пищу санитаров.

Все пошло сначала хорошо, но нашлись щекотливые, несговорчивые друзья желудка и запротестовали. Номер не прошел. Однако мы с Яшей не пали духом и перешли вдвоем на общий с санитарами стол. Над этим за столом ежедневно посмеиваются, но нам ведь горя мало,— сами же с ними посмеиваемся, только, пожалуй, над ними же и смеемся, хотя они вполне искренне того и не понимают.

СУДЬБА ВОЗЗВАНИЯ

Прошло недели две, две с половиной. Одно за другим пришли письма из наших кавказских поездов. Вот они.

I. Персонал 207-го санитарного поезда ВЗС вполне согласен с воззванием персонала 209-го санитарного и ВДС. Ваша инициатива очень симпатична, и при первой возможности мы постараемся дать знать нашим товарищам по работе.

Персонал 207-го санитарного поезда ВЗС.

Здесь предложение было принято единогласно и без особых трений, так как почва была уже в значительной степени подготовлена. Во-первых, у них раньше поднимался вопрос о переходе на санитарский стол; во-вторых, новый врач неуклонно преследует в хозяйстве максимальную экономию.

II. Персонал 211-го поезда, будучи принципиально согласен с предложением поезда 209-го, вносит возможную экономию в расходах, считает более целесообразным соблюдать таковую, от-

казавшись не от третьего блюда, а изгнав из обихода ненужные лакомства и консервы всех видов. По данным продуктовой книги видно, что, отказываясь от указанных вещей и принимая во внимание дешевые фрукты в летние месяцы, расходы на третье блюдо будут равносильны расходам, направленным на удовлетворение утонченных вкусов.

Руководствуясь подобными соображениями и считая их вполне правильными, уже приступили к проведению своих намерений в жизнь.

211-й поезд.

В данном случае персонал принял во внимание лишь практическую сторону нашего воззвания, оставшись при десертном блюде. Он соблюдает ту же экономию, но другим путем. У нас же была иная цель: отказаться еще от третьего блюда, как от вещи не необходимой. О консервах же у нас не может быть и речи, так как часть персонала довольствуется санитарским столом во всей его простоте, не употребляя даже сыра и масла, удовлетворяясь за чаем одним белым хлебом. Таким образом, 211-й принял наше предложение лишь наполовину.

Ш... Воззвание ваше мы получили, но Полина Николаевна (старший врач) и вообще наш персонал против вашего решения. Да и правда, у нас сладкое не есть что-либо обязательное, часто у нас его вовсе не бывает. Вообще у нас на стол требуется немного. Одним словом, наши ничего не думают предпринимать...

Эта Полина Николаевна — женщина суровая, казацкого нрава, „женщина-солдат“, как обыкновенно называем мы ее в шутку. Поездом она руководит повелительно и не берет в число персонала мужчин, боясь протестов; там совершенно безголосый персонал, который пляшет под дудку врача.

Здесь явно выступает уязвленное самолюбие, нежелание посчитаться с чужим мнением под боязнью уронить собственный престиж. Тем легче было бы провести им в жизнь наше предложение полностью, если уж не наблюдается такой избалованности вкусов.

От 208-го никаких извещений не получили, но на-днях у нас были Нина, Саша и Тамара, которые оповестили, что там большинство вполне согласно. Там пошли дальше: ввели 2-процентное отчисление в пользу семей, пострадавших от войны; собранная сумма будет пересылаться в редакцию „Русского слова“.

Вот пока и все. Четыре поезда об'единились и посылают свой призыв остальным поездам, а через центральный московский комитет и дальше — в отряды и лазареты. За два последних дня приготовили мы 45 копий воззвания и вчера послали их. Пришлось сделать небольшое добавление; текст читается так: „...уже назревших экономических перемен и добрых начинаний (в наших поездах уже имеются примеры отказа от консервов и всяких лакомств, перехода на санитарский стол, процентного отчисления в пользу семейств искалеченных воинов)". Остальное, как было, без перемен. При воззвании, посланном в союз на имя Ник. Григ. Петухова, я сделал приписку:

"Уважаемый Н. Г.

Текст воззвания об'яснит вам все; мы же со своей стороны просим вас содействовать его распространению путем пересылки отпечатанных экземпляров воззвания по земским лазаретам и отрядам, так как сами мы не можем этого выполнить за незнанием местонахождения адресатов.

Пересылая это воззвание в центральный комитет, мы имеем в виду ваше содействие как человека наиболее близко знакомого с психологией персонала кавказских поездов, тоскующего по живому делу.

Воззвание по поездам мы рассылаем через центральный комитет (Ник. 6. II, Санит. поезд „X").

В поезда, редко приезжающие в Москву, мы просим вас эти письма, пересылаемые одновременно, направить возможно скорее в место приписки данного поезда.

Просим известить нас об участи воззвания по адресу: Тифлис, Жук., 2, ВЗС. Персоналу 209-го санитарного поезда.

Персонал земских поездов Кавказского фронта (за исключением одного)

Будем ждать результатов.

Заметил только я, к великому прискорбию, что у нас в поезде согласились как-то непродуманно, неубежденно и нетвердо. Они совершенно не думают, забыли думать о том, что кому-то посланы воззвания, что надо помнить и заботиться об их распространении. С тех пор как я разослал воззвания кавказским поездам, никто не обмолвился ни словом по этому вопросу, и видно было, что о нем никогда бы не вспомнили.

Но мне даже радостно, что вся работа падает на одного меня. У меня эта мысль родилась, мне она дорога, я ее и провожу в жизнь. В сущности, получилась какая-то дрянь с товарищами,— они так же наслаждаются третьими блюдами, только уж на свой счет. Вторая часть воззвания, таким образом, не понята. Я говорю не о том, что ничего уже не следует есть сладкого, но не следует возводить этого в необходимость и как бы бравировать им. Неприятно также поражают постоянные и ожесточенные нападки на несовершенство стола, словно люди с'ехались не на санитарном поезде, а на курорте.

21 июня

Мне так было жаль оттягивать с пересылкой воззвания хотя бы на один день, что вчера ночью я поднял на ноги добрую половину публики. Один писал адреса, другой вкладывал и запечатывал конверты, а мы с Наей спешно дописывали оставшиеся ненаписанными 6—8 экземпляров. Она уже спала, пришлось поднять. Горячка была большая.

Едва успел кончить. 41 письмо опустил в Баладжарах уже глубокой ночью, часу в третьем. Едем в Тифлис, и промедление грозило оттяжкой дня на 3—4.

8 августа

Я перевелся в 208-й поезд. В старом все распалось. Здесь Саша, Нико, скоро переберется Яша. Работы мало. Цель совсем затуманилась. Думаю только дотянуть еще сентябрь — и в Москву. Буду заниматься, могу одновременно работать где-нибудь в лазарете. В 209-м идея провалилась. Как только ушли мы с Яшей — ввели по-старому третье блюдо. Люди согласились только на бумаге, не прониклись духом воззвания. Чорт с ними, противно думать! Занимаюсь все в одиночку. Думаю писать статью: „Война у Достоевского и Гаршина“. Не знаю, что выйдет.

14 августа

В нашей жизни есть одна истина, одно непременное правило. Сколько бы ни скоплялось зла в душе во время безработицы, сколько бы ни было недоразумений и пререканий вся-

кого рода,— они рассеиваются, как дым, лишь только настает работа. Приняли раненых. Поезд оживился. Сразу, конечно, еще сторонятся, дичатся. Но мало-помалу оставляется всякое упрямство и боязнь осуждения, и люди, самые замкнутые, раскрываются, словно цветки по весне. Хочется врагу протянуть руку, хочется сделать добро. А за собой я вот что заметил, пришел к такому выводу: так как работы мало количественно, то для меня она как бы и качественно понизилась. А может, и привычка. Все меньше и меньше уделяю внимания отдельному человеку, в данном случае отдельному солдату. Мутит какая-то общая забота, общая помощь без реальных форм. Кому как — не знаю, но ясно, что узко здесь. Перевожусь на запад. Хотелось бы в отряд, поближе к страху; думаю, что Муромцев даст письмо. Жажда дела сильна, и, кажется, теперь переступлю все: материальную сторону, семейное соболезнование, университет... Университет... А про него-то я и забыл, про царя-то жизни...

Муганская степь. Как, должно быть, страшно очутиться здесь одному в такую вот ночь: холодная, дождливая, жуткая! Нетнет да хватит по небу яркая полоска. Встанет, словно призрак, на миг освещенный хребет и опустится грузно и тяжко во мрак. Что-то хлопает по болоту, ухает и будит страшную тьму. Кто это, куда бредет?

Наши казаки отрезают носы, члены, уши, вывертывают и связывают руки, пускают изуродованного на волю. Солдатик путался, когда говорил мне это, хотел поправиться, хотел как-нибудь оправдать казаков, когда увидел на лице у меня несочувствие, а может, и злобу. Он говорил, что это была месть за офицера, которого курды изуродовали до неузнаваемости. Но тут не причина — следствие важно: значит, и наши могут быть так же зверями! Значит — не подвертывайся под горячую минуту. Подтвердили лишний раз, что в присутствии начальства сносят головы 99 из ста и одного оставляют для допроса. Жутковато, признаться.

В Сарыкамыше поднимался на гору, на ту самую гору, где был главный бой. Теперь уж все убрано, только осколки шрапнельные валяются, кучами лежат патроны, да пули блестят то здесь, то там — словно искусный и жестокий сеятель раскидал умелою рукою по всей горе свои стальные семена.

Почти на вершине стоит чистый сосновый лес. Две-три передние сосны обрублены доверху — это были турецкие наблюдательные посты. Они пронизаны пулями, а на одной, на главной, чья-то художественная рука умело сотворила из проклятых патронов спасительный крест.

15 августа

Едет больной студент Психоневрологического института, кавалер двух георгиевских крестов. Пуля скользнула по переносью и процарапала бровь. Другая, позже, пролетела по мизинцу.— Когда я был на освидетельствовании во Владикавказе,— рассказывал он,— врачи просто удивили меня своей близорукостью. „Как это может быть, да разве допустимо, чтобы не разбить глаз“ и проч.,— одним словом, заподозрили симуляцию.

„Ваше в-дие, говорю, справьтесь в полку, все солдаты видели,— я же ведь и в окопах остался, как я мог роту бросить? (Он был ротным командиром.) Да притом ведь меня силой выписали из полка, я сам не хотел уходить из строя,— какая же тут может быть симуляция?“ Насилу отделался. Ну, будет ли какой симулянт, скажите на милость, стрелять в бровь? Да тут ведь 90 шансов за то, что рука дрогнет, и угодишь на тот свет, а от такой-то симуляции, пожалуй, всякий откажется... Жуткое было чувство, когда в первый раз застонали пули: оглядываешься, робеешь, метишь спрятаться, а куда? Хорош командир у нас был! „Господа офицеры,— говорит,— от медали до виселицы один шаг. Помните!“ И не напрасно говорил, были основания, и большие. Хороших офицеров у нас было всего только четверо,— эти идут передом, каждую атаку передом. Ну, а за офицером солдаты пойдут хоть на самого бога. „Р...р...р...ребята... не... не ро-об... бей...“ Ну, страшно, конечно, первому-то, а идет: смерть-то все равно — и спереди и сзади: отдан был приказ солдатам сажать офицера на штык, если попятится в сторону.— Были случаи?— спрашиваю.— Нет, боится все-таки солдат, не смеет. И что только за чудо эти наши солдаты! Какая-то беззаветная, отчаянная храбрость — так и лезут в самую горячку. В штыки всегда наши. Турки не принимают штыковых

ударов — усиливают пулеметный и оружейный огонь; правда, поляжет не мало, ну, зато уже нам тут и достается крепко.

Только тяжелый был у нас случай в конце июля (1915 г.). Три полка (Бакинский, Елисаветпольский и Кубанский) пошли ночью в атаку, пошли как-то неожиданно — ни один не знал о том, что идут одновременно два другие. Дело темное, местность гористая, а разведчики где-то заплутались. Не разобрав друг друга, и пошла схватка — свои своих; полегло всего человек полтораста. А турки не поняли, в чем дело, да тоже сгоряча-то открыли огонь по своим крайним окопам. Их тут было тысяч 16, а у нас полки были неполные, всего тысяч 6. Остервенели наши,— как взялись, как взялись! Тысячи 2 их тогда положили; 400 человек взяли в плен. Остальные разбежались, и 2 батальона еще попало в наши руки — наткнулись где-то со страху на наши части и тут же сдались.

Поймали мы однажды шпиона-болгарина, турецкого подданного. Раз'езжает себе, продает разную мелочь — ну, там спички, папиросы. Выдавал себя за грека. Один солдат и пристал к нему — кто да кто? Привел по начальству, осмотрели, оказалось — масса писем и разных предписаний. Взяли, отправили.

В Карсе недавно был случай...

Немецкий шпион жил несколько недель в качестве офицера русской армии. Имел большие деньги, устраивал кутежи. А тем временем составлял отчеты, снимал планы. Случайно попал в Карс один раненый офицер с Западного фронта и почему-то сразу заподозрил этого псевдо-русского офицера. Явился однажды к нему на квартиру, произвел обыск, и оказалась масса разного рода документов — оказался, действительно, немецким шпионом.

Наши казаки то же, что курды; я думаю даже, что курды кое-что по части зверств заняли именно у наших казаков. Вот пластуны — совсем другое дело. Удивительно добрый, милый народ: все отдаст, последним поделится. Был случай: нашли пластуны пудов 5 масла, сыру, разных с'естных припасов,— словом, товаров. Пришли к нашим: „Ребята, кто хочет?“ А нас что было — тысячи полторы — так все и навалились. Своим пластунам не дали. „Вы, говорят, себе еще найдете“. И действительно: удивительная у них способность к этому своеобразному

сыску. И разведчика лучшего, чем пластун, не найти. Ну, зато и солдаты их уважают.

Есть у нас добровольцы — смех один с ними. Один ушел, рассчитывая, что за месяц-два зачтется ему вся военная служба, да и попал впросак; а другой — этот на коленях ползает перед командиром,— выпросился все-таки к нему в денщики, заробел. Есть у нас в полку ребят человек 40, есть даже лет по 8—9, совсем детишки. Один — Паша — имеет 3 георгия: 4-й, 3-й и 2-й степени. Отчаянный мальчишка. 4-ю степень получил за то, что как-то ночью прокрался в турецкие окопы и у сонных часовых отобрал 4 винтовки. В другой раз пробрался к костру, у которого сидели турки. Выдал себя за простого мальчугана из ближней деревни и разузнал, что требуется. Часовые передавали его с рук на руки. Перехитрил окаянный: отпросился на минутку для естественной потребности, да и был таков — ползком, по высокой траве, спустился к реке, там переплыл и явился жив и невредим. Дали 3-ю степень. На основании этой разведки было устроено внезапное нападение. В ту ночь наши захватили 16 турецких окопов и человек 80 пленных.

Как-то турецкие солдаты хотели добить тяжело раненого капитана. А он, Паша, подвернулся тут же каким-то образом и, не долго думая, открыл огонь. Те сробели, убежали. Спас капитана, а тот рапорт подал — представил Пашу ко 2-й степени. Да уже и 1-ю наверно скоро получит, если только без меня не получил,— очень уж отчаянный мальчишка-то. Прислал тут как-то отец телеграмму, домой его просит прислать. Командир и заявляет: „Завтра, чтобы не было тебя на позициях“.— „Убейте,— говорит,— что хотите со мной делайте, а не уйду: я голову хочу положить за Россию“. Это были его подлинные слова. „И напрасно,— говорит,— ваше в-дие, вы считаете меня за ребенка: по годам-то я,— может,— и ребенок, а я ведь уж настоящий мужчина и все понимаю“. Так и остался.

ТУРКИ

— Турецкие аскеры дерутся превосходно,— говорил офицер.— Артиллерия у них работает дружно и бьет метко. Если около пулемета, по бокам, ударилось два снаряда,— третий все-

гда угодит по цели: мы так уж и знаем, привыкли и потому тотчас же отвозим в сторону. Только-только успеешь отвезти — бац! И как раз шельма по тому месту наладит, где надо было. И одеты хорошо. Пустое, врут все, говоря, что у них не войско, а банда жалких оборванцев. Поглядели бы вы на нас, русских офицеров, как мы щеголяем там на позициях: там, брат, кто угодно через неделю превращается в оборванца. Конечно, и захудалые части есть, но где же и нет их? А дерутся славно, канальи. И удивительно, до фанатизма развито у них чувство патриотизма, т. е. — чорт его знает! — может быть, это и не патриотизм. С товарищем у меня был случай: подходит к турецкому раненому офицеру, чтобы помочь, а тот — хлоп. Да ладно еще — по плечу только проскочило. И на что надеется, на что? Ведь смерть — верная смерть, а все-таки выстрелил вот. Ну, конечно, доколотили всех, обозлились наши.

Про штыковые атаки говорить нечего: дело известное, что против русского солдата на штыковую схватку никто не годится. Только ухо тут надо востро держать. Друг другу все петли закидывают. „Ура!.. ура!.. ура!..“ Зальется весь фронт, ну, думаешь, пошла рубка! А наши орут во всю глотку — и ни с места: лежат себе в окопах, не шелохнутся. Как пойдет турок палить, как забарабанит из пулеметов — только ж... ж... ж... чш... чш... чш... А как успокоится — поднимаются наши и в гробовом молчании подходят под самые окопы. Дело, разумеется, ночью. Подойдут — и вот тут уж загремит настоящее ура... Навалили мы их таким-то образом однажды целые груды, разбежались, да и потеряли из виду свои главные силы. А они что сделали, турки-то? Полегли, будто битые, пропустили нас по своим спинам, да и вскочили разом. Не поняли мы сначала, в чем дело, а как очухались — уж и встрепку только дали, кажется, ни одного не оставили живым: переворачивали уже действительные трупы и прокалывали по лишнему разу, чтобы сомненья не оставалось.

— Здесь, на Кавказе, больше устают от горных переходов, чем от боев,— говорил полковой врач, попавший прямо с позиций на отдых... в Бегли-Ахмет. А что такое Бегли-Ахмет — советовал бы взглянуть: такого пышного дворца я еще не видал никогда. И он „отдыхает“ в этом дворце.

Когда мы лазили по Аджарским горам и Лазистану,— как спасения, ждали солдаты бол. Все горы, горы и горы... А снега такие, что и представить трудно: по две-три сажени глубиной. Вот и извольте прокладывать тут себе дорогу. Усталые, голодные, перезябшие — целые месяцы кружили мы по снежной пустыне. Страх как-то совсем перестали чувствовать. К пулям привыкли настолько, что тишина казалась какой-то неестественной и даже более грозной. Молча примирились с возможной смертью,— она ведь поджидала каждого и каждую минуту: пряталась за каждым выступом, в каждом овраге.

И что за бравые ребята эти пластуны,— хоть бы раз услышал я ропотное слово: выносливость поистине изумительная.

НУДНАЯ РАБОТА

На такую вялую, урывочную и нудную работу — чувствую, вижу — совершенно не гожусь. Уже десятый месяц работаю я на Кавказе и доволен был своей работой всего 5—6 раз, когда приходилось принимать раненых и делать массовые перевязки. Здесь, действительно, был у дела, работа спорилась, и тело не знало устали. Охотно проводил я целые дни в теплушках, и душа только радовалась. Тогда самая малость занимала настолько, что из головы вон нейдет за весь рейс. А тут вот, за этим бесконечным переписыванием, перекликанием, измерением температур — да притом с одним градусником на 56 человек — тут болит и тело, и душа. Я чувствую даже физическую усталость, несмотря на то, что ничего не делаю. А про самочувствие и говорить нечего. Но плевать бы еще на все это,— мне печально другое: эта унылая работа как-то расцылила мою восторженность и рвение.

Я уж с меньшим вниманием, с меньшей заботливостью подхожу и отношусь к больному. Как будто теперь постепенно живые отдельные лица превращаются для меня в голые цифры: разгрузить 17, накормить 36, переодеть 12... и т. д. Теперь я как-то с легкой душой допускаю этот гуртовый счет, а прежде, считая подобным же образом, знал почти каждого солдата по имени и в лицо. Форма была та же, но содержание иное. Последний раз еду я из Сарыкамыша в Тифлис. Нагрузили целый поезд брюш-

нотифозными. Несколько иное настроение у всех, иная и картина общего состояния поезда. Прежде до самой последней минуты больные сидят, бывало, на солнышке, ходят оправляться, гуляют, а тут — пусто, тихо на платформе, только мелькают белые халаты, да санитары снуют здесь и там. Больные все по теплушкам, все в постелях. Рейс едва ли кончится благополучно: кто-нибудь, вероятно, заболеет, и потому настроение у всех подозрительно-осторожное, проникнутое каким-то сомнением и даже робостью; впрочем, даже эту утрированную заботливость едва ли можно назвать робостью. Каждого больного приходится опрашивать соответственно графам листочков, выданных земством.

И вот странную я чувствую всегда неловкость, когда приходится спрашивать: „Русский?“ И неловкость эта не напрасная, она даже должна тут быть, во всяком случае применяясь к психологии простолюдина. Сколько раз больной с сердцем скажет: „Кто же я? Знамо, православный“ — и это при всем уважении к тебе, „братцу“, при всей тихости и забитой покорности своей.

Такой ответ получал я не раз; делалось стыдно, но его ничуть не винил. Теперь вопрос задаю только тем, у кого фамилия смущает, а то обыкновенно говоришь попросту утвердительно: „Конечно, русский...“ Так лучше, не раздражает. Вот еще чудной народ казаки-донцы.— Русский? — Никак нет.— А кто? — Казак.— Да чудак ты этакий, разве казак-то не русский?..— Засмеется, согласится, что, действительно, русский.

Замечается еще такая особенность: если солдат молодой, ну лет 20—21 или моложе, каких теперь не мало, и если притом не женат,— он большей частью неграмотен. Выходит так, что, дескать: „Не хочу учиться, а хочу жениться“.

Август

Не дай бог никому, особенно свежему человеку, очутиться в офицерской среде, во всяком случае в кругу праздных, скучающих офицеров. В вагоне их было человек 10. И что это за народ — боже ты мой! Словно на подбор. Один другого чище, один другого смешнее и глупее. Было, правда, двое, повидимому, очень порядочных людей, но один почти всю дорогу молчал, а другой в сильных случаях коротко и дельно унимал разгоревшихся това-

рищей и не принимал участия в общем разговоре. Они и не разговаривали; мне кажется, они даже вообще неспособны разговаривать. Они острили сплошь, старались перехитрить, перещеголять и, главное, перекричать друг друга. За весь разговор я не нашел у них ни одной мысли, были только затверженные шаблонные, в зубах навязшие фразы, были свои соображения, но настолько тупые, что лучше было бы и их заменить шаблонными формами. Острили они настолько тупо, тяжеловесно и неуклюже, что не было возможности слушать, не краснея. Они совсем не чувствовали этой тупости и упивались своим огромным словоизлиянием. Потоку не было конца, и я удивлялся, откуда только у них берется такая масса слов. Они задевали друг друга, задевали иногда грубо, но не сердились, потому что уже как-то решено было между ними, что теперь все позволено и обижаться не след. Да они, пожалуй, и не могли обижаться, потому что один едва ли слышал, что говорил другой. Они совершенно не слушали друг друга и старались только как можно скорее, обильнее и громче высказаться перед другими. В сущности, они даже и не пикировались в том смысле, как обыкновенно понимают пикировку,— удачное и тонкое отражение или предупреждение удара. Нет, они не отвечали на вопросы, а каждый молол, что придется,— без начала и конца, без связи с предыдущим. Тяжело и стыдно было слушать их. Особенно отличался один, кажется, Киселев. С сестрой он обращался так, словно был с нею знаком сто лет и притом в самых дружеских отношениях. Когда она выходила, он вслух высказывал свои грязные предположения и первый смеялся им. Друзья поддерживали, и получалось нечто вроде спорта по части грязных вымыслов. Они даже продолжали спорить, когда сестра снова входила в вагон, только уж отвлеченно, без личностей. Киселев настолько много говорил и настолько любил говорить, что даже жалел, что ночью приходится спать и молчать, „а то бы я всю ночь проговорил, если бы спать не хотелось“,— признался он. Но вот все как-то попритихло. Один стал рассказывать про военную жизнь. Слушал его только прапорщик, который молчал. Рассказывал он много интересного, теперь я уже забыл половину.

„Турки страшно боятся молчания. Залегли наши в окопах, молчат, ни выстрела. Турки были шагов за тысячу. Вдруг срыва-

ются с места: „Алла, Алла!..“ Бегут на нас, кричат... Лежим, ни звука... Пробежали они шагов триста, остановились, прислушиваются, нюхают по сторонам, словно мыши... Потом как повернут да как ударят обратно. Страшно им сделалось от нашего молчания. Тут уж мы им и давай вдогонку, и давай... Много положили. И всегда так... Понюхают, напугаются — и обратно... А вот когда пластуны наступают—это поистине ужасно... По ним стреляют, по ним бьют, а они идут себе молча — и ни выстрела... Вы представьте только себе это страшное молчание, оно ужаснее всякого грома... Валятся, а все идут, идут... Дойдут, как им надо... ура!..— и хлынут, как ураган... Ну, тут уж начинается ужасная резня, они жестоко мстят за своих павших товарищей... По равнине ли, в гору ли — им все равно, своим страшным молчанием они совершают удивительные чудеса.

Вот все говорят о зверствах. А где тут граница? Да тут озвереют, все зверями делаются. Как-то набили мы на одной горе турок, много набили. Стали подбирать раненых. Вот смотрю: тащат наши турка на носилках. Гора высокая, а внизу река. Смотрю: качают, качают его, да как ухнут под гору,— вот тебе и русская душа: чего, говорят, с ним тут еще путаться-то. А добивают — об этом уж и говорить не стоит: просто ходят между ранеными и достукивают прикладами.

Пришлось нам однажды заночевать в турецких окопах. Турок тут было набито бог знает сколько. И что же вы думаете? Я даже удивился, насколько у нас всех утерялось чувство брезгливости. Смотрю: сидит солдат на корточках, перевернул турка животом кверху и прямо на голом его животе, как на столе, режет мясо и хлеб. А наши офицеры скамьи устроили: один на другой наложили трупы, трупами подперли с боков — и сидят себе, ничего. Даже стол устроили: четыре трупа квадратиком, а потом крест-накрест, снова квадратом и потом уже настилают. Вот и стол готов... Из трупов часто и окопы делают. Наложат целую кучу, а дело известное: мертвое тело пуля не берет,— ну, и удобно“.

Это я слышал и от солдат, что пуля не пробивает труп. Может быть, это только на далеком расстоянии, но что труп хорошая защита — это общее убеждение.

Много рассказывал офицер, но я теперь не запомню. Да и тяжело уж мне было в ту пору — температура была 39,5, лежал

я весь в поту, усталый, слабый. От офицерского общества я устал ужасно. Теперь понятно, почему так жалуются солдаты на военно-санитарные поезда, на военные госпитали. Там обращение военное, а что оно значит — я уже имею небольшое представление. Хотя бы из отзывов этих же самих офицеров о своих денщиках и солдатах вообще. Солдат для них совершенно заслоняет живого человека.

Один солдат, раненый, рассказывал: „Как в царство небесное, попали мы в поезд (может быть, поезд был наш, земский, или городской организации),— уход, обращение — все по-человечески. Ну, думаем, слава богу, кончились наши муки. Потом в лазарет попали, в частный. Хорошо там было, покойно, душа радовалась. И вдруг почему-то перевели нас в военный госпиталь... Ну, тут уж пошло, закружило. Тут и сестры-то какие-то другие, словно собаки на тебя лают. Ты кричишь: больно, мол, полегче, а она тебя и не слушает, знай себе ворочает. А то зыкнет на тебя ни за что, ни про что. Я уж одну так и прогнал от себя: растревожила меня совсем. Плохо, ой, как плохо".

Об этом приходилось слышать неоднократно. Обращение там невыносимо грубое. Тащат, грабят все — нагло, возмутительно, прямо на глазах. Солдат обделивают, плохо кормят. Хуже военных поездов нет — это общий отзыв всех, имевших с поездами дело.

Наконец, я избавился от милого общества офицеров. Яша привез меня в наш земский лазарет. Приехал я сюда какой-то прокислый, опущенный, расслабленный, на что-то озлобленный. Приехал, сел на постель и весь как-то разом опустился. Раздели, уложили. Яша все время крутился возле и исполнял самые незначительные поручения. Вообще заботливость и предупредительность его были изумительны. Я о нем много говорить не буду. Скажу только, что более теплого товарищеского чувства, более внимательной нежности и заботливой тревоги я еще не встречал. Он все эти дни был для меня дорогой няней. Он приносил и выносил судно, он не спал со мною ночи, следил за приемом лекарства, убирал, оправлял меня — словом, все дни ходил за мной так, как только может ухаживать добрый, искренний товарищ или убитая горем мать за единственным умирающим ребенком. Первые четыре ночи я не спал совершенно. Томительны

были эти ночи. Лежишь и считаешь минуты за минутой. Вон звездочка мигнула, другая, третья... Это ночь занимается... А что это шумит? Ветер? Ох, господи, зачем он? Вот нагонит к утру дождь, и солнышка не будет... А ведь так хорошо с солнышком — легче как-то, веселее... Тучи темнее. Нет, это так... Это они только по краю, не будет дождя... А глаза так устали, устали... Обессилел я весь... Вот и ресницы упали, закрылись глаза... Холодно что-то... Закутаться, прикрыться надо — Яша! — Что тебе, Митяй? — Закрой меня... — Он вскакивает и — весь белый, огромный, неуклюжий — странен и смешон как-то в темноте. Он схватывает два-три одеяла, греет их у печки и укрывает меня... Он запихивает их мне под бока, закрывает ноги, укладывает и пристукивает около подбородка. Вот и тепло стало, не тепло — жарко... Вот на лбу уж появились капли, потекли они и попали в рот. У, как солоно, как противно... А двинуться, утереться не хочется, да и сил нет двинуться... Так и лежишь: течет, каплет повсюду, а ты лежишь, как бревно, как высохший, негодный цветок. Вот Ницше говорит, что не надо больных, что должны жить одни только здоровые, а больных надо стирать с лица земли. Да если только он вправду это говорит, так какой же он должен быть идиот! Во-первых, уж потому, что самого его нужно было стереть в первую голову, как больного (а он ведь был страшно болен и долго болен), а, во-вторых, где вы тут проведете границу между сильно и слабо больным? Всех? Но это дичь. Вот ведь я через четыре дня снова здоров, я снова ликую и люблю жизнь, да так люблю, что дрожу весь от любви, больше люблю, чем прежде. Так неужели нельзя было переждать эти 4 дня, чтобы воротить человека к славословию жизни? Ну, а другому, быть может, надо подождать не 4, а 14 дней, так разве уж это невозможно? 10 дней лишку невозможно? Стереть его? Чушь, дичь. Да разве я дам свою жизнь? Да я сам скорее задушу, чем отдам ее через насилие. Добровольно — ну, это уж другая плоскость, там я не знаю, а тут — да тут я не знаю, что сделаю за свое право жить. Может, тайно? Но эдак можно задушить кого угодно из ненависти, благо можно сослаться на усиливавшуюся болезнь. Нет, нет, это не из жизни взято, если только я правильно понял положение Ницше. Я за него не стою, я о нем знаю со слов, а не из подлинника. Но это все равно:

не Ницше, другой кто-нибудь мог выставить рано или поздно такое положение, потому что оно „логично“, оно вытекает необходимо из проповеди здоровья, абсолютной силы и лучезарности жизни. Оно логично, но не жизненно. Ему жить лишь между небом и землей, но никак не на земле. И тут, в долгие часы ночных размышлений, я понял, вернее, почувствовал, как дорога мне жизнь. Я вспомнил Ивана Карамазова, любившего „зеленые, клейкие весенние листочки“. И увидел, что сам я теперь люблю все-все, что только вижу. Мне страшно дороги стали и эти тени двигающихся незнакомых людей, и кричащие на крыше скворцы, и эта вот бьющаяся в окне муха. Люди двигались, конечно, днем, скворцы кричали поутру, но теперь, ночью, я припоминал все, что только двигалось и трепетало жизнью за день. Любовь к жизни сказалась во мне с какой-то животной силой. Но странное дело: когда приходила мне мысль о смерти (а она приходила неоднократно, серьезно и по-своему не беспричинно), когда я думал, что вот-вот все оборвется,— эта мысль не страшила меня. В те минуты мне только делалось невыносимо тяжело за маму. Я представлял себе ее горе, изумительное по глубине и количеству горе — и мне делалось больно. Я ощущал тогда по всему телу холодный пот, а зубы отчаянно стучали. И тут же мелькала мысль: я заурядейшая личность. А логика была такова: все крупные личности как-то непременно порывали с семьей, даже Иисус (по Ренану) бросил семью и жил с нею в больших неладах. „Они“ приносили в жертву своему делу свои семейные привязанности, семейный мир, родительскую радость. А я вот не могу. Мне слишком близка и дорога мать. Я не хочу ей дать лишнее, незаслуженное горе. Напротив, напротив: я хочу дать ей как можно больше радости, хоть чем-нибудь, хоть какой-нибудь, но радости. И я сам бесконечно рад, когда знаю, что она радуется. Да и бог с ним, с величием. А то и его не достигнешь, и в гордыню опустишься с головой, да и семью-то разобьешь понапрасну, ни за что. Мысли земные, человеческие, робкие, но и люблю, ценю их, потому что сам я слишком земной и слишком тяжело мне бросаться такими огромными живыми кусками. Если что должно получиться — доброта никогда не встанет по пути. Что хочется оставить след — это факт, это, мне кажется, мысль, присущая всем, только не высказываемая, затаиваемая

из боязни злого смеха на случай фиаско. Ну, а я уж не так боюсь смеха, я говорю,— в том вся разница.

Мне дорога моя семья — вот почему целые ночи она и мерещилась мне во всевозможных положениях. Я видел, ощущал их нужду; я видел иногда их маленькую радость, и мне самому делалось радостно от этого видения. Вот почему я ходил радостный весь тот день, когда послал домой деньги. Им ведь это целое состояние — 50 рублей. Да при такой-то нужде! Ведь у меня изболелось сердце, пока я читал это последнее письмо. Мама там пишет, что заняла тут вот 5 руб., тут 2... Да ведь это уж граница, коли по 2 рубля приходится занимать. А зато детям-то какая школа, как за них-то я радуюсь. Уж не избалованные выйдут, с детства нужду-то увидят да прочувствуют. Вон они уж и теперь спрашивают — не просят, а спрашивают — есть ли у мамы 3 коп. на тетрадь, а нет — как-то там обходятся без того. Они уж и теперь радуются, если мама купит фунт чернослив: значит, деньги есть — заключают. И этот фунт чернослив ведь радость, праздник для них.

Так как же не любить, не жалеть мне эту дорогую, столь близкую бедную семью? Я должен, должен любить ее и заботиться о ней. Всякие морали в сторону, тут сама жизнь вышла на дорогу, сама указывает, куда и как надо итти. Тут дело, живая помощь нужны, а не философская система, отвлеченная теория разума. Теперь вот масса беженцев. И нам уж, конечно, не книги нужны об этих беженцах, не история их страданий, а хлеб, хлеб нужен прежде всего, чтобы накормить скорее. Так и у меня с семьей. Как-то рушатся все теории об эту скалу настоятельной необходимости, о нужду, о реальную, живую нужду. Так вот почему долгие ночи перебирал я в памяти дорогие воспоминания семейной жизни; вот почему при мысли о смерти передо мною прежде всего вставала мать, ее нужда, ее неутешное, незаслуженное горе. А мысли о смерти приходили потому, что болезнь мою никто не определил, боли делались все острее, невыносимее, и я таял день за днем, словно свеча. Я приматывал сюда свои тайные соображения, комбинировал и думал, что получилось что-нибудь нежданно-крупное. Это были мои тайные, скрытые мысли, но они-то меня и убивали. Не было ничего определенного, а между тем все хуже и хуже. Я чувствовал,

как слабел с каждым часом, как бессильно опускались руки, мутилась голова... Я ждал чего-нибудь сложного и молчал... В эти минуты мелькали темные мысли. Я хотел уже передать другу адрес мамы, но как-то страшно было на это решиться. Это было бы уж для меня чем-то вроде соборования, и я отдалял этот момент, хотя мысль о смерти последние ночи тревожила меня довольно серьезно. Я, собственно, мало думал о том, что это такое за акт вдруг свершится, как это вдруг случится, что меня не будет, что я перестану дышать, говорить. Может быть, не думал я об этом по своей колоссальной слабости, но мысль была серьезная, а не обыкновенная сентиментально-расплывчатая жалость к себе или тем паче к другому. Я об этом не сказал даже Яше, а ему я говорю слишком много того, что, пожалуй, никому больше не скажу.

Потом вставала Ная. Я особенно люблю останавливать свои мысли на ней. И что я о ней думаю, что вспоминаю? В сущности, все одно и то же: Тифлис, сентябрьские ночи... Чаще всего Ковинка. Там у меня слишком много похоронено дорогих воспоминаний. Она встает передо мной, как живая — такая же серьезная, грустная, милая, как всегда. Я люблю ее лицо: в нем отпечаталось что-то цельное, сильное и чистое. Я люблю ее голос: он всегда звучит так уверенно и твердо. Когда я думаю о ней — целые речи, целые разговоры я вспоминаю, словно единое словечко. Тогда я даже слышу ее голос, все, все, как вживе. Но больше и чаще я представляю ее молчаливой. Мы с ней так любим молчать, когда остаемся вдвоем. А Ковинка... Дорогая!.. Сколько раз мы встречали там с ней зарю! Уж петухи давно прокричали, идет народ, солнце уж горит, золотится все, роса переливается, а мы все еще сидим, и не хочется нам расстаться.

Или прогулки в лес... Зима, морозит, хрустит под ногами, а мы далеко-далеко ушли по белому полю. Вот и собачонка бежит впереди. А лес мохнатый такой, угрюмый, неприветливый. Весело итти к дому... А там снова с глазу на глаз... Сколько радости в этих воспоминаниях! Я не думал даже, что на душе сделается так светло. А вот теперь — вся душа задрожала от непонятного восторга, так тихо-тихо, словно кто-то мигом утолил все печали...

Так вот мелькали дорогие памятки прошлого... Я не сказал и сотой доли, а много передумал я за эти ночи; много прошло через голову и сожалений напрасных, и поздних раскаяний, и ненужных тяжелых тревог.

Была еще мысль о себе: упругая, настойчивая, неотвязная. Она явилась не ночью — в том вся ее сила. Пришла она средь бела дня — свежая, здоровая, чистая и ясная; пришла с явным сознанием своего права и силы, пришла, чтобы встревожить, показать себя во-всю и уйти неразгаданной. Это мысль о моем будущем. Почва была хорошо подготовлена издавна; душа вот-вот ждала прихода такой новой, сильной мысли. Давно уж я стал задумываться над тем, правильно ли выбрал свою дорогу, достойно ли мое будущее поприще того, чтобы отдать ему все силы, и вообще годен ли я на ту работу, в которую пошел столь добровольно, легко и охотно. Филология? К ней уж, конечно, я совершенно не способен. Раскопки, ученые исследования, терпеливое сосредоточение мысли на мелочах, из которых, правда, получаются крупные и полезные труды,— такое сосредоточение мне и не под силу и не по нутру. К чистой науке я не пригоден. Этот отдел приходится совершенно отбросить. Остаются два. Официальное применение дела — в гимназии, в реальном училище. Из года в год придется долбить, повторять одно и то же — тоска, скука, ненужная усталость. Мне жизнь хотелось бы устроить по-другому. Мне в труд свой хотелось бы вложить душу так, чтобы в труде был своеобразный отдых, чтобы была в нем радость, сознание, постоянное неумаляемое сознание его полезности и счастье этого сознания. В официальном применении труда я не найду этой радости. Уже теперь пугают меня рамки, в которые могут упрятать мою душу, уже теперь страшно мне за свою душу и свободу. Нет, и тут не дорога. Остается третий путь — путь свободного творчества, путь творческой работы, художественного творчества. Но на этот путь, столь благородный, любимый и обоготворяемый мною, нет силы вступить, нет веры в себя, нет данных, что буду я на нем не лишним. Пнем, глупым и ненужным украшением торной дороги я не хочу быть, а если уж есть данные расцвести, дать почки, дать плод — это прорвется само собой, тому по-

может время. И очутился я со своими смутными мыслями на распутьи. Я увидел ясно, что есть тут что-то недоброе, что сомнения эти пришли не напрасно, и правды в них больше, чем ошибочной тревоги. Мысли пришли днем, но мучился ими я целые ночи. Мысли, густые, липкие, сосущие мысли. А тут еще жизнь кинула на эту вот незнакомую, новую дорогу. Медицина... Да, вот она — жизненная, нужная, хорошая работа. Я увидел воочию такую массу страдания, что мысли заходили сами собой, получился какой-то крупный, основной пересмотр всего старого. Здесь, лежа больной, я понял яснее и неотразимее ту степень трудности и страдания, которую молча и терпеливо переносят солдаты. Мы истрепаны, мы постоянно взвинчены, и я вот боюсь теперь прикосновения к больному месту, не выношу и раздражаюсь светом электрической лампочки, обижаюсь на Яшу, когда он неосторожно ударит своей огромной ногой по полу и всколыхнет мою кровать,— я нервен, я избалован уходом и требую почти невозможного. А они?.. Припоминались мне наши постоянно-молчаливые герои. Трудно, уж видно, что тягостно, тяжело ему,— а молчит, не жалуется. Солдат мне еще никогда не жаловался, он говорил и просил, но никогда не выставлял своих претензий. Мне думалось и верилось, что через свою болезнь я приму и много хорошего. Я теперь уж буду сразу, по лицу буду замечать, насколько ему трудно, буду стараться проникнуть в самую глубь его молчаливой, застывшей в терпении души и скорей, скорей помогу ему. Лишь только мне становится трудно, я жду и прошу помощи. Жду — и каждая минута ожидания кажется мне тогда невыносимо-тягостной. А солдатам? Вот просит он что-нибудь — идешь, чтобы сделать; но тут другой, третий просит. Сомнешься, забудешь половину — и бывает, что вместо утра удовлетворяешь его лишь вечером. Но теперь уж этого не будет. Каждое движение, каждый взгляд я буду ловить, следить и понимать. Я буду забегать вперед его желаниям, буду выполнять их прежде, чем сам он попросит о них.

И в этой помощи, необходимой и непосредственной, столь очевидной по результатам, моя душа находила свою дорогу, видела свой призывной огонек. И как далек этот путь живой помощи от того книжного, узко отвлеченного пути! Как

смешны и ненужны казались мне теперь все эти заучивания готовых формул и долбежка давно известного и пережеванного материала. А тут вот — тут всегда новое, полное одним собою, встреченное лишь раз в жизни в полноте данных условий.

Мысли горячились; все мои желания перекинулись теперь в одну лишь плоскость — живой необходимой помощи.

Но чему помощи — телу? Да, да, говорил я себе смело: телу, потому что больше чем полмира нуждается в одной лишь этой помощи, да и она уже в себе самой заключает косвенную помощь душе, духу, развитию данных природою качеств.

Я увлекся медициной. Я думал уже о том, сейчас ли бросить свой факультет и перейти на медицинский, или это устроить как-нибудь иначе. После целого ряда сомнений и внутренних споров я пришел к такому решению. Сейчас не брошу, потому что года через два при хорошей работе могу кончить свой факультет. А кончить его надо, во-первых, затем, чтобы, сделавшись учителем, года на 2—3 иметь возможность помогать семье и, чтобы, приехав, снова учиться, иметь возможность преподавать где-нибудь на вечерних курсах, а следовательно, одновременно и себя содержать и помогать снова семье. Эту помощь, независимо от размера ее, мне хотелось бы устроить непрерывной, а то, поступив непосредственно с факультета на факультет, я отрезал бы свою семью еще на 5—6 лет от своей помощи. А она ведь так нуждается в ней. Я права не имею не дать ей эту заслуженную, долгожданную помощь. Эта сторона дела решена, оставалась другая — какую именно область медицины взять за специальность. Терапия, но это как-то слишком расплывчато, и я не смогу здесь быть хорошим медиком. Хирургия — но она всегда страшила меня своей колоссальной ответственностью, да едва ли я и выдержу все ее страшные искусы. Область венерических болезней, но здесь, если уж сделаться врачом — значит сделаться машиной, потому что лечение слишком однообразно, а если работать для науки, так я уже сказал, что микроскоп — не мое дело. Оставалась еще сфера внутренних болезней, детских болезней и психопатология. Я не говорю о других специальностях, потому что они мало меня при-

влекали и интересовали. Особенно влекла меня последняя сфера — трудная, но удивительно интересная и широкая. Ей отдал я всего больше своих мыслей. Я не остановился ни на чем и думал, что время еще покажет, куда я больше пригоден. Эти годы не пройдут даром, мысль свою я не брошу и думаю, что за это время приду непременно к окончательному и твердому решению. Перед неотступными мыслями о медицине меркли огни литературной работы; они меркли, но не потухли совсем. Я не уронил, не унизил ее. Я не отнял у нее смысла и значения — я только отставил их на задний план. Мысль пришла в светлый, солнечный день, была крепка, светла и упруга. Но солнце ушло; настали пасмурные, ненастные дни. И странное дело: вместе с уходом солнца моя мысль стала для меня другою. Ушла ее чистота, ушла крепость,— она сама сделалась такою же пасмурной и хмурой, как это вот небо с полутемными, грязно-серыми облаками. Мысль претворилась в сомнение, в какую-то опасливую робость, в предположение и в смутное сознание своей беспомощности, страшного одиночества и растерянности. Была уже не мысль, а тяга сомнения, была не жажда переворота, а недоумение перед настоящим. Мне в эти холодные, дождливые дни было грустно и жутко. Я встал уже с постели, бродил по лазарету и смешно путался в своем цветном, клоунском халате. Привезли Васю. Ни радости, ни удовольствия не ощутил я в душе от его приезда — значит, нет для него в душе у меня дружбы и привета.

Маргарита страдала от тяжелых болей в ноге. Она не спала вот уже несколько ночей, плакала и кричала по ночам. Остриженная, желтая и худая — она жалка была со своими слезами. Я не люблю сидеть у постели тяжело больных, если они не нуждаются в моей помощи, если приходится ломать себя и подыскивать всякие способы успокоения, часто притом же насквозь различаемые самим больным. Я люблю быть врачом, но лишь тогда, когда вижу, что мое лекарство помогает. Я к ней ходил мало и больше сидел или лежал у себя. Читал; „Детство“ Горького оставило какую-то неопределенность в душе своей раскидистостью и эпизодичностью. Получилось недовольство — не то книгой, не то жизнью, которая киснет в ней,

словно гнилое болото. Но бабушка, эта милая круглая бабушка — она дала мне много истинно счастливых и радостных минут. Теплая, мягкая, круглая... Вот она вошла, и не вошла, а вкатилась, словно мягкий, черный шар: рыхлая, черноволосая, с большой головой, с лаской и ворчливой добротой... Вспомнился Каратаев... Тут вот все олицетворение круглого начала — мужского и женского... А когда я думал о ее милом, добром боге, мне все вспоминался неумолимо суровый и грозный Иегова Бранда, и я видел, насколько приемлемей и ценней светлый бог земной бабушки. Это бог жизни и земли, а бог Бранда — владыка мысли, теории и неба... Больше всего меня захватил мальчик, сам Алеша... Я понял только одно: в душе его от природы или там от самых первых впечатлений младенческих лет заложено было столько чистого и надежно-непоколебимого, что он выдержит любую борьбу, не задохнется и не испортится в любой атмосфере. Даже, может быть, чем хуже, тем лучше — тяжелая обстановка только закалит его:

Лишь в пылающем горниле
Закаляется металл.

А уже это было поистине пылающее горнило, когда ребенку приходилось за бабушку схватываться со стариком-дедом, когда приходилось бросаться с ножом на вотчима, чтобы отнять истязуемую мать. И ничто, ничто не проходило у него даром: прогнали его со двора богатых соседей, и он это сохранит в душе и по-своему остережется впредь; бьют его — он делается Остапом; приласкают — в душе его пробуждаются мягкие чувства Андрия. Пример жизни благородного и сильного духом отца дал свои плоды в рано пробудившемся сознании ребенка и приготовил в нем достойного преемника. Вот пошел он в люди, и чувствуешь, что не пропадет дитя. Душа полна благородства, ум полон стремленья, много непочатой силы, много горького опыта и терпенья. Видно, что жизнь если уж и будет ему сплошным страданьем, так не сумеет она заполонить, умертвить его душу, не сможет его втиснуть в то самое болото, которое он проклял в душе еще с раннего детства. Есть в нем инстинкт живой жизни, есть непонятное стремление, пришедшее бог весть откуда, стремленье цепляться

за корень и не дорожить тем, что прилипает, приклеивается по сторонам. Душа и чистая мысль будут для него краеугольным камнем, будут и маяком и берегом, зовущим лишь на свою твердыню. Хорошее дитя — надежное, умное, с радостью жизни в душе.

Я лежал уже две недели. Последние дни было невыносимо скучно, на что-то обидно и горько до тошноты. Я бродил из угла в угол и все ждал, когда-то смогу отсюда уйти. Яша уехал, и одному стало пусто и жутко. Когда, проснувшись ночью, я увидал подле себя пустую кровать и не нашел его на обычном месте, сделалось так тоскливо, что долго я еще ворочался с боку на бок и не мог заснуть в своем тревожном сожаленьи. И вот, скитаясь из комнаты в комнату, в один из таких пасмурных дней я вдруг увидел в окно своих товарищей. Сердце запрыгало от радости. Значит, пришел поезд, значит, меня сейчас возьмут с собой! Мысли забегали, завертелись колесом, я не знал, что со мною делается от радости. Выписаться я уже мог и только ждал своих. А вот они как раз и приехали. Я наскоро поздоровался и запрыгал по лазарету, словно ребенок, разыскивая свои вещи. Все напилось. Я был уже в шинели и фуражке, но как на грех никак не мог найти штиблеты. Положение было невеселое, итти больше не в чем, а поезд того и гляди что уйдет. Добрая Лидия Петровна сняла уж свои гамаши, но они влезали мне лишь на пальцы, да и то с трудом. Комичное и горькое было положение. Наконец, я нашел свои штиблеты где-то в санитарской комнате, под кроватью, и был тому искренне рад, почти счастлив. Живей, живей... Мне все хотелось увидеть поскорее свой поезд, да и не верилось, что оставляю лазарет. Попрощался с оставшимися друзьями и уехал. Так кончилась моя болезнь. Болезнь кончилась, но осталась хворь. Теперь уже нет тех острых болей, что так мучили меня эти три последние недели, болей нет никаких, но осталось внутри, где-то в глубине, больное ядро, и оно порою тревожит меня. При каждом движении я чувствую, что у меня еще не все ладно, что остался какой-то след. Я еще до движения робею и жду этой глухой боли, я знаю, что она должна появиться вот в этот именно момент — и жду, жду ее. Быть может, это и

неверно, быть может, главное все прошло, но осталось у меня тревога, робость, озлобленность на то, что я не вполне здоров и не могу делать всего, что захочу,— осталась хворь. И она как-то душит, гнетет меня. Я не болен, а в то же время чувствую, что и не здоров; я не печален, а в то же время и не радостен. Во всяком случае, болезнь эта наложила свою печать. Появилась сосредоточенность, жажда уединения. И мне уже не тяжело это уединение. Я сижу целые дни один — читаю, пишу и не тягочусь тем, что мог бы быть не один. Я много передумал за ночи болезни, я устал от этих мыслей, и, может быть, это все еще сказывается усталость, а, может быть, начатые мысли додумываются тайно еще и теперь? Я ведь часто ловлю себя на них.

И вот день за днем жажда очищения и воздержания усиливалась неимоверно, питаясь одиночеством и скукой. Передо мною вставали живые образцы истинно правдивого отношения к женщине, вставали образы дорогих и чистых людей, и я рвался к ним всей душой. Но чувствовал я, что надо развить в себе не одну только сдержанность. Придется совершенно выбросить из своей жизни целый класс других отношений, многое придется вырвать с корнем и в пустое место насадить других корней. И чем дальше я разбирался, тем яснее видел необходимость изменения во многих и многих областях. Ограничиться одним вопросом — это все равно, что у истрепанного аккорда сменить лишь одну струну. И не только тогда не получится чистого созвучья, а, напротив, будет рвать душу невыносимый диссонанс, очевидное несогласие и противоречье. Тогда, на фоне, оно даже будет еще отчетливее и яснее. И вставал в душе план коренной перемены. Я был согласен с необходимостью, я верил ей, любил ее. Но когда я думал и представлял себе всю мою натуру, всю естественную природу, я видел, что план мой до конца невыполним. Я до границы могу придержать себя, но дальше — дальше идет уж борьба с самим собою, с непосредственным, искренним и естественным желанием или чувством. Эта борьба может быть и не по силам, а главное, мне кажется, что и вести-то ее преступно. Душа просит одного, а я буду утишать, усмирять ее, доказывать, что ум вот просит другого, и надо ему поко-

риться. Я не могу этого сделать; мне жаль коверкать и ломать то ценное, что дано мне, и лишь только мне одному. Ведь больше нет никого, кто имел бы вот точно такую же душу со всеми ее оттенками, а ведь красота-то вся лишь в этих оттенках, ими лишь она и отличается от других. До границы я держусь, до черты я держу себя на узде, но приходят моменты ничем неутишимой жажды самобытного проявленья, и тогда я не властен в себе, тогда что-то берет меня за руки, словно малое дитя, и несет, куда ему надо. И все мои попытки вырвать корни до сих пор были безуспешны. В этом, помимо бессилия, я вижу еще указание на бесплодность и ненужность моих страданий. Не корни я должен вырывать, а лишь должен ухаживать и следить за развившимся деревом, беречь его, заботиться о его красоте.

N

Я привезу тебе полную душу
Живых впечатлений,
Жгучих восторгов, безмолвной мечты,
Полуночных молений.
Я привезу тебе много красивых
Сомнений нежданных,
Много забот и тревоги печальной
В обликах странных.

15 сентября 1915 г.

НОВЫЙ ФРОНТ

Мне сравнительно мало пришлось ждать в Москве назначения на новое дело: 8-го попал в резерв, а 12-го уже был назначен в летучку Светловой. Задержал Н. Г. Петухова, высказал ему в двух словах свою тоску по работе, попросил помощи: „я, дескать, 10 месяцев работал на Кавказе". На другой же день все устроилось, и устроилось именно так, как хотел я сам. Провожал Мишуха. До Брянска ничего особенного, а дальше — все беженцы и беженцы: сидят на вагонах, выглядывают из теплушек, грудятся у костров, а на кострах жарят и варят картошку, кипятят воду или попросту греются.

Большинство босые. В Брянск приехали мы ночью, часа в два. Нужно было пересаживаться на Гомель. Ждали недолго, до 6-го часу. Мы сновали все втроем: студент из Петербурга, поляк из Варшавы и я. О студенте речь впереди, а про поляка скажу, что он хоть и понравился мне во многом, но бахвал ужасный. У него удивительно много галантности (шутка ли: 10 лет выжил в Англии! А там ведь не хлебы пек, а гранил брильянты да переправлял их самолично в Америку). И вот он, сначала мне, а потом и каждому, с кем случалось разговориться в моем присутствии, сообщал полудружески и таинственно, что жил он в Москве в гостинице „Метрополь“ и за номер платил 8 р. 60 к. в сутки и что там он оставил чайник, который стоил 10 рублей (хотя несколько позже эта цифра была изменена). В „Метрополе“ я не живал и цен тамошних не знаю, как не знаю ничего и о знаменитом чайнике, а потому принужден всему верить, хотя подозрительна мне несколько эта жажда распространять о себе всякие сведения. Потом он неоднократно обмолвился фразами, вроде: „нам, богатым людям, что“, „с деньгами-то мне легко“ и проч. Это признак тоже дурной. А у студента была довольно странная манера с первого слова кидаться в спор. Он кричал благим матом, жестикулировал, об'являл себя как бы чем-то и кем-то кровно обиженным. И, знаете, у него была довольно скромная претензия, она не стоила этой горячки — он претендовал на знатока сроков прибытия и отхода поездов по всей линии от Москвы до Минска. И претензия эта была ведь не только странная, но и бессмысленная, потому что сроки теперь одному богу известны. Возьмите хоть этот вот случай: я выехал из Гомеля (на Бахмач) сегодня в 9 часов утра, а должен был выехать вчера вечером около 6 часов. Вот вам и сроки. Тут ни начальник станции, ни коменданты ничего не знают, да и знать не могут. И прав был кондуктор, который одной бойкой бабенке на вопрос: скоро ли явится поезд-то? — ответил: „Скоро, а все-таки сложи корзинки да и ложись на них; народ побежит и тебя разбудит, а побежит он, может, в одиннадцать утра, а может — в одиннадцать ночи“. Тут и весь сказ, дальше уж нечего спрашивать. А вот у студента этого совсем не было сознания бессилия, сознания неосведомленности,— он

уверял напролом, и было это даже убедительно, потому что он волновался искренне, злился тоже искренне и говорил часто громко, с пеной у рта.

— Эх, дурак я, дурак,— хлопал себя по лбу толстый купчик, усаживаясь вместе с нами.— И чего я не переждал в Москве до утра? Ведь сутки почти потерял! Ну-ну...— и он мотал головой, вздыхал, ворочался на месте.

Словно с цепи срывался студент:

— Верно, совершенно верно... А теперь вы в Минск билетов уж не получите.— Связи тут, правда, не было никакой, но погорячиться было можно, повод находился, хоть и ничтожненький.— Да, да, вы не получите,— гремел студент, опровергая молчащего собеседника.— В Минске билетов нет, и в Брянске отказывали категорически...

И достаточно было собеседнику высказать малейшее сомнение, как он кинулся на него почти с кулаками:

— Что вы мне говорите! Что вы, учить хотите меня, учить? Так я вам лучше скажу: вы и в Бахмач не попадете, дальше Гомеля никуда не попадете...

Единственным способом спасения было молчание. Тогда он понемногу затихал, как будто даже несколько оскорбленный и непонятый. Я удивляюсь, откуда у него вырос такой огромный интерес, откуда такая горячка в обсуждении вопросов железнодорожного ведомства. А ведь он вкладывал в спор всю душу. Конечно, это теперь один из насущнейших вопросов всего этого края. Приехали в Гомель. Н. Н. Хренников направил меня через Киев в Сарны. Заночевал я в земской перевязочной, что стоит у самой станции. Заведующая хозяйством — симпатичная женщина (хотел сказать — старушка) — приняла по-родному, уложила на диване: давно уж так я не спал. Рассказала, что на днях через Гомель, не останавливаясь, провезли в Новобелицкую 300 холерных покойников, а 13-го с/м приехал в Гомель поезд и привез 200 малюток, грудных и перволетков, утерявших так или иначе своих родителей. 200 человек! Их здесь вымыли, остригли, накормили, частью одели... А одевали как? Обрезали рукава у солдатской рубахи и вдевали в нее ребенка, а потом завязывали, где надо. Я не успел ничего узнать об этих крошках, но кажется, что их направили

уже в Москву. Утром, часов в пять, явился я на станцию. Картина здесь своеобразная, вероятная только для данного времени. Зал 2-го класса набит вещами и людьми. Не только негде сесть, а и встать путем невозможно — то-и-дело задевают и подталкивают. Но нервности особенной не замечалось, даже курили мало — впрочем, может быть, табаку мало! Дороговизну общую не могу засвидетельствовать, но французская булка, например, по 11 коп. штука, черный хлеб по 6 коп. за фунт. Люди теснятся и ждут целыми часами. Да что часами — десятками часов! Опрощение видно всюду: какая-то барыня самолично тащит из буфета стакан чаю, два господина улеглись прямо на полу и в головах у них по локтю — так ведь на голом полу и лежат, а видно, что господа, не наш брат — холуй, видно, что до сих пор в таком положении не бывали. Я даже больше скажу: капитан лежит на голом полу, а ведь это уж слишком много значит! Кто ж не знает болезненной щепетильности и ложного самомнения военных людей! А эта вот дама — как выпила стакан чаю, так и уснула тут же, едва не касаясь носом до самого стакана; рука ее откинулась на зонтик, а сама она прислонилась к незнакомому господину. Там в углу мать хотела погладить по белому пушку на голове свое плачущее дитя, да так и застыла, положив широкую руку на крошечную головку. Мать уснула, а дитя еще, быть может, долго и тихо от усталости всхлипывало, пока сон не смежил ему очи.

У дверей стоял солдат — не то для охраны, не то для усиления общественного спокойствия. Он был в одном отношении подобен догу, так как, пуская в здание, обратно никакого не выпускал, кроме военных, то есть „своих“. Но эпитет „свирепый“ уж к нему не подошел бы ни в коем случае — напротив, он был воплощенным добродушием и острил так безобидно, что все отходили от него с улыбкой и без злобы. Когда у него просили или требовали пропустить на платформу, он невозмутимо отвечал: „Не пущу. Холодно там, простудитесь“ или: „Куда вы пойдете: там голуби мерзнут“, а одной, особенно приставшей старушке, он сказал: „А вот придет поезд, так я тебя первую на штыке вынесу“. И она при-

НА-УРА!

Деньги я все роздал в Москве и, отправляясь сюда, имел рубля 3—4. Как-то так случилось, что при приезде в Киев у меня оказалось копеек 50, а голоден был, как собака, ночевать было негде. Приехал часов в 11 вечера, а поезд на Сарны отправляется лишь на следующий день в 2.10 дня. Но еще и до Киева был случай проявить свое геройство. В Бахмач прибыли мы часов в 5 дня; случайно там стоял плацкартный на Киев, а стоять ему осталось 4 минуты. Молодецкой атакой, не без нахальства и не без свирепой решимости, у всех на глазах, взял себе плацкарту 3-го класса и на ходу успел в поезд, где и поместился во 2-м классе. Миновали Нежин, Бобрик — тут еще все обстояло по-хорошему, поезд делал в час верст 50, но перед самым Киевом, когда начались „Киев 2-я", всевозможные семафоры и возмутительные стоянки — тут уже терпения нехватало, и я непростительно нервничал и волновался. Тихо, торжественно перебрались мы по огромному мосту через Днепр, радостно мигали нам издали городские огни, но судьба была столь жестока, что город мы увидели лишь часа через полтора. Впрочем, приехали. Ну, куда я денусь? Уж ночь; денег нет, а знакомых и не бывало. Но была полная уверенность в том, что ночь проведу покойно, а на утро буду закусывать. Так оно и вышло. Отправился разыскивать земский лазарет и после часового розыска набрел на бывшую гимназию, где и был один из двадцати земских лазаретов. У раскрытого окна сидел доктор. Дескать, так и так: земский работник, ищу свою летучку, случайно очутился без денег и потому прошу приютить на одну ночь,— я хоть на полу, мне шинель поможет, только на улице бы не оставаться. Сперва он отнесся недоверчиво, но говорил я спокойно, пожалуй, несколько даже уверенно, выходило — не прошу, а требую. Ну, словом, он устроил меня в дежурной, где спать было неудобно и жестко, но усталость поборола все невзгоды. Спал я крепко и долго, часов до 7—8 без просыпу, а поутру фельдшерица пришла звать пить кофе и закусить. Сердце заиграло. И не напрасно: когда я вышел из лазарета — тело молчало, а для меня это за по-

следнее время важно, потому что голос тела часто отравляет мне душу, а это нехорошо и опасно. Пошел бродить по Киеву. Первым долгом уехал в Киево-печерскую лавру. Видел Успенский собор, видел пещеры и был в них. А там с трехкопеечной свечой осматривал, а иногда и ощупывал мощи — наощупь получается отдаленное впечатление человеческого тела, тело должно быть мягче. Все мощи закутаны в красные покрывала, и меня ни на одну минуту не оставляла мысль сорвать одно из них и раз навсегда — или поверить, или плюнуть в негодовании. Но на всех перекрестках черными привидениями стояли монахи и зорко следили за проходящими. Один из святых, кажется, великомученик Иоанн, перед кончиною зарыл себя в землю, что он делал неоднократно и прежде во время молитв, зарылся в землю да так и умер, а потому и мощи его сохраняются стоя, наполовину закопанные в землю. Видел мощи Антония, Нестора-летописца: у Нестора даже остановился дольше обыкновенного, ощупал его довольно основательно с головы до живота. Много навернуто, много навздевано и наложено, определенного не узнал ничего. Ну, словом, ходил я по лавре без тени религиозного воодушевления, без капли веры, даже без должного уважения, хотя бы и к ложной, но все ж ведь многовековой святыне. Монахи косились на меня, видя студенческую шинель и атеистическое, не благолепное, не молитвенное поведение, а перекрестился я и вправду лишь тогда, когда вспомнил об этом, при самом выходе. За все же время блуждания по пещерам я больше был охвачен сомнением, недоверием и какой-то двойственностью чувств и мыслей. Все-таки ведь надо сознаться, что атеист-то я еще не вполне убежденный, а следовательно, и колеблющийся при малейшей преграде. С лаврой покончил. Пожертвовал я ей, правда, мало — всего 6 копеек, но будь я и при деньгах — больше все равно не дал бы: не люблю я давать на монастыри и все прочее в этом роде. Много слишком у нас и без того самой настоятельной нищеты, на которую и следует поберечь свою щедрость.

Из лавры — на Крещатик. Видел памятник П. А. Столыпину. Стоит он во весь рост — со свитком в правой руке. А с боку надписи. Одну я запомнил: „Вам нужны великие

перевороты, а нам нужна великая Россия" — красивая, но бессмысленная фраза, потому что великую Россию могут создать лишь великие перевороты, а для великих переворотов в свою очередь нужны и великие люди, а потому и выходит, что великие люди лишь те, которые так или иначе воплощают в себе крупинки великих переворотов и событий. В Киеве же произошел прекрасный случай, я не забуду его долго, если не всю жизнь. Я уже сказал, что денег у меня не оставалось, а после лавры да трамвая я и вконец обеднел. До Сарн далеко, да еще и бог знает, что меня там ждет. Решимость и тут спасла. Подошел к студенту: „Товарищ, дайте рубль или два и адрес дайте..." Я хотел еще об'яснить ему, что ищу свою летучку и проч. и проч., но он уже достал и дал мне рублевую бумажку. Он было отказывался дать адрес, но я настоял и, конечно, через несколько дней пошлю... Я так был тронут его непосредственностью, что только пожал крепко руку и пробормотал: „Не нахожу слов, товарищ..." — „Ну, что вы, что вы, коллега,— перебил он...— Чего тут особенного?" И, действительно, особенного тут ровно нет ничего, но хорошего и чистого все-таки много...

И таким вот образом, на-ура, я часто побеждаю нехорошие положения. Например, были такие случаи. Между Тифлисом и Москвой мне пришлось за этот год проехать во 2-м классе целиком три раза. Дело немаленькое, а при настоящих условиях, когда все поезда забиты военными и все преимущества предоставлены военным,— это даже трудное дело. И все-таки ни одной ночи в поезде не провел я стоя. Смотришь, например, купе заперто. После продолжительного стука лениво и зло открывает изнутри какой-то фрукт в орденах и эполетах: „Что стучите, нет места".— „Нет? А кто наверху?" — „Занято"...— „Кем?"... Он пытается молча и в раздражении затворить дверь, но не тут-то было: у меня уж привычно работают и ноги и руки. „Вы подождите закрывать, этот вагон ведь не плацкартный... Скажите, пожалуйста, кем верх занят?" — „Кем? — почти кричал он:— Что вы, не видите?"—„Вижу..."—„Ну, так чего же вам?.." — „Но эти места совсем не для вещей, а для пассажиров..." Ворочается и скрипит ему в тон проснувшаяся супруга, с которой они, видите ли, заперлись, словно дома...

В результате часть вещей забрасывается на другие, выше стоящие вещи, а другая составляется на пол, и через пять минут я полеживаю мечтательно на верхней полке с папироской в зубах.

17 сентября

К ПОЗИЦИЯМ

В Киеве спокойно, во всяком случае нет беспокойства. Но чем дальше пробираешься на запад, тем напряженнее атмосфера. Без слов чувствуешь что-то такое, что говорит о сравнительной близости боя и возможной опасности. Сарны от Киева — 298 верст, и здесь уже чувствуется, что бой близок. Круглый день слышна канонада, как далекий, периодический гром, каждый день шумят над головой аэропланы — высоко, высоко плавают они в облаках и жадно к чему-то присматриваются, словно грозные, хищные птицы. В полдень прилетал один австрийский альбатрос, но скоро вернулся обратно. Мы слушали в лесу канонаду и шум пропеллеров. Было странно: в лесу так тихо, светло, по-осеннему грустно, а там — свирепо, грозно, темно и страшно.

В сосновом бору много белых грибов, в опустелых усадьбах Сарн много цветов: сестры приносят каждый день огромные, пышные букеты. Ездили в Полицы (Полицы называются иначе Рафаловкой), там уже совсем близко — всего в 6 верстах идет вот уже много дней непрерывный бой. Приезжали мы ночью, ночью же и воротились, а завтра я совсем перебираюсь туда, в первую летучку. О летучке я имел другое представление, да оно, впрочем, и не ошибочно, только относится к другому понятию — к отрядной летучке. А эти наши 4 летучки — обыкновенные поезда, имеющие лишь более спешное, так сказать, экстренное значение — быстро порхать с места на место и близко подходить к линии боя: первая, например, стоит теперь в 6 верстах. Состав летучки меньший, нежели поезда: в ней всего 12 теплушек и 4—5 классных вагонов.

Поразило меня хладнокровие, с которым в Рафаловке один офицер говорил о том, что завтра их полк идет вперед и имеет целью оттеснять неприятеля как можно быстрее. Дело пешу-

точное, и он, быть может, в последний раз ужинал в теплой комнате, но он был удивительно спокоен. Из Рафаловки ехали в телячьем. Общество было презабавное: 3 сестры, 2 железнодорожника, трое молодцов в лаптях и с махоркой, 3 поседелых, прикорнувших по углам носом в армяки, 2 офицера, 3 солдата, я, 2 бабы с кричащими ребятами. Фонарик тускло освещал грязный пол и разбросанную солому; в углу были свалены какие-то мешки, на полу было наплевано, валялись окурки. Получалось впечатление, что все мы собрались вокруг догорающего костра и с минуты на минуту ждем его смерти. Трясло необыкновенно. В щели посвистывал режущий ветер. Было холодно и сыро.

19 сентября

Канонада не умолкает. До поздней ночи, как отдаленный гром, сотрясает она тишину. Звуки трудно передать междометием. „Б-б-бах... б-бум... тр-ра-та-тах...“ — все это дает очень слабое представление о сущности звука... Отсюда вот, за 4—5 верст, впечатление получается подобное тому, как от чужих, тяжелых шагов по крыше соседнего дома в тихую-тихую ночь: как от раскатывающихся бревен на расстоянии 30—40 сажен; как от замирающего далекого грома. Иногда кажется, что стучат в ворота то-и-дело раскачиваемым бревном, иногда кажется, что сотни топоров ударяют в одно место — крепко, отрывисто, будто со злобой.

Гремит и гремит. А здесь, в 5 верстах, спокойно. Солдаты кучками сидят у костров, пьют чай, варят картошку... По полю безмятежно, склонив головы, бродят лошади; офицеры не знают, что делать, стоят кучками и горячо спорят о чем-то ненужном и всем им неинтересном. Вечером часть приходит в теплушку,— тут они рады семейной обстановке и оживают, как мухи по весне.

Под гром канонады слышны песни, слышна гармоника... а сердце бьется, словно перед экзаменом или перед выходом на эстраду... Под горло подступает что-то вязкое и круглое, катится, словно шарик, душит слегка. А в сосновом бору мелькают фигуры солдат, лошадей, беженок в цветных костюмах. Их здесь немного, в Сарнах больше, а в Гомеле и совсем много.

Это новое чувство, новое ощущение близости боя захватило меня всецело. Сердце колотится, словно ждет чего-то. Сюда стягиваются наши силы, предполагается подвести корпус не сегодня — завтра и начать наступление, пока австрийские силы не пополнены германскими. Если будет наступление или отступление, вообще что-либо активное — наши летучки соединятся вместе, как и было все время до последних дней, когда было так много работы. Сестра рассказывала, как им однажды пришлось работать три дня и три ночи, как в три дня было перевезено до 4 тысяч раненых. Ночью ставили в поле стол, а по полю были разложены раненые, прямо на земле, едва прикрытые.

Тихо, темно было... Только сплошной стон рвался от живого поля к небесам... Раненые ползли к столу, молили о помощи, но не было возможности помочь сразу многим... Как символ спасения, белел во тьме этот одинокий, белый столик, на него были устремлены все напряженные взоры, его лишь близости все жаждали и ждали с нетерпением.

19 сентября

В ОКОПАХ

Оседлали трех лошадей, и мы поехали в окопы: казачий офицер, техник-строитель, на деле больше взорвавший, чем настроивший мостов, и я. „У вас оружие есть с собой?“ — спрашивает меня офицер. — „Нет“. — „Взяли бы...“ — „У меня вообще нет, да я и стрелять-то не умею...“ — „Ну, тогда едемте. С оружием-то тут всегда лучше,— добавил он: — ехать придется лесом, а на раз'езд наткнуться ничего не стоит“. Поехали. Дорога шла мелким березовым лесом и взбитыми полями. Вдали виднелся косогор — за ним были австрийские окопы. Орудия бухали непрестанно, только стреляли они в другую сторону — у местечка Полонного. Офицер все учил меня, как надо сидеть на седле, и я очень благодарен ему за то, что после этой поездки мне не придется 2—3 дня обедать стоя, как то было после кавказских прогулок верхом. Меня все уверяли там, что стремена не при чем, надо лишь крепче сидеть в седле — потому вот я и обедал

стоя, а теперь, напротив, стоял все время в стременах, ноги в стороны, носки внутрь. Мы уже под'езжали к Маюничам, опустелой, бедной деревушке, когда встретившийся казак предупредил:

— Держитесь, ваше благородие, к лесу, по дороге не годится, обстреливают...

Мы спустились мигом к опушке и поскакали к деревне. Чудилось, что нас заметили и вот-вот откроют огонь с соседнего холма. У дерева стоит и мнется крестьянин. „Чего стоишь?“ — „До деревни хочу, да боюсь...“ — „Иди, никого там нет...“ Обрадовался он, увидев, что мы туда же, заковылял сзади. В'ехали в деревню. Тихо, мертво в ней. Жители давно выбрались, и растворенные настежь двери и выбитые окна показывают лишь оголенные стены, переломанные столы, да тыквенные об'едки. Ни души. Живо соскочили у сарая, ввели лошадей. Я привязал своего Серого к столбу, предлагаю офицеру: „Давайте сюда вашу лошадь“... — „Нет, я вот тут“,— и он перевел ее в другой сарай. Я только после догадался, что не годится привязывать лошадей вместе, чтобы на спешный случай не было заминки. Привязав лошадей, осторожно выбрались из сараев и по стенке стали пробираться к кустарнику, потом бегом через поляну — и так до самого моста, откуда недалеко находились наши окопы. Где-то погромыхивало, изредка долетали ружейные выстрелы. Под мостом, от бревна к бревну, перебрались на другую сторону и — где согнувшись, едва не ползком, где бегом — вошли в окопы. Окопы полуестественные, полуискусственные. Поперек Стыри идет возвышенность — ровная, удобная, сажен пять по откосу вышиной. Тут и были сделаны из дерева окопы в сторону Чарторийска (селения, не станции), церковь которого виднелась вдалеке. По направлению течения Стыри, к Козлиничам,— тоже окопы: наложен рядами дерн, таким образом прикрывающий и сидящих в сторону Чарторийска. Козлиничи на левом берегу, и до них отсюда версты две по прямому пути. Они заняты неприятелем, окопы которого тянутся по всему бугру влево, за кладбище и далее, по направлению к Чарторийску. Кладбище в бинокль видно отчетливо, видны и отдельные перебегающие люди. Мы долго осматривали в бинокль неприятельские окопы, но там было тихо. Командир

сотни стоял уже 3 дня в окопах, и выпущено по нему было за это время до 300 снарядов, рвавшихся или в соседнем лесу, или на лугу за окопами. Это был молодцеватый, бравый офицер, нанюхавшийся еще в Галиции пороху и страху — недаром он так спокойно и похаживал по насыпи, тогда как мы предпочитали сидеть в окопах. С неприятельского бугра было видно, если кто появлялся на насыпи, и тотчас открывался огонь. Пули свистели совсем рядом; одна пролетела в шагах в 2—3 и как-то жалобно-жалобно простонала, словно тоскующая птичка. И жутко было итти на насыпь, погибнуть ни за что, ни про что, а офицер ходил и посматривал туда спокойно и весело. „Носу высунуть нельзя, так вот и почнут палить,— сказал он, спускаясь вниз.— Послал я утром сегодня троих к реке, так спуститься не дали, так и затявкали...“ Река тут была всего в нескольких шагах, по ту сторону окопов; перпендикулярно к линии окопов, на расстоянии 30—40 сажен, за рекой была насыпь до самого леса, который тянулся параллельно реке. Мост через Стырь был взорван несколько дней назад, а так как место это удобно для переправы, так как на-днях ожидается наступление, то и хотят тут положить новый мост. Днем работать нечего и думать; решили сегодня ночью навозить материал, а завтра за ночь построить, да так тихо, чтобы не то что неприятель, а и свои-то не слыхали бы. „Петров! — крикнул офицер.— Возьми двоих — сходи, измерь реку, живо!“ — „Слушаюсь“. Три солдата спустились к реке, сели в лодку... Оттуда тотчас же открыли пальбу. Через 10—15 минут Петров доносил: у нашего берега 2½ аршина, у того берега — 3½, а посередке — 2 аршина. Решено за 2 ночи построить. „Только надо будет еще раз посмотреть в том лесу“,— он указал на лес за рекой.— „Да, надо“... И тот же Петров с четырьмя товарищами направился снова через реку, под защитой насыпи, к черневшему лесу. Шумно поднялся аист и улетел прямо в неприятельские окопы. Наших заметили, и пули завизжали снова. Солдаты молчали, не дали ни выстрела. Через 30—40 минут Петров доносил, что в лесу нет никого, только за ночь неприятель нарыл окопов... „Так что надо бы его было угостить из его-то окопов“,— добавил он, улыбаясь во все свое широкое лицо. „Таскать лес я позову народ... Идут охотно, особо бабы. Вчера все таскали с моими ребятами, а

ребята-то у меня ведь все доктора, так что с устатку-то делали им „подкожные вспрыскивания".

„Так вот и все время?" — спрашиваю я. „Да, больше так, иногда артиллерия пошумит, а то все больше охотимся: вывернется где случайно, тут его и ухлопаешь, а они, конечно, и нашего брата не милуют".

Как раз в эту пору от кладбища отделилась фигура и направилась к Козлиничам. Там расстояние с полверсты.

„Чего они не стреляют?" — крикнул офицер Петрову, указывая на наши нижние окопы, находившиеся саженях в ста от нас в сторону деревни.

Петров побежал туда. Через пять минут он воротился:

„Не видали, ваше благородие, вшей проискали. Ну, теперь сторожить будут, когда воротится..." „А сколько у вас там?" — спрашиваю я офицера. — „Да всего двое, и тех вши с'ели".

Австрияк, действительно, скоро появился на поле. Одна, другая, третья пуля... Он побежал... Вот пуля скользнула у самых его ног, там забелела взметенная пыль, но самого, повидимому, не задела. Живо домчался он до кладбища и скрылся за крестами. Так и не удалась эта охота на человека. Высоко под облаками трещал аэроплан, простым глазом была видна лишь черная движущаяся пластинка. Над окопами пролетело стадо диких гусей и скрылось за лесом. Было время ехать обратно. Мы выбрали другую дорогу, но неудачно и проплутали вместо 5 верст 7—8.

Ехать пришлось снова лесом. Золотые листочки еще межевались зелеными, но тропинка была вся усеяна опавшей листвой. Ехали словно в сказочном царстве: такие картины я видал только в кино. Выехали на опушку: по полю бредут две лошади. „Это чьи?" — „Да хоть вы берите; тут их теперь много кружится без хозяев-то". В'ехали в лес. Там раскинулись лагерем беженцы, все больше бабы да ребята. Мужиков почти совсем не видно. Они указали нам дорогу через болото, и через 10—15 минут мы уже были в Полицах.

Пальба идет неумолчная. Иногда прогремит так близко и так сильно, что содрогаются окна и стены у вагонов. Теперь, к вечеру, стало даже как будто сильнее, во всяком случае, чаще.

20 сентября

РАБОТА

Я дежурю с 9 вечера 19-го до 9 вечера 20-го. Я захлебнулся от работы. Такой именно работы я и ждал все время, о ней только мечтал. С вечера было лишь 4 раненых и 4 больных... Меня поднимали два раза ночью, в час и около четырех, а в седьмом я встал, и тут-то вот началась работа. За день пришлось перевязать несколько десятков, сотню с лишним переправили в Сарны. Из этих отправленных 32 австрийца — все рубленые шашками и колотые пиками. Наши драчуны за вчерашний день поработали вволю. Перевязочная у нас крошечная: обыкновенная теплушка, наполовину заставленная необходимыми ящичками, столами, скамейками. Нам удалось ее перевести в станционный зал, и тут было работать просторно и удобно. Помню только раз было нечто подобное где-то на Кавказе, не то в Елисаветполе, не то в Александрополе. Работали так же спешно, и так же перевязочную поместили в станции. Австрийцы — все молодой, недозрелый народ — по 17—19 лет, больше поляки и чехи. На перевязках спокойны и терпеливы — может быть, попросту боятся стонать, не вполне доверяют нашему терпению. То-и-дело подвозили к станции раненых с ближайших позиций. Бой сегодня ночью и на заре шел по всему берегу Стыри — от Полонного до Маюничей и дальше вверх. Австрийцы оставили Чарторийск, но наши его еще не заняли. Тот лесок, который вчера осматривали наши, австрийцы заняли сегодня за ночь, но кончилось это дело для них большим несчастьем. Ниже Козлиничей нашей кавалерии удалось каким-то образом за ночь перебраться через Стырь и внезапно ударить на австрийцев сбоку. Там поднялась невообразимая паника. Мы захватили несколько обозов, человек до ста пленных, и побито было к тому же не мало народу.

Работа кипела непрестанно, целый день я ходил руки в крови. Усталости не было и следа, наоборот, была та непонятная напряженная бодрость, которая, продолжаясь несколько дней сряду, приводит к горячке. Все полны важностью работы: сделано так много, и больше того впереди. Не страшна перспектива! Кругом, вернее полукругом, от Полиц по Стыри все время

гремит пальба; слышно, как рвутся снаряды, слышны глухие порывистые вздохи широких пушечных жерл. Эта обстановка подымает энергию, создает торжественную многозначительную атмосферу. Кругом стон, мольбы... Это не значит, конечно, что солдаты нетерпеливы: напротив, они поражают своей молчаливостью во время самых тяжких перевязок,— это невольные, глухие или ясные стоны, которые свидетельствуют о невероятных, почти непереносимых мучениях, когда стон вылетает сам собой из запекшихся губ... „Сестричка... воды... Ой, полегче... Ой, ой, ой... Ой, потише... Ничего, тяни: тут не больно“... А какое тут „не больно“: куски марли тянут за собою живые, кровяные куски. Здесь нам в полдень попадают раненые поутру, наспех перевязанные на позиции, а иногда и совсем не перевязанные. Раны грязные; часто кровь перемешана с землей, с сеном, нитками и проч. Но повязки снимаются сравнительно легко — всюду еще сочится свежая алая кровь, марля и бинты не успели присохнуть. Принесли австрийца: пуля прошла под самым сердцем и вышла под правую лопатку. Когда я снял бинты, у него что-то страшно захрипело в груди, и из раны забила алая кровь. Стало страшно — под самым сердцем забила она. Наскоро и туго забинтовал я побледневшего бедняга, и кровь остановилась. Отлегло от сердца.

Один за другим прибывают батальоны. Завтра поутру предполагается общее наступление. Здесь, на протяжении нескольких верст, немецкое наступление не только остановлено, но повсюду инициатива перешла в наши руки.

Вечером собрались офицеры. Завтра они выступают. Говорили о предчувствиях, и получилось такое впечатление, что какой-нибудь Иванов сто раз метался в жалобных излияниях и на сто первый действительно попал на шальную пулю. Тут припоминают его предчувствие, и создается вера в него. Некоторую душевную тягу я допускаю, но лишь у людей глубоких, с развитым чувством, которые об этом и говорить-то постыдятся, а если и обмолвятся, то вскользь, чего другие и не заметят, пожалуй. Пришлось услышать прекрасные выражения: „Врет, как кавалерист“, „врет, как очевидец“. Созданы войной, войной именно этой, настоящей, когда так много оказалось всяческих „очевидцев“, нередко присылающих из Тамбовской

губернии поэтический очерк люблинских схваток, ужасный воздушный бой описывающих, как свою комнату. А один кавалерийский полк притягивают к ответственности за то, что он шел все время сзади пехоты, разведочные сведения получал лишь от нее и не выполнял прямого своего назначения.

КОСТРЫ

Полночь. Тихо-тихо. У костров сидят засыпающие солдаты и мерно качаются взад и вперед. Где-то солдатик вспоминает родину, и поет унылую, протяжную песню о том, как

На родную на сторонку
Мне хотелось бы глянуть...

Трещат костры, разлетаются во все стороны золотые искры и освещают темные морды лошадей... Вспоминается тургеневский „Бежин луг".

Пальба притихла. Завтра она возобновится с удесятеренной яростью.

Подошел новый эшелон. При разгрузке слышна свежая, здоровая брань: она как-то чище и естественнее нашей полубрани с постоянной оглядкой по сторонам. Летят из вагонов винтовки, шинели, ранцы... Все это, спутанное и смешанное, каким-то образом живо расходится по рукам, и за временной суетой скоро снова наступит могильная тишь.

Жутка эта тишь. Чудится в ней что-то зловещее, недоброе.

ПЕРЕВЯЗКА

Разрывная пуля изуродовала руку. Пуля вошла во внешнюю часть плеча, вышла во внутреннюю, и эту внутреннюю страшно было видеть. Во-первых, поражает разница об'емов входного и выходного отверстий: второе больше первого, по крайней мере, в 4—5 раз, тогда как входное обыкновенной пули бывает больше входного всего в 1½—2 раза, смотря по встречаемым изнутри препятствиям. И вот развороченная внутренняя часть плечевой части руки представляла такую картину: ободранные, словно ощипанные, края; мелко раздробленные ку-

сочки кости; множество каких-то отверстий и тайных ходов, со следами присохшей земли, соломы, запекшейся крови; основное отверстие по направлению ко входу с висящими по бокам жилами, нервами, кусочками мяса, торчащими косточками. Это отверстие шло как-то зигзагами, но ясно было, что общее направление у всех зигзагов одно. Присохшую повязку было отдирать и трудно и жутко,— перекиси у нас почти совсем нет, и потому для отмачивания употребляем одну борную, а известно, как слабо она действует. Рука ослабла, мясо сделалось дряблым, рыхлым, чувствительным; малейшее движение вызывало, повидимому, адскую боль. Раненый — казак, и потому о терпении не приходится говорить: скорее лошадь заплачет, чем застонет казак, а тут, повидимому, грань страданья и выносливости была уже далеко перейдена. Слой за слоем кое-как отделялась кровавая марля; с трепетом и замиранием оторвал я последний слой, и невольный вздох облегченья вылетел из груди. Рука дрожала мелкой дробью. Она билась по частям, и там, где билась, выступали грозно и выпукло синеватые вены. Она дрожала по частям, мелко, часто, торопливо и в то же время колыхалась и как-то вытягивалась конвульсивно, вся сразу; ее вело во все стороны, гнуло, тянуло, вывертывало и кружило. Туда, в глубокую, словно бездонную яму еще живого мяса, приходилось лазить пинцетами и зондами, туда вводили вездесущую марлю, мазали иодом, ковыряли, терли, вытаскивали, водили,— словом, там, в глубине, совершалась работа, как на суше. Крепко стиснул казак свои здоровые, белые зубы. Только и слышался скрежет, стук подаваемых инструментов, отдельные приказания да редкий крик или вздох, собственно и не вздох, а какой-то полушепот-полукрик внезапно испуганного человека. Тяжело, глубоко вздыхал казак, молчал, крепился. А когда кончили бинтовать, спросил: „Возьмут руку-то али нет?“ — „Нет“.— „Ну, а нет — и слава богу“.

Тем все и кончилось. Вечером пришлось перевязать еще одного с развороченной щекой, перебитыми челюстями и носом. Беду наделала все та же разрывная пуля. Яма была непостижимой глубины. Подробности те же: отдельные кусочки, косточки и проч. Изо всех поступивших за последние два дня раненых — 25—30% с ранениями разрывными пулями. Но и наши

солдаты в долгу не остаются: они сшибают кончик, обтачивают,— и таким образом приготовленная пуля работает, как разрывная.

ПО СТЫРИ

Пришлось мне проехать через ближние деревни, недавно служившие позициями то нам, то неприятелю: Заболотное, Полонное, Цмини, станция Чарторийск, Медвежье. Особенно безотрадную картину представляют Цмини и Медвежье. Половина Цмини сожжена, а другая половина разорена, разграблена, запустована. Окна и двери настежь, на полу — сор и хлам, на дворах — переломанные принадлежности хозяйства. Как тени, бродят жители между головешками, отыскивая старое добро; стоят, привалившись к обгорелым деревьям, и чешут затылки; сидят на камнях и грустно посматривают на худые свои лапоточки. Станция Чарторийск сожжена, и лишь правильными четырехугольниками лежат обгорелые, черные бревна. У самого Полонного взорван мост через Стырь: железный большой мост, стоивший около 2 миллионов. Теперь там положили наскоро новый, деревянный, но железнодорожного сообщения нет. Мост как-то хрястул в нескольких местах и подался вниз; верх опустился в ту именно плоскость, в которой прежде лежала дорога, и потому взрыв не достиг вполне своей цели, так как по верху пехота может двигаться довольно свободно, особенно при кое-каких облегчениях и небольшой работе по настилке. Речонка дрянная, неглубокая и неширокая в этом месте, так что удивляешься даже, зачем такую махину и строить-то надо было. Хотя здесь надо считаться со всеми осложнениями здешних разливов.

По всему пути окопы. За деревней Заболотье, на бугре, идет их целая долгая линия, откуда всего несколько дней наши выбили неприятеля.

26 сентября

Наших тесят. Медвежье, станция Чарторийск, Цмини — все это в руках неприятеля. Всего два-три дня назад проезжал я по этим местам. Думалось, что все это вернулось снова, и

предположение это подтверждали беженцы, тянувшиеся на свои пепелища. Надо отдать справедливость этим несчастным: они не только не вносят паники, наоборот, уходят от своих халуп лишь в самый последний момент, когда по деревне начинается жаркая пальба, и возвращаются туда, лишь только прекратится обстрел. Все время толкутся они по полям, помогают солдатам в работах, идут даже в окопы — таскать доски, бревна, носить воду, рыть землю...

Словом, паники среди них и следа нет. Об'ясняется это, я думаю, огромной любовью к своим белым халупам, покидая которые они словно все счастье оставляют позади. Нас теснят, теснят немилосердно. За эти два дня неприятель продвинулся на 20 верст. Полонное еще в наших руках, но по ту сторону реки, по левому берегу Стыри, уж неприятельские окопы. Переправы нет. Мост — ни наш, ни их. Козлиничи горят, подожженные нашими снарядами. Я только что приехал из Заболотья. Там стоит наша артиллерия.

В Заболотье уже падают неприятельские снаряды. Два из них разорвались всего в 80—100 шагах от меня. Сразу охватила какая-то жуть. Кругом визжит, ухает, хлопает. Наша артиллерия палит по неприятельским окопам, что за Стырью, в сторону Полонного. Гул стоит невообразимый. То-и-дело появляется то здесь, то там белый дымок. Но в деревне удивительно спокойно; так и видно, что притерпелись, пригляделись люди ко всему. Солдаты ходят с хлебом, картошкой, к колодцу за водой; бегают с бадьями, чинят рубахи, сидят на траве. Бабы или стоят у палисадников, или толкутся около халуп — кто с чем. Спокойно, обыденно, как будто ничего и не происходит необыкновенного. А между тем каждую минуту, каждое мгновение висит над головой смерть. Привыкли, освоились. Сегодня только полковой врач говорил, что утомление перешло в напряженную тревогу, нервность, попросту, боязнь. Полковые лазареты выставляются на самый перед, тогда как штаб полка за ними в 3—4 верстах. Из лазарета создают какой-то заслон. Нервность настолько сильна, что при разрыве снаряда можно ждать криков, истерики, паники — всего, что вам угодно!.. И это неправда. То спокойствие, которое приходилось наблюдать в окопах или местности, находящейся в линии огня,— это спо-

койствие удивляет. Люди не думают о смерти и опасности. Выполняют свое дело, как неизбежность, и стараются лишь возможно быстрее и ловче выполнить его, невзирая ни на препятствия, ни на возможные беды. Два дня назад здесь, в Полицах, высадилась в течение 2—3 дней полностью 2-я стрелковая дивизия. И вот о ней ни слуху ни духу. Наши старые части, сравнительно небольшие, продолжают свои демонстрации, переходят, уходя за Стырь, кружатся в одном месте, вызывая неприятеля на усиление и явно удерживая неприятеля, в одном месте. Я так и думаю: вся эта стрелковая дивизия делает теперь какой-нибудь замысловатый обход и скоро ударит неприятелю в тыл. А неприятеля здесь имеется полдивизии немцев и целая дивизия австрийцев. Кроме того, имеются польские легионеры — господа, купленные по 25 рублей за штуку в завоеванных губерниях — Люблинской, Варшавской... Сегодня перебрались через Стырь 25 неприятельских разведчиков, переодетых в крестьянскую одежду. Поймали только одного, остальные успели куда-то скрыться. Наши ряды настолько сильно поредели, что 77-я дивизия насчитывает в своем составе всего 3½ тысячи человек, а за год войны через нее прошло 72 тысячи. Потери исчисляются, таким образом, в 250% номинальной цифры. Ужасно.

К выражениям военного времени: „врет, как очевидец“ и „врет, как раненый“, следует еще прибавить: „врет, как корреспондент“. У меня есть пример такого враля, прямо-таки захлебывающегося во всякого рода цифрах, соображениях и выводах На моих глазах офицеры подбирали ему узду настолько круто, что становилось даже неловко за то, что присутствуешь в качестве слушателя. О какой-нибудь части он рассказывает целую историю, скрепляет цифрами и, наконец, об'является, что видел, присутствовал сам. Офицер случайно оказывается именно из той самой части, о которой была речь. Дальше следует скорбная, смешная и позорная картина сногсшибания. Так-то уж, право, неловко, ат. корреспонденты!

Сейчас бой идет всего в 4 верстах, а здесь все та же безмятежная картина: солдаты сидят у костров, бродят вокруг лошадей, сваливают и наваливают мешки с мукой, строгают,

пилят бревна, крутятся около вагонов. Снаряды ухают и рвутся совсем недалеко. Бухает и отдает в окна. Стены содрогаются. Лошади прядут ушами и при каждом вздохе тяжелого снаряда пятятся боком. Крестьянки в цветных костюмах бегают со своими неизменными котелками...

По всей линии Полицы — Сарны нарыты окопы и блиндажи. Окоп — обыкновенная канава, над которой во всю длину тянется бугор из выброшенной земли. В этом бугре наделаны отверстия (амбразуры) для стрельбы, но не всегда. Например, здесь я видел не мало окопов без амбразур, стреляют прямо по верху бугра. Эту канаву делят поперечными перегородками, предохраняющими от стрельбы сбоку. Блиндажи — те же окопы, только вместо бугра обыкновенно имеется деревянный или дерновый заслон, и сверху прикрываются они деревянной или дерновой крышей. Солдаты сидят там долгие дни, недели, месяцы, и вся война сводится лишь к выслеживанию отдельных высунувшихся или перебегающих противников. Это в случае равных и по существу незначительных сил. При обозначившемся перевесе обыкновенно затевается какая-либо операция — обход, атака... Атаку, правда, устраивают по вдохновению и малые части против больших,— от скуки, от переутомления. „Все равно помирать-то — тут ли сгнить в окопе, аль на пулю нарваться".

И такие атаки, вызванные не то отчаянием, не то безысходностью, кончаются странно, но в то же время и естественно: малая часть дерется беззаветно и колотит большую. Таким или приблизительно таким состоянием безвыходности об'ясняется и сарыкамышская история, когда одна рота привела в плен штаб одной из турецких дивизий. Так недавно и здесь полковой фельдшер одного из полков несчастной 77-й дивизии совместно с подпрапорщиком того же полка захватил в плен до 30 человек австрийцев, разместившихся спокойно в халупах занятой ими деревни. Положение было такое, что или погибай уходя, или попытайся спастись нахальством, безумной смелостью и решительностью. Они выбрали последнее: ворвались с каким-то диким криком в халупу и обезоружили неприятеля. Потом в другую, третью. Успех был полный. Подпрапорщику дали георгия, а фельдшеру — шиш.

ИГНАТИЙ КОЗЛОВ

Калужской губернии крестьянин,
Игнатий Семеныч Козлов,
Под самое сердце был ранен
Шрапнельным осколком врагов.

Без чувств, обливаясь кровью,
Он долго на поле лежал...
И злой ураган к изголовью
Глубокие ямы копал.

Очнулся он темною ночью:
Звездное небо во мгле,
Как мать над поруганной дочью,
Склонилося нежно к земле.

И тихо, беззвучно рыдая,
Рукою он рану зажал,
И, слабые силы сбирая,
Напрасно на помощь он звал.

Свидетели жаркого боя —
Темнели деревья вдали,
И в страшной долине покоя,
Казалося, смерть стерегла.

Минута идет за минутой,
Как гордый палач, не спеша...
Как больно в груди изогнутой,
Как тяжко томится душа...

Наутро его подобрали
И к нам умирать принесли...
Товарищи молча стояли
И молча обратно ушли...

Недолго Игнатий несчастный
Родную семью вспоминал,—
Уж взор его, кроткий и ясный,
Как звезды к утру, потухал.

Все реже и реже дыханье,
И взор все мутней и мутней...
Последний толчок, содроганье
И хруст, еле слышный, костей.

27 сентября

„ПАЛЬЧИКИ"

На ряду с геройством, беззаветной удалью и прямо изумительным терпением видишь примеры — и не только примеры, а целые явления — трусости, лжи, притворства и нахального лицемерия. Два дня назад пришел молодой солдат лет 20. По лицу было видно, что на душе у него нечисто — такие лица бывают у трусливых детей, сваливших вину на другого и чувствующих, как раскрывается правда и обнаруживается истинный виновник. Притворное изумление в глазах, растерянность, очевидная боязнь,— все перемешалось и отразилось на лице гнусною гримасой. В обыкновенное время лицо его было, вероятно, даже симпатично, во всяком случае, сносно,— теперь оно было обезображено притворством и ложью. „Что у тебя?" Молчит. „Что болит? Ранен?" Молчит. „Ребята, что он — больной?" — „Никак нет, контуженный." „Ты контужен?"

Какая-то недоверчивость и робость засуетилась в глазах. Он замотал головой в знак согласия и тотчас, не дожидаясь вопроса, начал жестами об'яснять, как над головой у него разорвался огромный снаряд, как он упал и пр. и пр. Через наши руки прошло не мало контуженных, и мы приблизительно знаем в общих чертах их психологию, т. е. психологию отношения к своему состоянию и об'яснение этого состояния. Если контуженный лишился речи, он при разговоре страшно суетится, мычит, издает страшные звуки и вообще пополняет свою мимическую речь речью звуковою, не словесною. Этот словно воды в рот набрал — ни звука, ни шопота. Видно было, что

он сознательно сжал так крепко губы, следил упорно за каждым движением, много ночей обдумывал свой план и путем подготовки, а может, и тренировки, выработал в себе некоторую способность не растериваться под окриком и перед всякой неожиданностью настолько, чтобы произносить слова.

И вот, зажав крепко губы, он мотал головой, жестикулировал руками и не проявлял ни малейшей попытки произнести какой-либо звук, наоборот: всячески следил за собою с этой стороны. Делать нечего — отправили обратно в полк. Через два дня он явился снова. И настолько он оказался на этот раз тупым и близоруким, что только удивляться приходится: он надумал заявить себя и глухим, предположив, повидимому, что прошлый раз отвечал нам не на все вопросы, а на жесты. „Что опять пришел?“ Молчит. Ни на один вопрос он уже не отвечал, а разводил только руками над головой и об'яснял картину разрыва. И так было противно, так было стыдно смотреть на этого притворяющегося лицемера, что хотелось плюнуть ему прямо в лицо и прогнать в шею с позиций, где так много истинного, непереносимого страдания, где изо дня в день видишь примеры изумительного терпения и молчаливости в минуты самой адской муки.

Появилась масса „пальчиков“.

„Пальчиками“ здесь, на позициях, зовут раненных в палец, доверие к которым падает день за днем. И действительно, странно: вчера у нас из 100—110 раненых было человек 65—70 „пальчиков“. Было из них, может быть, 15—20 действительно раненых, остальные — жулье. Было видно по лицам, насколько дрожали они за свои ответы при каждом внезапном вопросе. Многие путаются: то в атаку шли, его ранило; то в окопе лежал, то осколком ударило. Получается путаное, неправдоподобное об'яснение. „Пальчики“ — в большинстве народ страшно плаксивый, стонущий, жалующийся на невыносимые мучения. И это опять говорит не в их пользу. Русский солдат терпелив до конца и стонет или кричит лишь тогда, когда нет больше силы терпеть, когда стон вырывается почти невольно, как отзвук, как необходимый, облегчающий рефлекс. И, видя это колоссальное терпение при зияющих, ужасных ранах, невольно удивляешься: почему это какой-нибудь вот Иван Фролов так

корчится при слабой сравнительно ранке куда-нибудь в палец или в мякоть локтя? Можно предположить, конечно, что эти сравнительно здоровые полностью чувствуют свою боль, а те, так сказать, наполовину или того меньше, ввиду того что у них как бы со временем отшибло чувствительность, что атрофировалось чувство боли, что притерпелись, наконец. Но здесь вероятнее должно быть другое предположение, как раз обратное первому: они, тяжко раненые и больные, изощрялись, так сказать, в чувствительности; у них болит даже там, где не должно болеть; они изнервничались настолько, что не должны дать прикоснуться к живому, здоровому месту... Но этого нет — тяжелые молчат, а „пальчики" заливаются благим матом. Они, эти „пальчики", изобрели приемы, благодаря которым не заметно их самострельство. Прежде попадались они массами, и многие уж угодили на виселицу. Дело в том, что при самострельстве нельзя уберечься от ожога, и этот ожог выдавал их с головой. Теперь они обертывают руку мокрой тряпкой, оставляют ход и в этот ход палят; или проделывают дырку в жестяной коробке, приставляют ее к руке и сквозь дырку направляют дуло; бывает, и выставляют руку и машут ею над окопом, но тут есть риск пробить кость. Способов много, и узнавать — чем дальше, тем труднее. Для нас, подающих помощь телу, это явление особенно прискорбно тем, что отнимает значительную долю сочувствия к легко раненому, порождает невольное сомнение и помимо воли принуждает относиться подозрительно ко всякому „пальчику". Конечно, и виду не покажешь, что сомневаешься,— бог его знает, как его ранило, а оскорбить ведь не долго. Но в то же время кружится неотвязный вопрос: „А чорт его знает, может, и врет?!" И когда смотришь на притворные лица, невольно падает энергия в работе, падает живой под'ем.

„Пальчиков" особенно много в „тихую погоду", когда нет боев. В эти дни (5—6—7—8) через летучку проходило в среднем 600 человек в сутки, в один день прошло более 1.000 человек. И странное дело: 70—80% раненных не в кисть. Правда, здесь есть и оправдание: были массовые атаки, шли под самые пулеметы прямо грудью; наши продвинулись, а следовательно, и всех своих тяжко раненых подобрали к себе.

28 сентября

КАРТИНКИ

— Полегче, господин фершал.
— Ладно, брат.
— Ой-ой-ой!..
— Да что ты кричишь? Я еще и не дотронулся.
— Больно очинь.
— Чего больно?
— Больно.

Руки дрожат, он все время косится на рану и ждет каждую секунду чего-то страшного, нежданного. До тела нельзя дотронуться,— ему чудится, что отнимают ногу, режут, ковыряются в ней. Он даже меньше кричит, когда боль должна быть сильнее: тогда он не видит движения рук, только чувствует непрестанное, непрерывное их шарханье по телу и как будто свыкается с этой близостью. Надо, не отрываясь от раны, спокойными и мягкими движениями заверить его, что мучений нет и не будет, что сам ты прилагаешь все силы, чтобы умалить боль,— важно внушить к себе доверие. Тогда он покорно будет повертываться по твоему желанию, убежденный, что все это идет лишь ему на пользу, потому что недостаток нежности и осторожности в обращении часто настраивает солдата таким образом, что он все ваши просьбы — перевернуться, подвинуться, подняться и проч.— считает как пустую, жестокую вашу прихоть. Успокоение это не должно переходить границы — есть тут какая-то необ'яснимая на словах граница в успокоениях, заверениях и об'яснениях на задаваемые вопросы. Прежде всего не следует много говорить, а то, что говоришь,— произноси твердо, уверенно, смело, чтобы по одной интонации голоса больной почувствовал в тебе силу, почувствовал доверие. Этот кисель, который размазывают женщины-врачи или сестры, немало вредит делу. Сподручнее им было бы во время перевязок накидывать на рот особого рода портянку, прикрывающую словоизвержение. Одна женщина-врач услыхала простую безыскусственную речь студента с раненым во время довольно тяжелой перевязки. Она заинтересовалась тем, что больной почти все время молчал, не стонал и охотно отвечал

на простые вопросы „фершала“. После перевязки она всячески хвалила студента за эту способность, и надо же было случиться такому греху, что с той самой минуты ей запала в голову мысль попытаться самой превратиться в духовного врача. Надо сказать, что человек она была довольно пустой и легкомысленный. Мне приходилось неоднократно видеть ее за работой: трубочист ей был бы подходящим ассистентом. „Ну, не стони, не стони... Чего ты стонешь? Ну, не стони, голубчик, не стони... Ну, все кончено, все... я уж перевязываю... Видишь: я перевязываю“... И эта пустая, бесстрастная, механическая болтовня раздражала солдата... „А откуда ты родом?“ Солдат хотел было ответить, но она уже задала новый вопрос: „А какой ты части?..“ Тот нехотя, через вздохи и стоны сказал. „А-а...— протянула она.— 16-го стрелкового. Так-так, ну, а есть ли у тебя жена, дети есть ли?..“ И она болтала возмутительно пошло и долго, болтала чорт знает зачем; не дожидаясь ответов, задавала новые вопросы, поддакивала и такала ему, как ребенку. Противно и стыдно было слушать эту холодную, тупую болтовню, раздражавшую и злившую солдата.

Ни в коем случае не следует обманывать того раненого, который задает вопрос о предстоящих мучениях. Например, ставится прямо вопрос: „Сейчас будете перевязывать али ковырять станете?“ И, кажется, уж ясно, что хотя бы в главном обманывать не следует. Так нет. Эта вот женщина-врач успокоила по-своему: „Перевязываю, перевязываю уж, голубчик, ничего мы тебе делать не будем“. Он спроста поверил и зато какой же поднял крик, когда почувствовал холодное прикосновение скальпеля. Несомненно, раз поставлен вопрос — следовало на него ответить утвердительно, но в такой форме, чтобы ужасного ничего не представлялось. И недоверие настолько сильно укоренилось в нем, что когда действительно уж забинтовали руку, он все подозрительно косился и ждал нового, неожиданного нападения.

„Помалу, помалу отдирайте... Ой-ой!.. Полегши нельзя ли?.. Ради бога полегши!..“ — „Так уж и так, брат, тихо... Ну, погоди, давай вот повернем руку таким образом“.

Руку перевернули ладонью кверху. Рукав рубахи валялся на полу — весь грязный, окровавленный. И кровь была какая-то тухлая, порченая — прилипла черными, скользкими кусками и размазалась по полу... Слой за слоем падали пласты марли... Чем ближе к телу, тем кровавее они становились, но вместе с тем и кровь была чем дальше, тем чище. Последний слой присох по всей поверхности. А рана была выше локтя, во всю мякоть под плечом. Ножницы не проходили под присохшую кору, отдирать было крайне трудно. Смоченная борной, она кое-как отошла, и открылась зияющая темная дыра, в которой то здесь, то там сочилась капельками алая кровь. Черные, запекшиеся куски ее приклеились по бокам и образовали дрожащие живые бугорки. Торчали косточки, высовывались жилы...

„Ой, как больно!.. Господи, господи... И за что только это испытание?.. Ой, полегши!.. Ой, ой, мама... мама... мама...“ Как-то бессознательно вырывается у многих в тяжелые минуты это дорогое „мама... мама“, таким же образом, как „господи, господи“. Сейчас же началась спешная работа: вытерли стерильной марлей, омыли вокруг иодбензином, прижгли иодом...

Он все время тяжело вздыхал, и, когда снимали куски запекшейся крови, отрывали их от живого мяса, когда выдергивали застрявшие, запутавшиеся, сломанные косточки, он бессменно призывал то господа, то мать...

Было сильное кровотечение из ладони. Долго, неудачно ковырялся врач. Больной измучился, изнервничался.

„Будет, будет, родные... Бросьте... Ой... ой... ой! Да, господи, ты, боже мой... Да когда же все это кончится?..“ Он захлипал как-то странно, без единой слезинки.— „Ну, что, брат!.. Сиди, ради бога, поспокойнее... Ну, не для себя же ведь мы это делаем — все тебе же помощь хотим дать... Ну, потерпи. Что же делать, коли так случилось? А ты посиди поспокойнее — тогда мы и скорее кончим. Ну, потерпи немножко, мы живо-живо...“ — „Потерпи...— протянул он сквозь всхлипывания...— Натерпелся уж я, слава богу,— пора бы и отдохнуть... Ой... ой... Ой, полегше, родимый ой, больно...“

„А ты зажми рот, постарайся не кричать — вот тебе и легче будет, а на рану-то не смотри, ну, отвернись-ка в другую сторону... Вот так"...— „Ох, господи, господи... Ой! Да бросьте вы все!.." — „Да что ты, брат, как ребенок. Ну, бросим, хочешь — бросим, только знай, что через десять минут ты помрешь"... — „Ну, помру... Легше помереть, чем терпеть такую муку... Да разве это можно?.. Да ой же!!! Я ударю!" — вдруг крикнул он неожиданно.

И от этого крайнего предела раздражения сделалось как-то жутко. Если уж хватает у солдата смелости сказать такую невозможную вещь врачу, да ведь военному врачу, во всей его офицерской форме — он держал и зажимал вену — то это уж граница беспамятства, безрассудства, терпения.

И на эту тяжелую выходку врач не нашелся больше ничего сказать, как „а мы тебя ударим, и больно ударим".

Повидимому, он обиделся не шутя и только в нашем присутствии сдержал себя. Да так это и было, потому что после он специально отыскивал по вагонам этого раненого и, когда отыскал, дал ему здоровую словесную головомойку. На этот приступ гневной нетерпеливости надо было ответить удвоенной, утроенной нежностью, надо было сосредоточить всю свою осторожность, чтобы оплошным словом как-нибудь не огорчить и не раздражить его вконец, а до конца ведь был уж один крошечный шаг, до того страшного конца, когда солдат мог заметаться, закидаться в стороны, вырвать незавязанную руку, из которой ключом била кровь — и таким образом навредить себе бог знает как. Еще, слава богу, что, кроме этой тупицы, нашлись тут другие, более чуткие, сумевшие тотчас же понять надвигавшуюся грозу, сумевшие быстро и умело заговорить и успокоить разгоревшегося солдата. А тупица-врач оправдал себя до конца. Через 2—3 минуты по какому-то пустячному поводу он вдруг и совершенно для всех неожиданно рассмеялся довольно громко. Никто ему, конечно, не ответил. Всех передернуло. У нас в работе вообще все довольно серьезны и сосредоточены, что удивительно облегчает нам работу, а солдату — страданье. Ужасным, отвратительным диссонансом прозвучал смех врача.

„Вам смешки, а мне вот тут...". Солдатик не докончил. Мы все ждали, конечно, что он что-то скажет, да и неестественно было бы, если б он ничего не сказал, будучи в таком напряженном состоянии. И вышло ведь так, что смех как будто был направлен против солдата — во всяком случае сам солдат уж непременно понял его таким образом.

После долгих мучений удалось остановить хлеставшую кровь. Перевязали, увели. А врач отыскал и распек его на все четыре стороны за неповиновение, неуважение и нарушение военной дисциплины.

Ему было лет 35. Красивое, доброе лицо в русой бороде и волосах. На бороде каждый волосок крутился сам по себе, а волосы упали на лоб, перепутались, пристали к потному телу и торчали в разные стороны заостренными косичками. На лбу все время был холодный пот, а тело дрожало частой и мелкой дробью. Руки были сложены на груди. И на лице его теперь было то же сосредоточенное и глубокое выражение, которое, верно, было каждый раз во время причастья. Голубые глаза были полны страданием и скорбью. Ни робости, ни мольбы, ни жалобы в них не было — была лишь скорбь и усталость от мученья. Бледное, милое лицо было спокойно — оно передергивалось лишь тогда, когда страданье становилось нестерпимым. Пуля прошла через живот, вышла под лопатку. Рана тяжелая, пожалуй, безнадежная. Тяжело и хрипло вылетали из груди звуки; хотелось ему отхаркнуть — и не мог: от малейшего сотрясения появлялись страшные боли. И, когда ему делали перевязку, голубые глаза как-то странно заблестели; видно было, что в голове неотвязная мысль, что вот-вот все кончится.

— Получше тебе?

— Так точно, получше...

— Дышать легче теперь?

— Полегче, так точно...

А какое тут полегче да получше — из груди хрипело и бурлило, словно какое-то чудовище рвалось наружу и злилось, что его не пускают. Дышать было тяжело, двинуться невоз-

можно. А добрые голубые глаза смотрели так ласково и покорно, что хотелось расплакаться над его молчаливым страданием.

У ЛЕТУЧКИ

Когда отъезжаешь отсюда версты за 4, видишь, как рвутся снаряды, чувствуешь, что попал уже в линию обстрела. Там уже своя обстановка, своя атмосфера. Чувствуется напряжение, постоянная и подозрительная осторожность. В 100—200 шагах рвутся снаряды, и поневоле делается жутко. Как-то еще выходит так счастливо — то на гумне, то за деревней рвутся. За эти дни еще не было ни одного несчастного случая. И потому с внешней стороны жизнь обыденна, а присмотришься — во всем и всегда оглядка и оглядка. Совсем другое дело здесь, подавшись 3—4 версты назад. Посмотрим хотя бы нашу жизнь. Крошечная столовая вечером положительно хороша и привлекательна. Цветной самодельный абажур невольно останавливает своей простотой и оригинальностью; по углам цветы; у дубового шкафа стоит плетеный стул. Это все дар беженцев, а может, и реквизиция. На шкафу всегда стоят 2—3 букета цветов, собранных здесь по запустелым именьям. Самовар шумит приветливо и мелодично; кругом все здоровые и молодые веселые люди. Здесь военные отдыхают от заевшей скуки и безделья, здесь они сообщают нам последние новости дня. За день переслушаешь такую массу сообщений, что к вечеру, обыкновенно, ничего не помнишь. Под окнами день и ночь горят костры. Тут все время кружатся солдаты, беженцы и беженки, малые ребятишки. Дальше видны привязанные лошади, повозки, сваленные мешки зерна... Союз городов устроил (в 6 часов!) баню, да еще какую баню! Давно я не бывал в такой простой, русской бане. Дом разделен на две части, и в этой второй — печь, баки, даже полки, чтоб париться было можно. Чисто, хорошо, жарко. Мылся я да все похваливал. Вместе мылись еще казачий офицер да генерал Володченко, что командует 16-й кавалерийской дивизией,— кажется, из симпатичных, не знаю только, из деловых ли. Моются тут и солдаты. Вчера, например, за одну ночь прошло до 500 человек. А после вшей-то — какая же это радость!

29 сентября

ПО ЛЕСУ

С офицерами отправился я в Чублю. От станции она всего 6—7 верст. Они ехали в бричке, я — верхом. Чудный попался конь. Еще в начале войны этот конь был отобран у пленного австрийского кавалериста, и с той поры не меняет хозяина — опытного, молодцеватого наездника „пана ротмистра". Горячий и умный, чуткий и щепетильный — он обращает на себя внимание красивой походкой и здоровой, красиво играющей мускулатурой. Приехали в Чублю. Офицеры поместились в польской халупе: комната в 3—4 кв. сажени, довольно чистая, теплая, слегка меблированная. Мне мало пришлось у них побыть,— засветло хотелось добраться обратно, дорогу запомнил слабо, а начинало уже заметно темнеть. Поехал. И чорт их знает, этих жителей,— ни один не мог путем растолковать, где дорога. Поехал наугад. Проехал поле и вспомнил, что такого поля, кажется, не встречалось; ткнулся в заставу — и заставы не было. Ну, пропадай моя телега! Мелкий кустарник уже перешел в сосновый лес, дорога серела чуть заметно, а вдаль посмотреть — и совсем ничего не видать. Умный конь чутьем брал дорогу: обходил канавы, отдельные кусты, ямы — и все-таки снова и снова выводил на дорогу. Выехал на поляну; недалеко стояла дубравка, а за ней что-то белело. Ну, думаю, деревушка: доеду — спрошу. Только вот беда: кто в ней, свои ли? А ну как австрийцы? Здесь позиции наши и неприятельские сходятся довольно близко, а я уж ускакал верст 8—10 и совершенно не знал, куда скакал, может быть, как раз в их сторону. Сдержал коня, тихо миновал дубравку. Оказалось болото — оно и белело с горы. Дорога спускалась прямо в воду — значит, есть проезд. Нехотя выбрался конь на другую сторону. Где-то послышались голоса. Стал прислушиваться — понять не могу, свои или нет. Решил удирать обратно, что-то не было веры. Повернул вспять и ударился наутек. Поле уже миновал, а в конце поля дорога расходилась вправо и влево. Как быть? Наугад направил влево и, миновав лес, под'ехал к целой горе наломанных сучьев. Видно было, что кто-то их складывал, не сами навалились. Чорт его знает — сомнение брало все больше и больше. Чудилось, что

вот-вот из-за куста вынырнет ихний раз'езд, и тогда... Но что будет тогда? Об этом, признаться, я думал очень мало. Почему-то я ждал, что первый окрик будет: „Вер да?“ И я им отвечу на всем скаку: „Зейн оф-фицир“. Непременно на всем скаку и постараюсь этак властно, сдержанно крикнуть и с акцентом, крикнуть властно, чтобы предотвратить всяческие преследования. Ну, а когда от'еду немного — тут уж чорта с два, лови меня на таком-то скакуне. Положим, представлялась и другая комбинация: что вот сразу, безо всяких „вер да?“ как начнут, как начнут палить из кустов,— вот тебе и дело квас. Ну, а как они отличат в такой-то тьме: свой аль нет? Пожалуй, отличат: фуражка выдаст; видно, что форма не та. И потом, куда же я поскачу — ведь прямо в их лагерь, не так ли? Если бы повернуть, но ведь не успеешь никак, а прямо лететь — это уж, как свят бог, к ним в лагерь угодишь. А тьма-то, тьма-то какая! И как нарочно — зашумели подозрительно деревья, зашептались, заговорили. За каждым кустом заблестели яркие и злые глаза. Я не испугался, а даже был удивительно спокоен, потому что инстинктом предчувствовал хороший конец, но все ж, согласитесь, недоверие и беспомощность — дурные друзья. А я был беспомощен в этой тьме и не доверял ни единому сучку. Послышались снова голоса, а когда выехал из лесу — в кустах, за сучковыми заслонами пылали костры. Чьи? Наши или нет? И рад, что наткнулся на людей, и в то же время рискованно под'езжать. Свет пробивался сквозь заслон и клал по полю долгие белые полосы. Тихо, чуть дыша, выехал я к этим полосам. До костров было всего 30—40 шагов. Человеческие голоса слышались явственно, но слов разобрать я не мог. Одно бы только слово услыхать, всего одно: тогда было бы все кончено — или под'ехать, или удирать во все лопатки. Минута была поистине знаменательная. Если бы от костров присмотреться на долгие, светлые полосы,— думаю, можно было бы заметить контур всадника. И неужели они так беспечны, что даже не выставили передовой стражи? Нет, не может быть, это должно быть свои. А ну да как какой-нибудь чорт уж следит за мною из-за куста и злорадно смеется, наслаждается сознанием безвыходности намеченной жертвы? Может быть, их даже сидит два, три, целая куча... Видят, что всадник запутался и беспомощен, видят, что не

уйдет никуда и дают ему отсрочку. Подождут еще 2—3 минуты, и когда будет надо: „бац!“ „бац“— и всадник падает. Картины мелькали в голове с поразительной быстротой: то убит, то ранен, то в плен попал... Ведут, смеются, радуются, что поймали дикого медведя в офицерской форме. А все-таки странно, в кустах как будто что-то шевелится... Да, шевелится несомненно. И в то же время у костров стало как будто тише... Ну, теперь картина ясна: из лесу заметили, тайно сообщили начальнику у костра, что появились, дескать, русские, что один уж совсем близко — остановился вот тут у костров и выслеживает. Да, да, конечно — потому и у костров стало тише: насторожились, приготовляются, может быть, отдана даже тихая и тайная команда о прицеле... Чорт их знает, что там замышляется в этой ужасной тишине! И вообще, что может быть ужаснее на войне гробового молчания, вдруг и неожиданно сменившего всеобщее оживление? Состояние было из рук вон плохо — все говорило за то, что дело мое, положение мое не из отрадных. И вот я тихо-тихо повернул коня, а он, этот умный конь, словно понимал всю серьезность положения: ступал тихо, крадучись, не задевая сучьев, не ступая на кучки хвороста и сухих листьев. Тихо в'ехал я снова в лес и взял прямо от костров; дороги уже не было видно, но там, вдали, деревья как-то раздавались, и можно было думать, что дорога именно там. Решил сначала ехать тихо, тихо и потом внезапно пуститься в карьер. Но только что от'ехал несколько шагов, как навстречу мне вынырнули, словно из земли, два темных человеческих контура. Они были до меня еще шагов за 25—30. Поворотить? Но куда, куда, чорт возьми? И вдруг до меня долетела простая хохлацкая речь. Я даже не понял слов — я узнал ее по певучести, по перекатам и связности звуков... Эти звуки летели один за другим, не отставая, не прерываясь: когда кончался один — другой как будто уже звучал в его конце.

„Стой“— крикнул я своему вороному — и можно было подумать, что я крикнул им. Да они так и поняли — один даже с горячки шапку снял. Оказалось, что тут у костров беженцы, что притихли они как-то вдруг, потому что сели ужинать, а кричали перед этим потому, что ужин готовился,— и вот все в этом роде. До станции было не особенно далеко,— оказалось, что

ехал я дугой и лишку дал, как и сам предполагал, 8—10 верст. Мне указали дорогу, и через полчаса я уже был дома.

29 сентября

ПАНИКА

На 29-е я ночевал в Сарнах, во второй летучке. Торопиться было некуда и потому проснулся около девяти. Только что натянул брюки и сапоги, слышу: „бац, бац!!!“ Полетели стекла, что-то затрещало и грохнулось... Я не успел еще опомниться и сообразить, в чем дело, как другая бомба разорвалась почти под окном, потому что в соседнем отделении, уборной, зазвенело стекло. Ясно было, что аэроплан кружится над станцией и продолжает гнусную операцию. Чорт знает, что за ощущение было у меня в первую минуту. Мыслью прекрасно я сознавал, что все тут дело случайности, что укрыться в купе мне никак не придется, и все-таки воля к самосохранению была настолько велика и неудержима, что я схватил маленькую подушку и накинул ее на голову, а сам встал на колени и прикрытую таким образом голову положил на постель. Правда, все это совершилось в одно мгновение, как-то помимо всех моих желаний, намерений, соображений и всего прочего, это был гнусный порыв, потому что уже через несколько мгновений я откинул подушку далеко в сторону и при этом густо и энергически плюнул со злобой на свое малодушие, растерянность и все прочее. Живо накинул тужурку и выскочил из вагона. Аэроплан держался тысячи на $1\frac{1}{2}$—2 метров и теперь уже удалялся на северо-запад. Всюду бежали солдаты, бежали и кричали что-то сестры, откуда-то появились бабы в цветных сарафанах. Все это бежало бог знает куда, металось из вагона в вагон, кидалось стремительно под вагоны и так же стремительно выскакивало оттуда, удирая к лесу. Я перебежал на другую сторону поезда, где разорвались бомбы. Вагон военного поезда был разбит вдребезги. Крыша и стены — все было снесено и валялось тут же вместе со всяким хламом, выброшенным из вагона. Пол уцелел — он тоже весь был завален; кое-где пробивался огонь: от взрыва хламье загорелось, и принялись было доски, но скоро все это прикончили. Из-под досок вытащили солдата — он весь

был в крови и песке, дышал глубоко и редко. Фамилия его Бабыч. Бабыч сидел в этом злополучном вагоне и писал жене письмо. Бомба ударила в крышу и осколком Бабычу пробило череп — мозги по капельке сочились из раны, а сама рана была в песке и грязи. С Бабычем было два товарища — одного ранило, другой остался цел. Тотчас перенесли их к себе в перевязочную и сделали, что было надо; руки у него были тоже разбиты и изрезаны, правая нога пробита в ступне. Ранило трех санитаров — двух легко, одного довольно серьезно: два или три осколка попали ему в спину и бок, и теперь еще не удалось узнать, остались ли они внутри, или только царапнули и вырвали тело. Всего перевязали мы 8 человек. Оказывается, что в самом местечке Сарны один был убит, и ранено было тоже человек 6—8. В вагоне санитаров выбило все окна, осколок выбил часть стекла в уборной. И вот странное дело: я обыкновенно встаю, как только просыпаюсь; тут же почему-то задержался, минуты на 2, на 3. Встань я, как всегда, и подойди умываться за 2—3 минуты, осколок угодил бы как раз в правый висок — он пролетел именно на этом уровне и оставил след на стене. Я переждал случайно — и тем спасся, если не от смерти, то, во всяком случае, от раны. И так были нервно все настроены, что летевшего гуся или журавля — я уже не рассмотрел — приняли за новый аэроплан и ударились врассыпную. Все стояли и, растянув рты, задрав высоко головы, смотрели, как удалялся злодей-аэроплан, как постепенно замирал шум пропеллера. Но какой же всех охватил ужас, когда увидели, что он, сделав дугу, повертывает обратно к станции. Тут уже бросились буквально на всех парах. И получилась страшная картина: в теплушках сбилось по 30—40 человек, тогда как все видели, как легко и беспощадно снесло крышу у разбитой теплушки. Много народу попряталось под вагоны, держалось за колеса, как-то странно подвешивалось даже вдоль вагона снизу. Выбежали наши сестры с измученными, изумленными и напуганными лицами, тщетно стараясь выдавить на лице своем улыбку спокойствия и безразличия: глаза были навыкате и бегали как-то особенно юрко; лица были бледнее обыкновенного; было видно, как дрожали руки, а заключить уж можно, что и все тело переливалось мелкой дрожью. В результате все они по-

убегали в вагон и уже там доканчивали картину растерянности и ужаса. Теперь я уже чувствовал себя спокойнее, но не скажу, чтобы спокойно: как-то слегка лихорадило, тянуло под вагон, куда я в результате и забрался; голова протестовала и не хотела подниматься,—словом, состояние было уже той растерянности, юркой и неосмысленной трусости и тяжелого ужаса, как в первый раз. У этой пары колес, где я поместился, было, кроме меня, еще три пассажира. Обрывисто, как бы заикаясь, они спрашивали друг друга, пробьет ли она, т. е. бомба, крышу и пол. Спрашивали, один другого поочередно, как бы не слыша, что коллега уже задавал этот грустный вопрос, так и оставшийся открытым. Мы вылезали позорно, как гады, и наскоро отряхивались, как бы сметая какие-то гнусные, уличающие следы. Аэроплан сделал молчаливый тур и улетел. Так окончилась эта забава. Не приведи бог еще раз побывать в этой перетасовке. Тут как-то чувствуешь себя удивительно в опасном положении, потому что чорт его знает, где аэроплан покроет. При обстреле из орудий хоть знаешь направление, и от легкого обстрела немножко можно уберечься в глубоких окопах, да притом же если имеются еще и блиндажи. А тут, брат, дело совсем дрянь: покроет откуда и куда вздумается. Когда я был в окопах под Маюничами, пуля жалобно пропела в двух-трех аршинах — и страху не было; когда в Заболотье четыре дня назад два стакана разорвались в 100—150 шагах от меня — не было страшно, было лишь как-то торжественно жутко, а тут — чорт подери!— было страшно самым настоящим образом.

Впечатление от забавы аэроплана было сильнее, чем я думал. Ночью, засыпая, чувствовал нервную дрожь. Все слышался шум пропеллера, и каждую минуту ждал оглушительных разрывов. Заснул тревожно.

СКУКА

Скучно везде. Скучно и у огня при этой неумолкаемой канонаде, при непрестанном движении серых масс. Не скучно только — страшно сказать!— при человеческом страданьи. Тогда загораешься весь этой болью чужого человека, загораешься состраданьем и жаждой во что бы то ни стало помочь ему. А

теперь скучно. Боев нет, нет и страданья. Оно есть, но маленькое, не волнующее, не убивающее тоску по жизни. Я везу на Сарны из Рафаловки больных. Кто чем — то живот болит, то голова. Диагноз ставить некогда: больные приходят часто перед самым отходом поезда и еле-еле успевают забраться в теплушку. Вот станция Желудек. Да какая это станция — так себе, крошка: тут и начальник станции живет в теплушке, тут и жилья человеческого поблизости нет. „Слушайте, долго мы будем здесь стоять?“—„Час постоим“.—„Ждем чего-нибудь?“—„Из Сарн поезд идет. Когда будет здесь — и мы тронемся“. Ну, куда я буду девать этот час? Так скучно-скучно. Заложил руки за спину и тихо побрел возле состава. И состав какой-то скучный, только и живого, что наши теплушки с больными, а то все грязные, пустые, проплеванные вагоны. Вот этот открыт настежь. И за дверьми виден ободранный, осиротелый лес. Сучья голые, черные, колючие; по желтым, пересохшим листьям, качаясь с боку на бок, идет солдат, и листья хрустят, и хруст отдается в тишине. Как-то странно тихо. А тут вот, совсем рядом, выстроились серые колонны солдат. Подошел офицер — здоровый, коренастый, с зычным, душу раздирающим голосом. „432-я рота!“—„Она здесь, ваше благородие“—„Шагом-м-м... арш! Ась-два, ась-два... Левой... Левой... Ась-два...“

И масса заколыхалась, застучала котелками, затопала по сухой глине. А офицеру как-то не шлось спокойно. В руках был длинный прут, и он этим прутом то-и-дело ударял по земле, с каким-то упоением выкрикивая: „Ась-два, ась-два...“ Сам он не шел, а странно резво и торопливо подпрыгивал и был искренне рад каждой канавке — он ее непременно перепрыгивал, а не проходил, как делали солдаты. Все тише и тише. Вот они скрылись за опушку, и снова мертво кругом. На лугу догорают костры, валяются поломанные чайники, лежит на бревне чей-то старый, переношенный сапог. Два солдата спорят возле черномазой и худой клячонки, сколько ей лет, и спорят как-то нехотя; видно, что им нечем занять досуг. Подвели молодого солдата. Все лицо было залито кровью, и под глазами были огромные синие отеки. На него упало подрубленное дерево и пришибло по лицу. Мы его обмыли и уложили на первую свободную койку. Ну, что ж дальше? А осталось еще 40 минут.

И снова хожу я мимо пустых, грязных вагонов. А ехать несколько часов. Потянулись болота — затхлые, грязные, тоскливые...

С зеленью здесь было веселее, а теперь не на чем остановиться — все грязь, вода и туман. Издали глухо доносится орудийная пальба, и далеко-далеко приветливое эхо уносит по оголенному лесу эти умирающие раскаты.

Полицы, 30 сентября

Я сидел у себя в купе. Окно было занавешено. Вдруг раздался знакомый оглушительный треск — один, другой, и пошла работа. Я откинул занавес — солдаты и беженцы мчатся в паническом ужасе бог знает куда. Кругом трещит, лопается, и слышно, как что-то ломается, падая с грохотом на землю. Треск поднялся ужасный. Я лег на пол и всунул голову под диван. Тело дрожало, горло захватывали спазмы. Пальба и треск не прекращались. Я только после понял, что это наши казаки палили по аэроплану, а он бросил всего две бомбы. Но чувство страха было настолько сильно, что первое время я не мог отличить частую залповую и одиночную ружейную пальбу от разрыва бомбы. И упали они, оказывается, шагах в 150—200, так что и грома-то особенного не должен был я слышать, во всяком случае, такого, как вчера в Сарнах. „Господи, да скоро ли это кончится?“ Так хотелось, чтобы затихла пальба и треск, что я даже взмолился про себя. Стало стыдно. Вылез, закурил папироску и вышел из вагона. Все бежали на поле, куда упала одна из бомб. Там была высверлена ямка, кругом можно было найти осколки.

Атмосфера грозная. Целый день стоит адский грохот, по-видимому, работает тяжелая артиллерия. Снаряды рвутся где-то совсем близко. По небу подымаются целые облака серого дыма от горящих деревень. Горит где-то за Маюничами и в сторону Полонного. Как будто пальба стала слышнее, явственнее, а следовательно, и ближе. В воздухе стоит гроза. Жутко. Сердце колотится, не может успокоиться до сих пор. Представляю, как издергается душа, когда придется целые месяцы пробыть в такой перетасовке.

„Мы все теперь полунормальные,— сказал мне один офицер,— и первое поколение за нами несомненно отразит на себе

эту ненормальность". И действительно, пожив в этом ужасе несколько месяцев, изнервничаешься до края.

„Знаете, мы так отвыкли от мирной обстановки,— говорят офицеры, — что попади теперь в цирк, в театр или куда-нибудь в этом роде, где лавки были бы амфитеатром,— мы не ручаемся, что не приняли бы их за окопы и не открыли бы пальбу".

Только вчера вечером была еще такая мирная картина. Приехало пять батальонов 4-й стрелковой дивизии, и солдаты устроились вокруг костров на поляне, как раз перед нашим поездом. Была зловещая картина. Десятки костров горели по всему лугу и освещали то хмурые, то ясные и приветливые лица стрелков. Где-то жалобно пели,— это уже всегда так: хоть от одного костра, но донесется до вас унылая, тоскующая, жалобная песня солдата. Вспоминает ли он, жалуется ли — бог его знает, только слушать эту песню и тяжело и отрадно. Бродили меж костров понурые лошади и наклонялись к самому огню прямо через головы стрелков, словно грея свои холодные морды. От костра к костру — и так целый вечер, целую ночь. Я ложился поздно — часа в два. Все так же вокруг костров сидели стрелки и так же наклонялись через их головы лошадиные морды. Это было вчера, а сегодня с утра — отчаянная пальба, грохот, неумолкающий, режущий свист. То здесь, то там покажется белый дымок, — это рвется шрапнель. Голубое, чистое небо, с той вот стороны, от неприятеля, словно запачкалось темно-серой, медленно ползущей кверху тучей дыма. Жители оттуда бегут на станцию, к нам. А отсюда — отсюда бог знает куда. Они теперь кочуют, как бедуины. За день не знают, куда их наутро кинет судьба. Раскидывают в лесу шатры, ночуют у костров, лепятся, как мухи, к солдатам. И солдаты ласково, по-дружески принимают эту несчастную голь — делятся, якшаются с ними у общего котла.

ПО РУСЛУ

По руслу войны утекли миллионы людей. Армия заново меняется уже третий раз. Сколько тут народу погибло! Можно судить о потерях по следующим цифрам. 77-я пехотная дивизия за все время войны потеряла 72 тысячи солдат, и теперь она имеет в наличности всего $3\frac{1}{2}$ тысячи штыков. Да это

еще здесь пополнили, на месте, а пришла она всего при 1.170 штыках.

Через роту одного из полков прошло 1.100 человек — сообщал фельдфебель, числившийся в ней с первой мобилизации; через роту 16-го стрелкового полка 4-й дивизии прошло 1.400 человек. Сплошь и рядом попадаются полки в 500—300 человек, и не диковинка встретить роту в 40—60 человек.

Ходят определенные слухи, что снарядов масса, но они хранятся до весны, когда вольется новая $2\frac{1}{2}$-миллионная армия, которая и поведет наступление.

Здесь, на Стыри, дела обстоят прекрасно, лучше, чем можно было ожидать. В конце сентября неприятель был отогнан верст на 20, но через несколько дней нас потеснили, и позиции остались старые: у нас — Маюничи, Полонное, у них — Козличичи, Цмини, Медвежье... Теперь вдруг повелось общее наступление, и каждый день проводят сотни и сотни пленных. За эти последние 4 дня в плен взято более 7 тысяч. Еще не подтвердились слухи о том, что сегодня, 9-го, утром, часов в 6, где-то под Лунинцом взято в плен до 12 тысяч немцев. А немца забрать — не шутка, это не австриак. И все в один голос говорят — офицеры и солдаты, — что одно дело итти против австрийца, другое — против немца; тут и настроения разные, и надежды, неодинаковая храбрость, неодинаково проявляется свободная инициатива. Идешь против австрийца — знаешь, что рано или поздно собьешь его или придет сам и сдастся. Против немца идешь — знаешь, что будет рубиться до последней капли и дорого отдаст жизнь.

В плен идет к нам так же неохотно, как наши казаки к ним. А у казаков твердое убеждение, что немцы им вырезывают в плену лампасы из спины, из бедер, из рук. С этой убежденностью мне пришлось столкнуться всего лишь сегодня у костра, где мы сидели кучкой и мирно толковали про бои. Сквозь жестокую брань, пересыпая словами ненависти и неукротимого гнева, один донец уверял другого, что сам он видел этих товарищей с вырезанными полосами на спине; а того и убеждать-то не надо было: когда товарищ кончил, он сам принялся рассказывать разные страхи про изуродованных казаков.

Идейность предполагает терпеливый, сознательный, изнутри озаренный труд в любой обстановке. Здесь побег вперед; лазаретная, скромная черная работа не удовлетворяет. Мы — поэты, искатели приключений, скитальцы. Где больше восторга, и пожалуй, опасности, — туда. Если говорят — для идеи — не верьте: сознания мало.

Для помощи страдальцам — не верьте: на холерную эпидемию не помчится, потому, что там страданье будничное, некрасивое, без эффекта. Для возрожденья — не верьте: вид страданий холерных не возродит. Патриотизм — не верьте: много народу попряталось за ширмы, когда пришла нужда. Много корыстолюбцев, вначале работавших бесплатно. Зачем скрывать? Мы — поэты и шли для восторга. Притом — в ореоле. Страна замерла. Есть сознательные общественники, но их немного (для союзов как всеоб'единяющих центров). Для работы — не верьте: замысел был самоотверженный — работать до изнеможения, но пришли к безделью и на месте чем заполняли досуг? А работу при желаньи найти было можно (лазареты, пункты, обходы населения). Тыловые работники — сознательнее, крепче на корню. Впереди возможная слава, почет, ореол защитника и страдальца! Неправда, что сюда ушел цвет и соль идейной молодежи. Много светлого осталось — и сознательно. На деле робки, трусливы, беспомощны, но по безумию порой храбры: это храбрость кошки, удачно кинувшейся на морду огромному псу и выцарапавшей ему глаза. Настоящей — спокойной, твердой, сознательной — нет.

10 октября

ЗЕМЦЫ

Когда перед вами начинают защищать любимого, дорогого вам человека, начинают хвалить его, подыскивать достоинства, чернить из-за него других,— сознайтесь, что становится противно, или, по меньшей мере, неловко и стыдно за нахвальщика. Подыскивают несуществующие добродетели, односторонне и грубо оправдывают каждый шаг — и чем дальше, тем больше вы убеждаетесь, что главного, души-то, они и не знают, а потому и грубым своим толканием лишь оскорбляют в душе вашей преклонение перед этим любимым человеком.

Теперь открылось широкое поле всякого рода симпатиям и антипатиям. Все наиболее чуткие элементы общества, с одной стороны, и наиболее корыстные и дальнозоркие — с другой, примкнули к разного рода организациям и, раз вступив туда, считают уже себя чем-то вроде партийных работников и всячески стараются подчеркнуть эту связь свою с организацией. Люди, до соприкосновения с организацией не имевшие о ней ни малейшего понятия, вдруг выступают горячими защитниками несуществующих принципов и правил данной организации, создают что-то свое — уродливое и бессвязное,— толкуют, шумят и спорят, оказывая поистине медвежью услугу все переносящему патрону.

Жизнь, мало того что вышибла всех из колеи — она заставила искать всех, не имеющих нравственной головы, именно эту голову, — если не голову, то хотя бы призрак ее. Образовался состав наиболее широких организаций, в частности — земского союза. У меня перед глазами два примера уродливого толкования и проведения в жизнь принципов земства, которое прикрыло своим флагом двух случайных посетителей, молодых женщин-врачей. Работают они у позиций, где так много новых людей, так много живых, незабвенных встреч и впечатлений, так много нужды, горя и страданья, что сердце невольно ширится для заботы и любви, что руки просятся без отдыха работать, а ум — забыть, забыть все наши дрязги обыденной жизни, окунуться в чужое горе и жить лишь чувством сострадания, заботой и помощью другим. И в этой обстановке, где все держится лишь спайкой и единодушием, где тяжелое одиночество, муки случайной безработицы или непосильного труда сглаживаются товариществом, — здесь пришлось мне наблюдать эти два примера удивительной человеческой тупости, бессердечности и близорукого самодовольства.

Был тесный кружок сестер и фельдшериц, со слезами на глазах проводивший любимого врача. Новый врач, женщина, с первых же шагов заговорила о крутых, решительных мерах, о своей непреклонности, о том, что „слово мое — камень", и т. п. Представьте картину: любимого, уважаемого человека сменяет жабоподобное существо, похваляющееся своей тиранией. Вполне естественно, что создается своеобразная оппозиция, и единство

раскалывается. Все упорство врача направлено лишь к тому, чтобы разбить, рассеять эту кучку сроднившихся людей. На эту борьбу идут целые недели, и один за другим выбывают старые члены. Прискорбно смотреть на это разоренное гнездо, особенно прискорбно потому, что оно далеко уже не первое. Вообще этот вопрос о молодых женщинах-врачах, зачастую путем не покончивших с курсами, не привыкших к какому-либо руководству и вдруг облеченных широкими полномочиями „старших врачей", требует, кроме Гоголя, и Аверченко. К этому сапогу имеется пара — тоже неоперившийся женщина-врач. Мне пришлось как-то с нею говорить об ушедшей уже от нас фельдшерице, „сумевшей сплотить своих санитаров", войти товарищем в их кружок. Осталась о ней какая-то хорошая, теплая память, и санитары вспоминают ее не иначе, как со вздохом. Об этой фельдшерице молодой врач отзывается с какой-то брезгливостью, указывая на распущенность, самонеуважение, снисхождение „до каких-то санитаров" до „темного человека, с которым и поговорить-то не о чем". И чем-то затхлым, отжившим дохнуло от этих рассуждений. А с санитарами есть и есть о чем поговорить, есть чему посочувствовать, о чем позаботиться. Вся тяга черной и непрестанной работы падает на них; от них же можно узнать и тысячи подробностей и новых вестей, которые имеются у них от непрестанного общения с ранеными.

Тошно делается, когда эти попрыгуньи рассуждают о земстве, хвалят его, как новые ботинки, и стремятся на место свободы и доверия ввернуть свои куриные репрессии, на место спайки и дружного товарищества бессознательно насадить разлад и недружелюбие.

Это уж, конечно, не земцы, и я не о том говорю. В земстве они, что называется, „ни уха, ни рыла" не смыслят. Но все-таки к чему, к чему эти полномочия, эта безудержная воля и самоуправство, смысла которых они все равно не понимают?

Нужен контроль, потому что нередки стали случаи, когда сестры при поступлении задают вопрос: „А что старший врач — женщина?".

Это ведь что-нибудь да значит!

ПОТРЯСЕНИЕ

Когда в Сарнах рвались бомбы, была ужасная паника. Этому чувству панического ужаса поддались и мы. Но думали так: минет пальба — минет и страх, все пойдет по-старому. Но вышло не так. Одна сестра с вечера того же дня начала заговариваться, неестественно жестикулировать и особенно оживленно ввязываться в спор, тогда как прежде за ней этого не наблюдалось. Наконец, ей пришло в голову во что бы то ни стало поймать германского шпиона.

Откуда у нее явилась эта мысль — неизвестно, но просьба ее была так неотразима, что одному из товарищей ночью пришлось провожать ее до леса, осматривать под кустами, под мосточками, в ближних окопах... Наутро ее отправили в Киев. Она была, оказывается, больна и прежде, а следовательно, это потрясение имеет не главную цену.

Однакож, впечатление было удивительно сильно; это я вижу по себе. Каждое утро, просыпаясь, я первым долгом высовываю робко из-под одеяла голову (т. е. не то чтобы робко, а как-то нерешительно) и начинаю прислушиваться. И все чудится шум пропеллера, а далекое эхо орудийной пальбы представляется разрывом бомб где-нибудь вот тут, на поляне. Аэроплан прилетал и еще несколько раз. Вчера бросил бомбу прямо в дрова — раскидало, разметало целую сажень. Вот сижу у себя и чувствую, как весь насторожился, как колотится сердце от постоянных ожиданий. Что-то ударилось, может быть, даже плеснули из ведра, и я вздрогнул от этого знакомого чмокающего, словно целующего звука. Бросил кто-то бутылку — она ударилась о колеса вагона: упала. Может быть, это „она“ упала и почему-либо не разорвалась... Сердце колотится сильней, жду — вот-вот разорвется... А ведь это что такое — разорваться в двух шагах... Ужас, ужас... И нервы работают неустанно, дергают, мучают меня...

И боже ты мой, как издергаешься тут за долгие месяцы! А там, в окопах, по целым-то неделям не выходя, да там прямо с ума спятишь — и не от страху, а от постоянного, не понижающегося напряжения...

КАРПАТЫ

Офицер, участник карпатских походов, рассказывал: „Мы проиграли этот поход не потому, что недостало оружия или снарядов, как это имеется налицо теперь, например, а потому, что войско наше не верило в целесообразность самого похода и видело, что не стоит шкурка выделки. Переход через Карпаты не был продиктован необходимостью, их можно было обойти или, в крайнем случае, сделать один широкий прорыв, а не распыляться по всему фронту. При наступлении мы понесли даже большие потери, чем при бегстве оттуда. Это уже общее явление, что при отступлении армия отдает массу пленных. Так было и с нами. Но это еще полгоря, рассуждая об'ективно, а тогда вот, при наступлении, потери наши были изумительны, несмотря на видимый успех. Какой-нибудь несчастный батальон неприятеля, засевший удачно в горах, надо было окружать едва не дивизией, и прежде чем справишься с ним — половины людей нехватает. Подобные примеры наглядно показывали солдату всю бессмыслицу наступления.

Еще слава богу, что у нас тогда вообще был высокий под'ем духа, а то совсем бы не сдобровать. Артиллерия наша действовала прекрасно — сметала, сравнивала целые площади, делала то, что теперь делает германская. Наша легкая артиллерия по баллистическим качествам (прицел, меткость) стоит выше австрийской и германской. Снарядов было вволю — потому и великая галицийская битва, длившаяся беспрерывно семь дней, кончилась в нашу пользу. Только надо сознаться: весь наш кадровый состав остался в Галиции. Недаром австрийцы говорят, что „Карпаты — могила русской армии". Так оно и получилось".

Разговорились мы о том, как здесь, на позициях, проводили пасхальную ночь. С австрийцами совсем дружно, были даже случаи братания — выходили и вышивали по-товарищески. Но одному нашему генералу взбрело в голову послать в это пасхальное утро наш батальон в атаку. Батальон пошел и... сдался. Возмущение было сильнейшее. Конечно, дело военное, тут не до праздников, но ясно было тогда, что настоятельной необходимости в атаке не было, и злая причуда генерала была понята как черствость и холодная жестокость...

„Почему это,— спрашиваю я,— успех в штыковых схватках почти всегда на нашей стороне? И так с кем бы то ни было — с австрияками, турками, германцами".— „А я это об'ясню,— говорит офицер,— некультурностью, грубостью нашего русского солдата. Он ведь совершенно не сознает смерти, у него в атаке нет чувства страха перед смертью, он весь тогда одухотворяется какой-то ненавистью и злобой, ему сам чорт тогда не вставай на пути. А немцы, развитые и нервные, ясно представляют себе все эти ужасы, потому и теряются в решительные минуты".

Я соглашаюсь с офицерами, но все-таки есть тут что-то и другое. Ведь турки не культурнее нас, да тоже не могут выстоять перед нашим штыковым напором. Тут налицо беззаветность, отчаянная храбрость и, пожалуй, сознательное презрение всякой опасности и страха. Здесь, на Стыри, стрелки 2-й дивизии всего только вчера, 9 октября, разбили вдребезги германский гвардейский полк. И если бы вы видели, что это за голиафы — германские гвардейцы! А наши стрелки ведь были все так себе — Иван Петрович да Кирилла Назарыч, малорослый, тщедушный народишко, да ведь в стрелки таких и набирают. Стрелки делают в минуту 140—160 шагов, тогда как пехотинцы всего 80—100,— так вот и представьте, что это за народ! Поистине вышло, что чорт с младенцем связался — и все-таки младенец победил. Нет, помимо нашей толстокожести, есть тут и другие качества, которые освещают дело с другой стороны.

НАШИ ГЕНЕРАЛЫ

Их больше тревожит личная слава и забота, как бы один не приписал себе победу другого. Согласованности никакой. Зависть, злоба, всяческие подвохи. Генерал Володченко на ножах с генералом 10-й кавалерийской дивизии, а работают бок-о-бок. Исключением является Радко-Дмитриев.

12 октября

ЧАРТОРИЙСК

Он стоит высоко на горе, по берегу Стыри. За рекой во все стороны зеленой лентой уходят леса, и только на Маюничи опускается широкая, пологая равнина. По этой равнине

за много верст белеет остроглазый приветливый храм Чарторийска — краса и гордость поселка. Говорят, он был построен еще в первые века христианства на Руси; повидал на веку своем много горя и напастей; пережил суровую пору татарского насилья, бесконечно разрушался и воздвигался вновь; был одно время даже польским костелом, пока лет 50 назад не возродился окончательно, сделавшись православным храмом в том виде, как мы находим его теперь. В храме пусто и жутко после недавнего хозяйничанья немцев, в беспорядке по полу — церковные книги, подсвечники, лампадки, различные церковные украшения. В сыром и темном подземелье храма до сих пор сохранились какие-то набальзамированные трупы, в том числе одного именитого в свое время кардинала. Лишь только выходишь из ограды — открывается широкая панорама заречья: оттуда несется несмолкаемый грохот орудийной пальбы. Неприятельские позиции отсюда за 5—6 верст. Чарторийск, несомненно, играет очень видную роль во всех операциях на Стыри: во-первых, как естественно укрепленный пункт, во-вторых, как очень удобная база для всякого рода наблюдений. Этим и об'ясняется, что в течение месяца он переходит из рук в руки или, в крайнем случае, остается нейтральным, как то было в двадцатых числах прошлого месяца. Слишком хорошо понимают обе стороны его значение — почему и бои у Чарторийска достигают большой ожесточенности. Нападающие удваивают мужество, а защищающие устраивают сопротивление. Австро-немцы, занимавшие его до первых чисел октября, уже сочли себя, повидимому, его коренными жителями на всю зимнюю кампанию, потому что нарыли немало глубоких и теплых землянок. Но в первых же числах этого месяца, когда повелось общее наступление по Стыри, злополучные кандидаты Чарторийска были выгнаны оттуда с большим позором и уроном.

Теперь он наш, но так уж мы привыкли к этим непрестанным приливам и отливам по берегу Стыри, что не удивимся ничуть, если завтра же дойдет к нам недобрая весть о том, что неприятель снова в Чарторийске. Стырь здесь играет славную роль неперейденного Рубикона. Неприятельская живая волна при всем упорстве и напряженности никак не может перекатиться с одного берега на другой. И живым укором

возвышается над этой волнующейся массой спокойный, далеко видный белоголовый храм Чарторийска.

И тою и другой стороной храм уже неоднократно был использован как наиудобнейший наблюдательный пункт. Как таковой, он, конечно, подвергался обстрелу; больше пострадала западная сторона, а с южной лишь один жестокий удар оставил зияющую брешь. Чарторийск — не деревня, потому что имеет прекрасный и притом старинный храм, но и не село, потому что как-то увяз весь в переулочках и закоулочках,— он скорей походит на какой-нибудь грязноватый туземный квартал в одном из крупных кавказских городов.

Жизнь там идет, конечно, скачками, как и во всех местностях, близких к позициям: сегодня жители мирно толкутся по халупам, а завтра ни свет ни заря во все лопатки утекают на ближайшую станцию. Но лишь только они узнают, что поселок отобран своими, как начинают поспешно стекаться со всем своим скарбом в родное гнездо и часто находят на месте халуп лишь пепел да камни. Эта непрестанная — предварительная циркуляция наблюдается всюду. Продолжается она до тех пор, пока безнадежная кочевка не утомит и не вынудит принять решение отправиться в глухую, безвестную глубь беспредельной матушки-России.

В Чарторийске, постоянно висящем на волоске, неустойчивость положения жителей выделяется как-то особенно рельефно: они живут как бы стоя, готовые каждую минуту сняться с якоря и отправиться в безвестное плавание, в поисках нового жилища. Здесь жизнь совершенно выбита из колеи: вместо крестьян всюду мелькают серые солдатские шинели; вместо крестьянских повозок тянутся двуколки Красного креста и солдатские кухни; всюду блестят ряды поставленных в козлы винтовок. Чарторийск тянут, как дойную корову, щиплют понемножку и жгут, когда бог на душу положит. День за днем он тает, как свечка, и скоро останется один только осиротелый белый храм, обращенный в наблюдательный пункт.

КОННИЦА И ПЕХОТА

„Пеший конному не товарищ" — эта пословица справедлива для армии и в прямом и в аллегорическом смысле. Между

пехотой и конницей существует постоянная глухая вражда. От крупных ее проявлений сдерживает одна лишь дисциплина. Все время слышишь нарекания одной стороны на другую, и нарекания эти выходят как из солдатских, так и из офицерских кругов. Основное разногласие происходит из-за того, что конница занимает как бы почетное, привилегированное положение: в ее руках разведка и ликвидирование начатого пехотою дела, так что вся слава косвенным образом и достается ей, коннице. Предположим, замышляется конная атака. Для этого необходима наличность известных условий: открытая ровная местность, широкая площадь, личная свежесть, неутомленность. Удар предпочитается делать с фланга; ждут передвижения колонн или неприятельской артиллерии, бьют на ходу. Конница или пехота делает разведку (близкая разведка обыкновенно лежит на пехоте), завязывается перестрелка, пехота раздражает и вызывает неприятеля, а в разгар кидается конница и срывает лавры победы. Правда, так не всегда. Конница нередко принуждена бывает пренебречь удобными условиями, идет без пехоты, устраивает облаву и атаку на деревню или село. О кавалерии (казаки стоят как-то в стороне) пехота отзывается так: „Она хороша, когда надо крошки подбирать, а на деле ее нет. Разведку ведет так плохо, что перестали верить, потому что много раз попадали впросак. Кавалерия должна итти вперед, а на деле случается больше так, что она остается позади. В горячую минуту кавалерия поддерживает плохо, надеяться на нее не приходится, потому что место она держит очень слабо и при первой возможности утекает во-свояси. Теперь вот часть кавалерии рассадили по окопам — и тут одна беда. Наш брат, пехотинец, держится до тех пор, пока руки отнимутся али силой задавят, а кавалеристы выскакивают из окопов, лишь было бы удобно, благо лошади стоят в пятидесяти шагах. Нет, угнать бы у них лошадей за сто верст, чтобы надежды не было удирать,— вот они стали бы сидеть да держаться как следует...“ А кавалерист смотрит сверху да ухмыляется добродушно на серенького крота, простого пехотишку. Любо ему на коне: сидит, как в люльке качается, устали не знает, привык к седлу, словно к стулу. Ему совершенно незнакомы эти медленные перебежки и поспешное выкапывание крошечной ямки, чтобы лечь, прикрыть

наскоро голову, а потом снова и снова перебегать, пока шальная пуля не положит конец всей этой забаве. Я видел эти ямки, выкопанные второпях, под ежесекундным страхом смерти: пол-аршина в ширину, три четверти или аршин в длину, четверть или полторы в глубину,— словом, только-только уткнуть голову в эту ямку, за кучкой набросанной земли. И такими перебежками достигается заслон: проволочное заграждение, целые ряды молодых деревьев, обороченных заостренными ветвями к нападающему.

В этих заграждениях сам чорт ногу сломает. Когда ждут крупной атаки, копают волчьи ямы — обыкновенные ямы аршина 1½ глубиной со вбитым посередине отесанным колом, так что сорвавшийся туда попадает на кол животом, если споткнется, и сиденьем, если проедет по верху, замаскированному дерном. Все эти ужасы должна превозмочь пехота. Впрочем, кавалерия часто угождает в волчьи ямы, да они больше для нее и роются. Но выходит всегда так, что пехота делает, а кавалерия только разделывается.

Кровно были оскорблены кавалеристы, когда их частью рассадили по окопам и заставили вести нудную пехотную борьбу. И когда они столкнулись совсем лицом к лицу, — вся неприязнь выплыла наружу. Кавалерия, реже бывающая в деле и потерявшая за время войны меньше половины кадрового состава, тогда как считается за диковину встретить невредимым пехотинца первой мобилизации; кавалерия, менее уставшая и истрепавшаяся; кавалерия, почти не знающая недохваток и нищеты,— увидела пехоту: грязную, молодую и неопытную, ощипанную, нуждающуюся решительно во всем, кроме терпения и храбрости. Все чаще повторяются случаи, что присылают целые батальоны без единого ружья, в надежде, что здесь, на позициях, их обмундируют как следует. Это уж, конечно враки, что из пятисот идущих в атаку — ружья у трехсот, а остальные двести идут с голыми руками, для массы, и ждут, когда можно взять винтовки у раненых или убитых товарищей. Это враки, но невооруженных присылают то-и-дело в надежде, что они оружие получат на месте. И как же может кавалерия пройти молча мимо этого печального, а по-ихнему еще и унизительно-смешного факта? Лишняя причина пренебрежительно

относиться к пехоте, которую и вооружать-то не считают нужным. Кавалерия не так дисциплинирована и, следовательно, свободнее, развязнее и веселее, и в общей массе как-то и более однородна, как будто даже дружна и сплоченна. А впрочем, это может быть только с виду, потому что в пехоте есть что-то более глубокое и более общее, только проявляемое как-то мало заметно, по-будничному, по-серенькому. Я не говорю о казаках,— их дружба самая крепкая и нерушимая, да она и естественна, когда в сотне нередко бывает половина одностаничников, связанных всяческими узами близости; их отчаянные дела совершаются благодаря этой спайке; в дружбе и взаимной помощи они черпают свою отвагу и постоянную уверенность, что „бог поможет, а друг не выдаст". Но это ничуть не мешает выпуклому проявлению личной инициативы, способности не теряться в одиночку и в одиночку же совершать дела беспримерной удали.

Я проехал через Болоховичи, Маюничи, Козлиничи и Хряск. В Хряске стоит наша 11-я кавалерийская дивизия, и сегодня она замышляла устроить атаку на неприятельские окопы, которые находятся оттуда верст за пять. Но атака почему-то была отложена, и мне пришлось ограничиться только выслушиванием близкого громыхания артиллерии. Сегодня она почему-то палит особенно звучно. Земля дрожит, стены в халупах пошевеливаются; непрестанно гремит и гремит, то взрывами, как бы скачками, то заунывным, протяжным стоном. Маюничи стоят по-старому невредимо, но бедные vis-à-vis Козлиничи — сожжены до тла. Осиротелые жители бродят на пепелище, копаются в угольях, что-то ищут. Беженцев здесь как-то не видно: они переправляются на Сарны и дальше; часть расселилась по лесам, и в Полицах кормится не больше 200—300 человек.

13 октября

СЕСТРЫ И БРАТЬЯ

Молодая Россия заволновалась в первые же дни по об'явлении войны. Все знали, какую серьезную, широкую, ответственную и продолжительную роль придется играть в этом тяжком

деле. Наоткрывалось множество курсов сестер и братьев милосердия, замелькали белые косынки и красные кресты. Просачивалась в жизнь новая струя, живым источником пробивалась в серую солдатскую массу. Толпились целыми массами во всех организациях, устраивали очереди, тайно и вслух завидовали счастливцам, попавшим в описки... Все это рвалось, шумело, даже требовало... „Скорей, только скорей, ради бога!“— вот что просилось и требовалось тогда этим неугомонным, настойчивым ульем бог знает откуда слетевшихся работников. Ехали отовсюду, и больше в Москву. В московских организациях вы встречали и широкоплечего сибиряка, и суетливого армянина, и мечтательного хохла,— все валило сюда в надежде, что Москва не откажет, что Москва не посмеет отказать, у нее нехватит духу. И Москва не отказывала. Формировались отряды, санитарные поезда, лазареты, разные летучки... И когда уже все было переполнено, появились на дверях различных бюро ненавистные записки: „Приема нет“ „Запись прекращена“. Но это останавливало только наполовину. Была какая-то уверенность, что рано или поздно устроиться можно, что об'явится новый набор, утомятся первые работники,— словом, беспокойный люд придумывал всяческие комбинации, и — странное дело!— они большей частью выполнялись... „Победит тот, у кого крепче нервы“— шутили назойливые посетители, и они действительно побеждали благодаря упорству и терпению.

Просились куда-нибудь на самое тяжелое дело, отказывались от платы — только бы работать, работать и работать. На моих глазах студент умолял уполномоченного одного из земских отрядов взять его с собою на позиции: „Возьмите... Ну, ради бога, прошу вас... Что-нибудь смогу же я делать? Неужели не найдется одного места?.. У меня есть свидетельство брата, но я не братом... Я буду хоть пузырьки полоскать. Найду же что-нибудь... Возьмите... Очень прошу...“ Места не было, его не взяли. И надо было видеть его печальное, убитое лицо, чтобы понять, как горько стало ему от этого отказа. Требований обыкновенно пред'являлось два: скорей и ближе к позициям, т. е. не только ближе, а на самые позиции. На поездах и в лазаретах большинство мирилось только временно по неизбежности и затаивало на душе хищническую мысль —

как-нибудь подсмотреть случай и внезапно ускакнуть на позиции.

После образовался контингент людей, выбравших и выполнявших эту работу как ремесло, увидевших в ней прибыльную статью и тепленькое, хоть и временное, гнездышко. Впрочем пыл охладел даже и у самых горячих за первые же месяцы. Крылья как бы сразу были подшиблены. Этого, конечно, следовало ждать, с этим надо было заранее примириться,— тогда и не было бы угнетенности, но вышло по-другому. В горячке, под наплывом чувств, предстоящая работа рисовалась нам какою-то непрерывной цепью напряженности, заботы, целесообразного неотложного труда. Мы не учли тех периодов безработицы, которые так естественны в этом деле, не учли — и обожглись. А обожглись особенно неудачно потому, что в результате как бы разочаровались; мы были настроены романтично, а жизнь, конечно, посмеялась над романтизмом и послала ему в лицо заслуженный плевок — заслуженный и необходимый в такое серьезное, неулыбающееся время. Нам чудились почет и уважение, полная удовлетворенность работой, полное отсутствие мелочей жизни; мы жили мечтой в каком-то волшебно-феерическом, самосозданном мире, а не в мире реальной правды, где палка всегда о двух концах и где думаешь о них разом.

Безработица действовала удручающе. Опускались руки, тоска грызла немилосердно. Деморализация — естественное следствие безработицы — значительно пошатнула высокий престиж носителей Красного креста. Конечно, все эти толки о разгуле и недобросовестности грубо преувеличены и раздуты до неестественности, однакож основания к тому есть несомненно. На Кавказе одно время сестрам воспрещено было носить красные кресты. Это показательно, но самый циркуляр не соответствует вызывавшим его причинам. Отдельные факты непорядочности и легкомыслия приравняли к какому-то всеобщему явлению и заключение свое ярко подчеркнули упомянутым циркуляром. Конечно, при той разношерстности состава, какая наблюдается теперь, при неизбежной скученности, при наличности всех условий теснейшего общежития, когда люди изо дня в день толкаются друг о друга, возможны и вполне естественны примеры более чем товарищеского сближения. Придумывать же небы-

лицы о развязанности как-то особенно здесь подмывает самая марка Красного креста, уронить которую, как все высокое и чистое, доставляет своеобразное уродливое наслаждение. Проходя спокойно мимо тысячи затейливых и пикантных историй в мирное время, теперь считают какою-то обязанностью все подчеркивать, даже то, что и не стоит вовсе, чтобы на нем останавливали внимание. Такова уж, видно, доля сестер: в мирное время носить один крест, а за войну два.

Тяжела безработица. Но в положении нашем таится что-то ложное. Мы томимся, задыхаемся от безделья и в то же время не имеем права не только требовать, но даже и желать работы, потому что желание это глубоко эгоистично и безнравственно; мы не имеем права свое удовлетворение покупать ценою чужих страданий и принуждены в безделии горевать от скуки, а в деле — от чужих страданий. И когда видишь пробитые головы, прилипающие на марле кусочки дрожащего мозга; когда из зияющей раны несет зловонием смерти и разрушения, а из-под черных кусков запекшейся крови просвечивают перебитые, заостренные косточки и тянутся, словно нити, обессилевшие жилы и нервы; когда хлещет неудержимо алая кровь и у тебя на глазах холодеет молодое человеческое тело; когда тихие прощальные стоны хватают за душу больнее отчаянных воплей и криков; когда слышишь и видишь весь этот ужас,— нет, господи, избавь нас от этой страшной работы. Пусть долгие, бесконечные месяцы тоски и напрасного ожидания, пусть, только не эти страданья, не эта бессмысленная человеческая агония. Нам достаточно одного сознания, что эти серые, замученные люди верят и знают, что за спиной у них стоит целая рать молодых работников, всегда готовых притти на помощь.

17 октября

В ВАГОНЕ

В купе было тесно и душно. Все-таки восемь человек не шутка, да притом четверо покуривали довольно часто от скуки. Вещей было навалено тьма-тьмущая. Двое расположились наверху, по-трое внизу. Нам, признаться, надоело пристальное осматривание нашего купе каждым проходящим, высматривав-

ищы себе место, словно коршун добычу. Всунется в дверь чья-нибудь голова и долго-долго водит глазами по низу, по верху, по вещам. Осмотрит — и так же медленно и тихо скрывается в коридоре.

Вдруг появились две темные личности в котелках. Один из пришельцев, молодой, лет 26, начал говорить еще где-то за дверью, дробным, торопящимся голоском, подобно Петру Верховенскому. Он вел как-то особенно уверенно своего пожилого товарища и не успел еще ввести его в купе, как вдруг заторопился:

— Пожалуйте, пожалуйте... Садитесь вот тут. Теперь можно...

Мы ничего не понимали и никак не ожидали такой смелой осады...

— Теперь можно, разрешается,— продолжал он, как-то выпучивая окинув нас взглядом...

— Позвольте, куда вы садитесь?... Тут мой чемодан...

— Ничего, подвиньтесь... Вы не знаете, что теперь можно?

— Что можно?

— Можно по восьми человек... Циркуляр такой есть...

— Ну, нет такого циркуляра мы не знаем, да нас и без того здесь восемь человек.

— Ах, вы не знаете?.. Ну, что же: вы не знаете, а я знаю.

— Да нет такого циркуляра, чтоб по 10 человек...

— А я вам говорю, что есть... Недавно... Пять дней назад... Вы не знаете, потому что не читали эту газету, а я читал.

— Так ведь нас и без того 10 человек...

— А наверху хоть еще 10... это ничего... А вот тут по 4...

— Слушай, кондуктор, по скольку человек можно внизу?

— 6 человек...

— А подите вы!.. Ничего вы не знаете... И какой вы кондуктор, когда вы ничего не знаете... Я же сам читал!.. А вам стыдно: кондуктор, а циркуляров не читаете...

— Ну, что, вот и кондуктор говорит — по-трое...

— А что мне ваш кондуктор... Он идиот, кондуктор, он циркуляров не читает... Хотите пари?

— Да нет, что же нам спорить с вами?

— Нет, хотите пари?— протягивал он каждому из нас руку.— Ну давайте же пари... На сколько угодно... Я сам читал... Всего пять дней назад...

— Да ведь мы не против того, чтобы пустить вас, только ведь правила-то нет, чтобы по 10 человек.

— Ах, давайте же пари, говорю я вам...

В это время один из товарищей отвлек меня посторонним вопросом, и, когда через 2—3 минуты я хотел послушать продолжение спора, ко мне снизу доносились фразы:

— Да, Румыния умна, чорт ее побери!.. Все ждет и ждет. А, впрочем, может и по носу дождется, случается и так.

— Нет, Румыния что — вот Болгария, так это штука...

— Да, это штука...

И больше уж к злополучной теме о циркуляре не возвращались... В другое время этой благодарной темы со всевозможными отвлечениями и комментариями хватило бы верст на 100, и тут сразу оборвали и перешли на злобу дня. Насколько же сильно захвачены все войной, если уж прирожденные спорщики и говоруны отказываются от своих споров.

25 октября

ПАСМУРНЫЕ ДНИ

Я люблю пасмурные, ненастные дни. У меня такой уж порядок: встану — и скорей отбрасываю красный занавес. А из мрака на волю как-то всегда особенно светло, и потому я часто ошибаюсь. Долго-долго смотрю на небо, оглядываюсь во все стороны, и, когда начинаю различать хмурые, сизые тучи, на сердце делается легко. А особенно легко, если за окном прыгает мелкий-мелкий дождичек, такой, на который всегда можно положиться и поверить ему, что скоро не пройдет, что так же вот медленно и вяло он будет итти долгие, долгие часы... Но я лишь тогда положительно счастлив, когда у темнеющего леса, у самого его подножья замечаю белую кисейную пелену тумана. Я узнаю эту желанную пелену и приветствую ее, как друга. Хмуро-хмуро на небе, и чем безотрадней и мглистей оно, тем радостнее, покойнее у меня на душе. Я знаю тогда, что не прилетят эти жестокие воздушные хищники, не станут пугать нас

бомбами. Я одеваюсь спокойно, не тороплюсь и даже посвистываю от удовольствия. Но бывают такие жестокие дни, когда на небе не только тучи, но и крошечного облачка не найдешь. Тогда я тревожно и быстро одеваюсь, куда-то все тороплюсь. Тогда я бываю удивительно, до смешного серьезен. Я ничего не обдумываю, я не занят, но чувствую, что лицо сосредоточенно, а может быть, и зло, что движения быстры и нервны, что каждый мой шаг — воплощенная тревога и ожидание. И вдруг до слуха долетает отвратительный, надоевший треск пропеллера. Хищник не торопится, шум долго-долго не приближается и раздражает откуда-то издалека,— ровно, холодно, с большой выдержкой. И как-то сразу он становится отчетливым до тошноты... Хищник уж над головой... Долго он вьется, словно упиваясь своим отвратительным треском, наслаждаясь нашей тревогой, глумясь над возникшей паникой: „Все равно, дескать, никуда не скроетесь, никуда не убежите... Я взмахну своими легкими крыльями и догоню вас на лугу, догоню в лесу, разобью ваши хижины, а вместе с ними и вас". И, нагулявшись вволю, он начинает свою жестокую забаву... Дрожат и разбиваются вагоны, звенят перебитые окна, люди мечутся в беспамятстве и напрасно ищут себе защиты: ужас разрушения достигает всюду... И, натешившись вво́лю человеческой беспомощностью и унижением,— он, гордый и холодный, скрывается в облаках, и долго-долго еще слышен оттуда отвратительный ровный треск пропеллера.

НАША РАБОТА

... Работы много, даже слишком много. Бывает часто так, что с вечера начнешь перевязывать — и так, не отрываясь, целую ночь работаешь до рассвета. Беспрерывною вереницей подходят и под'езжают огромные партии раненых. Которые полегче ранены — те кое-как добираются пешком, потому что позиции здесь совсем близко, а тяжелых подвозят на телегах и двуколках. Только что управимся с одной партией, как об'являют, что другая уже давно ждет своей очереди — и так целую долгую ночь... Кругом и стон, и плач, и отчаянные, душу раздирающие крики. Иной бедняжка настолько замается и обессилит, что только тихо-тихо, жалобно так стонет, когда ему

вырывают огромные куски размозженного мяса или вытаскивают осколки перебитых костей. А другой, наоборот: ты еще и не дотронешься ему до тела, а он уже кричит благим матом и просит полегче,— это происходит от того, что, страшно измучившись и изнервничавшись в окопах,— он самую малую боль принимает за огромное страдание. Но чаще все-таки случаи, когда солдат переносит мучения действительно по-геройски: ему разрезают живое тело, щипцами выдергивают из глубины засевшие там пули и шрапнельные осколки, а он сидит и молчит. Крепко-крепко стиснет губы, и в тишине только слышится зубовный скрежет, да изредка ударит он в отчаянии ногой по каменному полу; лицо у него как-то сморщится, а зажмуренные, плотно сомкнутые глаза дергаются порывистой, мгновенной дрожью. Рука дрожит, тело дрожит, и видно, что страдания ужасны, а он молчит себе и остается героем до конца. А когда кончится перевязка, мы вытираем холодный пот с его усталого лица и подносим воду к запекшимся жадным губам. Бывает иногда, что милое доброе лицо осветится улыбкой,— тогда мы искренне рады и счастливы, что кончились его ужасные мучения.

26 сентября

ФЕЛЬДШЕРА И ФЕЛЬДШЕРИЦЫ

Когда ходишь по полу, как-то невольно забываешь, что дом держится не на полу, а на фундаменте. Нечто подобное мы замечаем относительно фельдшерского состава, так широко и плодотворно работающего за нынешнюю войну. О нем забыли; во всяком случае, широкая пресса до сих пор молчала и не отмечала его работы: говорили о врачах, говорили о сестрах, но о нем систематически умалчивали. А это и есть именно тот фундамент, на который так смело и уверенно оперлось дело военно-медицинской работы. Я буду говорить только о земских работниках, потому что сталкиваюсь с ними чаще, знаю их больше. Прежде всего поражаешься удивительной самостоятельностью в работе, спокойствием и уверенностью в себе. Эти ценные качества несомненно выработались в условиях предшествовавшей

земской работы; они об'ясняются многими причинами, между прочим — постоянной и большой нравственной ответственностью; отсутствием резкой границы в работе между земским врачом и фельдшером; авторитетностью среди населения и, наконец, постоянной и подозрительной осторожностью на почве оскорбленного жизнью самолюбия. Дело в том, что редкий фельдшер не мечтает о докторском дипломе, во всяком случае, в молодые годы. Фельдшерство является как бы временным условием достижения диплома, переходной ступенью, а не самоцелью. Но только редкие счастливцы выбиваются на широкую дорогу, положив массу труда, лишений и тревоги. А остальные как-то замыкаются, жмурятся целую жизнь и тоскуют по дорогой мечте. Это удивительно чуткий, обидчивый и неподатливый народ. Они не умеют и не привыкли гнуться, они знают только два конца: стоять прямо, не моргая и не щурясь, или ломаться пополам, начисто.

Я с ними за эту войну сталкиваюсь близко впервые. Я, может быть, даже преувеличиваю их самостоятельность и стойкость, потому что наблюдаю их на фоне такого безотрадного и неизбежного явления, как вторжение в жизнь огромного кадра молодых, неопытных, а часто и легкомысленных врачей. На этом фоне они особенно ярки, и потому я даже берусь утверждать, что 75% положительной медицинской работы лежит теперь именно на фельдшерском составе. Это, конечно, и естественно, что практикам-фельдшерам приходится учить неопытных, но в большинстве заносчивых и ложно самолюбивых врачей. Недаром искренние молодые врачи говорят: „Мы что же? Мы только для марки". Я знаю их на работе: спокойны, уверенны, кратки до холодности и дороги без цены. Раненых успокаивают обыкновенно двумя путями: теплым и зачастую болтливым до раздражения или холодным и часто сухим до озлобления. Второй путь — фельдшерский: в нем чувствуется сила, но в то же время и механичность, равнодушие, а часто и оскорбительная, жестокая нечуткость, своеобразная толстокожесть...

— Молчи, голубчик, ну, молчи... Я сейчас кончу... Что, брат, потерпи малость... Ну, что же теперь делать?..

— Ой, полегче!.. Ой-ой-ой!..

— Ну, хорошо, ну, я полегче...

Начинаешь работать тише и осторожнее — в ущерб скорости, но на радость солдату.

— Ну, как теперь?

— Теперь хорошо...

— Вот и славу богу!.. А ты все кричишь... Криком, милый, не поможешь, только самому тяжелее будет... А ты не гляди на рану-то. Ну-ка, отвернись. Чего, брат...

— Полегши, ради бога. Ох-ох-ох... Ох, господи!..

— Ну-ну, кончено. Все, брат, кончено...

— Ох, господи... Матушки вы мои... О-о-о... Двух пальцев-то нет!..

— Двух...

— Как же я теперь горшки-то буду делать?

— А ты горшечник?

— Горшечник...

Это с натуры, а вот другая картинка:

— Да сиди, брат, половчее. Ну, что ты кидаешься из стороны в сторону? Я еще и до раны-то не дотронулся.

— Крови боюсь... Завяжите, господин доктор, мне глаза, подержите: я упаду...

— Ничего, друг, я в одну минуту... Да сиди же поспокойнее... Слушай: ты, брат, напорешься мне на ножик, если будешь прыгать.

— Я не могу.

— Что ты не можешь?..

— Ой-ой-ой-ой!..

— Да какой же ты солдат, коли крови боишься?

— Да разе я солдат? Послали — и пошел... Ой-ой-ой... Будет, господин доктор, будет уж, я не могу... Да, ой-же!!!

— Ну, кончил, кончил... Эх, ты, воин... С такими и кампанию проиграть не стыдно...

Это вольная, так сказать, штатская, не коренная медицина за работой. А коренная вот:

— Сиди смирно!

— Ой, не могу, ой, не могу!..

— Санитар, подержите его...

— Да, полегши, сестрица. Ради бога, полегши...

Молчание. Работа идет серьезно, быстро, уверенно. Слои падают за слоями, дело подходит к перелому, к самой тяжести.

— Ой-ой-ой-ой... Да бросьте же вы все это!..

— Успокойся, успокойся, если ты будешь кричать — так и знай, что брошу, так и оставлю.

Он замолкает. Изредка охает, но уже не дергается, не прыгает. Работа заканчивается при взаимном молчании.

Для меня этих иллюстраций довольно. Характер работы в достаточной степени может определить человека. И своей серьезной строгостью, деловитой уверенностью и действительным знанием — они невольно внушают уважение к себе.

РАЗЛУКА

На войну провожают теперь, словно в могилу кладут: уедет — и для семьи сделается каким-то далеким, полуживым незнакомцем. Практика войны показала всю огромную массу жертв, и по аналогии можно заключить, что так будет до конца. И не так: можно думать, что будет еще жесточе, когда наши пойдут вперед, а цепкие пауки не захотят отдавать свои гнезда. Поэтому разлука, проводы на войну всегда полны безнадежности и отчаяния.

Я знаю одну несчастную женщину; замуж она вышла года за полтора до войны, и когда мужа осенью прошлого года усадили в вагон,— она, рыдающая, обезумев от горя, повисла у него на шее и почти без сознания выпрыгнула на ходу из вагона, попав под колеса: ей отрезало обе ноги...

В Николаеве провожали новобранцев; жены, сестры, матери подняли ужасный вой и никак не хотели пропускать поезд. Они легли на пути, подобрались почти под самые колеса. Им уступили: дали несколько вагонов, усадили, прицепили к поезду и тронулись... Над ними жестоко и остроумно посмеялись:— на третьей же версте вагоны отцепили, и поезд умчался... Они выскочили, бросились вдогонку, метались, кричали, проклинали,— все напрасно, поезд увез дорогих людей... Многих, многих теперь уже нет, а впереди — все та же бесконечная, жестокая, непрекращающаяся бойня...

НЕОЦЕНЕННЫЕ

Человеческая жизнь не имеет цены; это звучит неестественно грубо, но здесь это так, здесь жизнь без цены. Когда ходят в атаку и оставят на поле 3—4 товарищей, говорят: „мы без потерь“ и скорее перечисляют забранные пулеметы, орудия, пленных, все перечисляют и как бы невзначай, уже в конце разговора, узнаешь, что Иван Мушко, тот вот самый, что вчера на гусей охотился, „вовсе покончился, живот ему прободило“. И так привыкаешь к этой форме отношения к человеческой жизни, что потом уже одним умом воспринимаешь оголенные цифры, не доходящие до сердца. Отдельная жизнь не имеет цены. Здесь все зиждется на количестве, здесь совершенно отирается все частное, все подбивается под общий уровень. И этим спасается единство, покорность и дисциплина — необходимейшие условия, если уж брать войну за неизбежный факт.

Я видел, как умирал молодой улан. Были сумерки. Он один лежал в грязноватом, мрачном вагоне и тяжко, трудно так дышал... По сереющему красивому лицу расползались во все стороны морщины смерти; сползали с груди ослабевшие дряблые руки, редко, медленно гнула конвульсия белые, широкие ноги... Волосы сделались клейкими, и отдельные, отбившиеся волоски расползлись во все стороны по вискам, по лбу, торчали слипшиеся по нескольку вместе... Он то-и-дело открывал обессиленные, тусклые глаза, шевелил пересохшими, потрескавшимися губами, дергал скулами — ничего не выходило, только рвалось из груди хриплое, бессильное шипение. Он умирал. А я знал, что еще раз он хочет рассказать мне о молодой жене и о малютке-сыне. Может быть, благословить хотел бы их через меня, а может, просто поцеловать и проститься в словах, поговорить о них, пережить хоть на миг недавнее былое. Тихо сжималось и крючилось тело, тихо закрывались глаза, и к холодному, высокому лбу еще плотней приклеились мягкие, словно слизью покрытые, волоски...

И, склонившись над покойником, я думал все о недавней его жизни с молодой женой и малюткой-сыном... Мне было жаль и осиротелую семью и молодого, несчастного улана... Слезы едва не пробились на влажные глаза. Прошло время. Я уже

не успевал окидывать мыслью жизнь каждого умирающего, я не знал, кто он, откуда, есть ли у него жена, ребята, семья... Я глядел только ему в лицо и, зная, что скоро оно застынет, остановится жизнь, томился душой и молча отходил в сторону. И прошло еще время... Перед глазами и душой прошли бесконечные вереницы человеческого страдания; я забыл об иной жизни и привык спокойно глядеть в лицо умирающему. Я теперь уже редко думаю о его семье, даже о нем самом,— я только больше и глубже с каждым разом, с каждой новой жертвой возмущаюсь этой непостижимой бессмыслицей. Прежде я возмущался, лишь зная о факте, теперь я возмущаюсь, видя его...

27 октября

ОБРЕЧЕННЫЕ

Они были обречены на смерть — два молодых стрелка и германский офицер. Их принесли в самый разгар работы и в ряд приставили к стене, успокоив, что скоро, дескать, будет операция, а там и боль утишится. Раны тяжелые, сквозные, пробитые груди и животы, образовался перитонит. Им сначала все не давали пить, несмотря на мольбы, а потом махнули рукой: не все ли, дескать, равно — конец один. Тогда мы подносили им к горящим губам смоченные водою кусочки ваты, обтирали десны, небо, губы... А потом стали давать прямо из кружки... И о них как-то забыли. Работы была такая масса, что на утешение этих безнадежных не оставалось времени. Я изредка подходил, и все трое тогда спрашивали: смертельная рана или нет? Офицер протягивал ко мне белые, красивые руки и спрашивал по-немецки, что за рана, велика ли опасность, и, когда я успокаивал, он начинал говорить что-то нежное-нежное, он ловил мои руки, жал их своими слабыми холодеющими руками, благодарил меня. У него были русые волосы и прекрасные голубые глаза. Лицо умное и доброе, а кожа на лице просвечивала, словно у зреющей девушки. Он жаловался на нестерпимую боль, и, когда попросил помочь ему сесть, мы не препятствовали. Последний раз поднялся он, посидел минуту и бессильно опустился снова на койку. Он умер первым — спокойно и тихо, так что стрелки не заметили его смерти. И, ко-

гда унесли холодеющий труп, один из оставшихся грустно сказал: „Вот его унесли, а меня не несут... Скоро ли же будет мне операция?“ Он не знал, бедный, что и его через полчаса понесут так же, как этого офицера, только не на операцию, а в могилу, что и про него последний оставшийся товарищ будет говорить: „Его вот взяли, а меня не несут...“

Один за другим умерли они с мучительной жаждой жизни и с надеждой на неведомую, спасительную операцию. Они гасли у нас на глазах, и не было возможности помочь, спасти от смерти. Веки вдавались все глубже и глубже в широкие орбиты стеклянных глаз; они по краям, словно траурной лентой, обвились зловещею, черной полосой, и потому ресницы казались особенно густыми, а впадины глаз особенно глубокими. Матовое лицо делалось неподвижным, и как-то странно, почти у нас на глазах, поднимался кверху заостренный кончик обтянувшегося строгого носа. Силы оставляли; закатывались глаза; реже становилось дыхание. Последний глубокий, прощальный вздох — и кончена жизнь. А на кладбище прибавилось два новых белых крестика, которые срубили солдаты на могилы покойным стрелкам.

29 октября

САНИТАРЫ

Большинство санитаров — меннониты. На Кавказе в санитарных поездах земского союза меннонитов 95—100%; здесь, на западном театре, их процентов 50—60. Я говорю о частных организациях, в военной их нет, там ротные, полковые и дивизионные санитары — исключительно солдаты. Теперь за год войны в санитарные поезда и отряды частных организаций санитарами попало много так называемых „пальчиков“ — раненых в пальцы солдат. Живут они совершенно на тех же условиях, что и меннониты, числятся по-старому военнообязанными, получают 75 копеек в месяц жалованья.

Из санитаров выбирается главный, выбираются заведующие складами, аптекой, перевязочной,— эти получают 6—8 рублей в месяц. Живут они обыкновенно в вагонах 3-го класса, помещаются по четверо в купе. Содержание каждого санитара

обходится 40—50 коп. в день. Меннониты, народ большей частью зажиточный, обыкновенно питаются и добавочно, за свой счет. У них часто можно видеть за чаем колбасу, сливочное масло, сыр. Наши „пальчики“ такой роскоши избегают, и надо сказать, что в сравнении с меннонитами они кажутся серыми, темными мужичками. Меннониты все грамотны, многие даже образованы, в большинстве зажиточные или просто богатые. Народ удивительно чистый, нетронутый, услужливый и надежный. Если ему уж что-нибудь поручил, то будь спокоен, что сделает в самом лучшем виде. В них совершенно нет кичливости своей исполнительностью, делают много, хорошо и молча.

Работа санитара — трудная работа. Кроме того, что приходится иногда переносить десятки и сотни тяжело раненых, надо еще неотрывно пробыть при этих раненых до момента сдачи. А этот момент иногда приходит через 3—5 дней. Когда нам приходилось на Кавказе перевозить раненых из Сарыкамыша или Джульфы в Баку, то с разными задержками в пути мы были 4—5 дней, и все это время санитар должен был почти неотлучно находиться в теплушке. Он доносил нам о состоянии раненого, если оно ухудшалось, и, если нехватало времени самому навещать чаще, кормил их, переодевал, сменял постельное белье, помогал оправляться, бегал им за покупками на остановках... И эти 3—4 ночи проходили почти без сна. Часто не находилось места, койки все были заняты, и тогда санитар, скрючившись, дремал целую ночь где-нибудь в углу. А известно уж, какая жестокая тряска идет в теплушках. На койке лежать еще ничего, но прислониться к стене или устроиться прямо на полу — одна мука. А за больными они ухаживают, словно за родными. Не было случая, чтобы санитар не только отказался, но даже замедлил исполнить какую-либо просьбу больного,— летел по первому зову, несмотря на усталость и бессонные ночи. У нас условия работы другие, мы чередуемся, дежурим, а у них часто бывает так, что одновременно все находятся на местах, и никаких чередований устроить невозможно. И я никогда не слышал ни единого слова ропота или недовольства. Молчание — их отличительная черта. Между собой они живут удивительно дружно, и эта дружба предупреждает всякие разногласия и ссоры, которые столь естественны в скученном, тесном общежитии. Они

никогда не отказываются, не уклоняются от работы, не пытаются спрятаться за чужую спину или работать только для виду. Солдаты их любили, благодарили без конца и называли не иначе, как „господин санитар". Там, на Кавказе санитары задарены разными диковинками — персидскими и турецкими монетами, ножами, кинжалами, разными безделушками,— это все благодарные солдаты оставляли им по себе память. И расставаясь солдаты с санитарами как-то особенно дружественно и тепло говорили на прощанье много про хорошее житье в поезде, про хорошее обращение и заботу, жали руку, благодарили. А санитары всех своих больных знали по имени и фамилии и через недели, а то и месяцы помогали нам в случайных справках. Лучших санитаров, чем меннониты, не найти. Они — прирожденная доброта, ласковость и спокойная, заботливая исполнительность — качества неоценимые для санитара. И если уж рассматривать вопрос о привлечении меннонитов в войска, то с этой точки зрения он должен быть оставлен без разбора, потому что лучших санитаров не найти.

31 октября

БОЙ

Было такое чистое и светлое утро, какие бывают только в хорошую осень. А осень хороша. Старожилы не помнят, чтобы здесь, в этом сплошном и вечно слезливом болоте, была такая сухая, молчаливо-прекрасная осень. Солнце медленно и величаво поднималось над землей, озарило голубую окраину, осветило густую небесную синеву, зацеловало и зарумянило легкие пуховые облачки; потом заиграло по вершине оголенного, сухопарого леса; смело и легко рассекая полуобнаженные ветви, светлыми лучами вонзалось вглубь и там золотом и пурпуром играло на сухой пелене облетевшей листвы. Было чисто, тихо и радостно. И вдруг, словно раскаты грома, понеслись в этой светлой и чистой тишине первые зловещие орудийные стоны... Потом еще и еще... Заревели ненасытные, беспокойные жерла; словно воробьи зачирикали — мелкой дробью застучали пулеметы; словно в ладоши хлопали — били отдельные ружейные залпы. И так целый день носился ужас смерти, постепенно за-

мирая через сумерки и вечернюю мглу, пока не спустилась черная, жуткая ночь.

„Мы еще на заре были встревожены,— рассказывал офицер,— странным движением и какой-то напряженностью, которые замечались в неприятельских окопах и за ними. Лежа в окопах, больше чувствуешь, чем понимаешь, больше предугадываешь, чем знаешь, или ориентируешься в обстановке. И эти несколько минут на заре перед первыми сигнальными выстрелами были как раз таковы, что мы все невольно насторожились и ждали чего-то крупного. Наши окопы были за Медвежкой; деревня, полуразоренная и неприютная, темнела за спиной. Тут залегли полки Оренбургской казачьей дивизии, левее были стрелки. С нашей стороны активного ничего не предполагалось, и в лучшем случае мы могли удержаться в старых окопах. Пальба разгоралась все сильнее; звенели и жужжали мимо летящие снаряды; лопалось сверху — и тогда стальной дождь засыпал окопы; лопалось на земле — и земля дрожала; снаряды вонзались в песчаную землю и злобно выбрасывали целые тучи песку; зияли всюду огромные черные ямы, наподобие изящной, обделанной воронки. Тяжелый снаряд угодил в халупу, разнес ее на щепки, и эти щепки долетели к нам в окопы. Мы лежали, приникнув к земле, и каждую минуту ждали своей неизбежной участи. Стрелять было невозможно: лишь показывалась из окопа рука или голова, как с противоположной стороны начинали отчаянно трещать пулеметы и ружейные залпы. У них, повидимому, был план — не дать нам возможности двинуться с места и положить всех одним орудийным огнем. В таком ужасе пролежали мы целый день, и лишь только завечерело — дан был приказ отступить. Мы оставили за собою Медвежку, оставили Цимин и перешли Стырь. Теперь снова все по-старому. По берегам Стыри, этого крошечного Рубикона, снова vis-à-vis расположились наши и неприятельские окопы".

У ЧАРТОРИЙСКА

У Чарторийска бои не прекращаются. Они то спускаются к Новоселкам, то снова подбираются к Стыри и захватывают Чарторийскую гору. В этот день, 31 октября, с раннего утра,

неслись к нам в Рафаловку глухие звуки орудийной пальбы. Канонада наибольшей силы достигла к полудню и, постепенно утихая, совершенно прекратилась в сумерки. Мы стояли на высоком голом месте, близ Заболотья, откуда прекрасно видна была и чарторийская церковь, и Полонное, и дальние холмы, откуда неслась громовая канонада. Отсюда, с горы, были видны белые, темносизые и красные дымки от рвущихся снарядов. Блеснет, словно огромная искра, блеснет на одно мгновение, и появится дымок. Он медленно и как-то нехотя начинает расползаться, а рядом уж другой, третий... Скоро вся полоса неба от Чарторийска до Медвежки была изранена этими разноцветными ползущими пятнами дымков. Трещали пулеметы, взрывались ружейные залпы.

От Заболотья к Рафаловке дорога лесом. Только что вышли мы на поляну, как со всех сторон защелкали ружейные выстрелы. Это наши стреляли по крылатому хищнику. Аэроплан летел над самой поляной, летел спокойно, не обращая внимания на пальбу. В селении он бросил две бомбы, но попали они на дорогу, и на местах взрывов остались только две глубокие воронки — ямы. Спускались сумерки. Канонада стихала.

Вечер мне пришлось провести в теплой компании членов подрывной команды. Мы засиделись за полночь. Часа в три прибегает вестовой — казак: „Ваше благородие, скорее надо послать к мосту 3 пуда пироксилину или толу. Наши отступают, дан приказ до свету взорвать мосты". С этого времени целый час непрестанно трещал телефон. Происходили совещания. Живо собрались, дали распоряжение приготовить паровоз и пустой вагон. От Рафаловки к Полонному, где надо было взорвать мост, железная дорога только что налажена.

То-и-дело влетал Тупица, простой солдат, заведующий подрывным снарядом. По фамилии Тупица, а на самом деле умный, смекалистый, расторопный мужик. И странно было слышать от него, питомца деревни, что вот, дескать, „у меня есть 52 капсюли... шашки я заложу со своими ребятами, а то новые робеют. Прошлый раз я взрывал по горло в воде, а пули-то кругом ж-ж-ж, ж-ж-ж. Холсту я тоже захвачу, ваше благородие..." И вот все в этом духе. Да говорит так дельно, уверенно, легко, словно дело это привычно ему с самого детства. Вышли

мы. Ночь темная-темная. Огонек нырял где-то поблизости, а около него все пыхтело, дулось, шипело... Ну, вот и паровоз. Поехали.

„Значит, под'едем к Заболотью, к переезду... Ты, Тупица, беги туда и возьми казаков, зайди в штаб Оренбургской дивизии, доложи".—„Слушаюсь". Медленно, тихо пробирался паровоз с вагоном, где лежали эти ужасные 3 пуда... А ну, как треснет? К чорту, лучше не думать! Выехали, повидимому, на поляну. Да, конечно, это заболотинская поляна. А вон и огонек, словно одинокий глаз, неподвижно застыл во тьме. Далекое зарево бросило легкую туманную пелену на целую полосу неба. Теперь, миновав лес, были видны расплывчатые контуры сизых, темных и совсем черных туч. Края их стыдливо мигали, и темная бесформенная масса оттого становилась еще грознее, еще чернее. „Господа, это не зарево, т. е. не только зарево,— это неприятельский прожектор за Чарторийском нащупывает место". И мы увидели, как эти светлые, бледнолиловые полосы начали тихо-тихо передвигаться по небу. И вот справа, оттуда, с Медвежки, вдруг плавно и величественно выплывает ракета, за ней другая, третья... Она взовьется, хлопнет с легким треском и вся обольется таким чистым, немигающим светом... На мгновение остановится в вышине, а потом медленно-медленно начинает опускаться по вертикали... И светлый, яркий огонь далеко обнажает черную, неоглядную долину... Загремели как-то странно и неожиданно уснувшие орудия, засверкали в воздухе шрапнельные разрывы. Ракета как-то обольстительно плавно разрезала тьму, а шрапнель рвалась быстро, зло, грохотно. Блеснет, как чортов глаз, ухнет — и посыплется страшным дождем... Картина была величественная. Орудия гремели, и эхо далеко-далеко разносило этот гром по ночной тишине; плавали ракеты, рвалась шрапнель — и над всем этим царственно и властно играл далекий прожектор, отраженный сюда лишь бледными лиловыми тонами. И когда прожектор ласкался в другую сторону, когда умирали на мгновение ракеты и не рвалась шрапнель,— сдвигалась такая жуткая черная стена, что не было видно ни леса, ни пригорка, ни близкой деревни.

Неприятель был задержан у Цмин, на песчаной, пологой горе. В эту ночь мостов не взрывали, а под утро наши сами отошли в Полонное. Старая картина: по берегам Рубикона рас-

положились наши и неприятельские окопы, с берега на берег полетели шальные пули, изредка забавляются орудийные жерла.

31 октября

КАЗАК И НЕМЕЦ

Из разговоров с казаками мне удалось выяснить, что казак ненавидит немца, немец презирает казака. В душе же друг друга уважают за отвагу, любят сойтись лицом к лицу и искренне боятся один другого. Недавно в Камаровке,— рассказывает Петров, — нашли казачью голову, воткнутую на кол, туловище валялось рядом — поруганное, оплеванное. Приехал к нам донец, казачий офицер.

— Немца бью за то, что он немец.

— Но ведь и казака немец будет бить за то лишь, что он казак.

— А пусть! Мы пощады не просим. Дать немцу в зубы для меня преогромное удовольствие.

— Но ведь беззащитного бьете...

— Представьте, совесть спокойна... Боже сохрани поднять руку на беззащитного.— Я, казак, считаю это вечным несмываемым пятном, а тут спокойна совесть, молчит. Морду я его немецкую видеть не могу... Дело было еще весной, у Варшавы... Четыре немца лежат на соломе, пленные. Прохожу раз, прохожу два — ноль внимания. Ах, ты, думаю, собачий сын... „Ты чего честь не отдаешь,— говорю одному,— не видишь, что офицер идет?“—„Я, говорит, не обязан...“ Раз я ему по морде: „Отдавай честь, с... с!..“—„Я не обязан“. Ах, так ты не обязан — всадил ему штык в живот. Вскочили те, вытянулись, стоят под козырек... Я покажу „не обязан“, с... дети! Так-то.

Был у нас командир — в мирное время негоден, а в военное вреден, так себе старикашка с пересохлым мозгом... Идем селеньем, большой улицей... Дома высокие, заборы высокие, и со стороны уже никак нас не видно... Вдруг артиллерия открывает огонь, прицел как раз по нам. Что за чорт? Не видно, а бьют метко. Седой дурак ничего не понял, а казаки сметили: тут все из труб дымки показывались. Выгнали жителей, затихло. Потом опять, опять... Что за чорт! Глядим: дымок уж один, беленький, чуть видный. Мы туда — нет никого. Туда-

сюда — нет никого. Взломали пол — глядь: там дверь. Выломали дверь: в подвале расположилась целая семейка... На-ка, чорт тебя дери, где место-то выбрали, немчура проклятая, а все наши подданные. Всех сгоряча положили и ребят прикололи, чтобы духу не было. Ну, и затихло все: как дымков не стало, так и пальба прекратилась. Нет, брат, немца искренне ненавижу, и в морду ему дать — одно удовольствие.

10 ноября

В ТЕЛЯЧЬЕМ ВАГОНЕ

Собственно, телят там не было. Был я, четыре казака и восемь коней. А кони все матерые, и все с именами: был тут Гнедыш, была Овечка, была Матрена. Эта черная кобыла названа была Овечкой потому, что как-то совсем без звука чавкала сено; видно было только, что губы шевелятся и широко раздуваются смоляные ноздри. Огромный черный жеребец был назван Матреной больше по случайности: видите ли, у казака была когда-то любовница, такая же вот огромная и здоровая, и звали ее Матреной.

Ехали мы из Рафаловки в Сарны. Была уже ночь, и поезд только-только нагрузился, готовый к отправке. Вдруг внизу что-то гулко промчалось, а вдогонку уж бежало человек 10 казаков. Через две-три минуты они возвратились. Оказалось, соскочила корова и пустилась наутек. Теперь один уцепился ей за хвост и сзади поддавал жару, другой держал за ухо и бежал сбоку. Добежав до вагона, они, словно котенка, ухватили ее — кто за ногу, кто за голову — и живо забросили в вагон. Все притихло. Вагоны захлопнулись. Через минуту-две поезд должен был тронуться. Молодой рябоватый казак вскочил с чайником, который он держал все время над костром. Достали хлеба, разломали на куски, побросали куски на тюки сена.

— Два тюка на два дня... Разве это мыслимо? Да не укради я еще два тюка — лошади-то с голоду бы подохли...

— А украл?

— Знамо, украл... Сзади Матрены стоят...

Все мы посмотрели в сторону Матрены, но ничего не было видно за огромной черной грудью, за мохнатыми ногами... Рябой не утерпел, нагнулся и пополз между лошадиными ногами...

Он там долго пыхтел, повидимому, ощупывал и все еще не верил. Вылез молча, и странно, что никто его не спросил о результатах, словно все уже позабыли о том, чем были так заняты минуту назад.

— Пей, земляк,— протянул мне рябой маленькую кружку, до краев полную жидковатым, рыжим чаем.— Хочешь хлеба?— и он дал мне краюху черного, заскорузлого хлеба, на котором днем, я думаю, можно было найти легкую плесень.

Устроили они нечто вроде совещания: давать лошадям сено или нет? Теперь дать али до утра? И все-таки решили дать, да и совещание-то было только для виду — ни один не протестовал, даже больше того: рад был поддержать товарища, если тот заявлял, что дать надо теперь же. За этот вечер я убедился, что „казак любит своего коня больше матери",— это сказывалось во всем, даже в пинках и брани, которою охотно они осыпали развозившихся лошадей. Такой брани я еще не слыхал: из 10 слов у них 7—8 матерных, а некоторые ухитряются об'ясняться одними ими. Как зарядит, как зарядит — так одно слово и прилипает к другому.

— Эй, дай-ка кружечку...

Казак погрозил пальцем и как-то хитро и двусмысленно ухмыльнулся.— „Ну, дай, здесь некуда бежать-то, не украду..."— И что они мне ни показывали — чайник, ложку, бадью,— все было ворованное. И воруют они все это один у другого, у своего же брата: „не зевай, а прозеваю — тащи у меня". Рассказывали про одного молодца, который только что украл чашку и сел пить чай, как у него тотчас же украл ее другой, тут же, за чаем. „Нас судят не за то, что воруем, а за то, что плохо воруем, следов замести не умеем".

Поезд замедлил ход, наконец остановился. У вагона кто-то громко-громко прокричал: „Вольных чтобы никого не было!" Но они, мои случайные приятели, и в ус не подули: я остался в вагоне и попрежнему спокойно сидел в углу. Они разбили два тюка по полу и улеглись спать. Ехать было еще верст 25—30. Лошади наклоняли головы и лизали казаков по шапкам, рукавам, а то и прямо по лицу. И когда лизнет она в самые губы, казак спросонья дает ей в морду порядочный тычок и долго-долго окачивает ее трехэтажной бранью. Я уселся около двери. Сено было уже все с'едено, и теперь лошади выта-

скивали из-под казаков их душистую постель. А я им помогал выдергивать пучки сена, разбрасывал его по полу и с каким-то особенным наслаждением прикасался к теплым губам. Из широких ноздрей валил пар, и, когда этот пар обдавал мое лицо и я чувствовал, что лошадиные губы близко и вот-вот прикоснутся к моему лицу, мне делалось и радостно и жутко. А ну как эти белые, здоровые зубы вопьются в мою щеку, они захватят глаз, захватят скулу — фу, чорт! И я медленно-медленно отодвигался от теплой и ласковой морды.

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ НА СТЫРИ

У самого полотна железной дороги, на опушке соснового леса, раскинулось братское кладбище. В конце сентября мы поставили здесь первый крест на могилу молодого улана. Он умер в сумерки, в полном сознании, вспоминая молодую жену и крошку-сына. Два или три дня крестик стоял одиноким. Но начались бои; дни и ночи шли раненые, шли пешком с ближних позиций или подвозились на двуколках. И рождались одна за другою могилки; росло, умножалось братское кладбище. Теперь их более 60, и покоится в них до 150 человек. И кого, кого тут только нет: лежат казаки, лежат уланы, драгуны, пехотинцы, австрийские стрелки, немецкие офицеры... Тихо на кладбище. Только ветер качает сосновые ветки и сбивает на могилы белые, пуховые снежинки. В воздухе стоит переливающийся орудийный гул и настойчивый, торопливый пулеметный треск. Какой-нибудь сермяга сосредоточенно и упорно копает мерзлую землю, как-то любовно охорашивает свежую могилу, а через два-три дня поглядишь,— и его уже несут на братское. Может быть, именно поэтому, находясь в постоянном ожидании собственной смерти, эти серые люди проявляют так много нежности над братской могилой. Обравняют, огладят ее, утычут зелеными сосновыми ветвями; если есть иконка — поставят ее в глубокую дощатую нишу; на белом, словно обточенном кресте напишут свои простые и ласковые слова:

„Мир праху твоему, дорогой товарищ!

Вечная память герою!“

Таких кратких, сжатых надписей большинство, но есть и более пространные:

„Здесь покоятся товарищи. Пали смертью героя“.

„Мир праху вашему, любимые товарищи!“

„Пал героим дорогой товарищ! Спишь ты, дорогой товарищ, на братской могиле вместе с товарищами своими. Задачу священную ты решил, и жизнь твою ты отдал, память героя навечно заслужил. Спи, дорогой товарищ. Мир праху твоему!“

Долго сидел солдатик перед этим крестом, слюнявя чернильный карандаш свой и букву за буквой выводя товарищескую эпитафию. Морщинки креста поглощали отдельные извивы букв, но солдатик снова и снова неутомимо поводил слюнявым карандашом, пока весь текст не сделался отчетливым. Тогда он встал, перекрестился, поклонился могиле и медленно побрел с кладбища. А рядом поставили скоро другой крест, и другая любящая рука запечатлела на нем печальные ласковые слова, что-то вроде плача из надгробной народной поэзии:

„Спи, дорогой товарищ. Ты свое горе перенес. Оставил жену молодую и детей своих. На твоей могиле соловушко поет, домашние вести он тебе несет.

Вечная память, дорогой товарищ. Мир праху твоему!“

„Улан Андрей Никонов Табашев, павший смертью храбрых, защищая родину“.

Написано простым карандашом, огромными угловатыми каракулями. Дальше несколько безыменных могилок, где написано только „Вечная память“, а с краю могила того улана, которого похоронили мы первым на этом кладбище. И на широком сосновом кресте, словно мелким бисером,— отчетливым печатным шрифтом выведен надгробный стих:

„А в окна церкви льется пенье,
Звучат священные слова,
Что нам не страшны смерть и тленье,
Что память вечная жива...“

Только не было церковного пения на похоронах молодого улана. Поп тихо и внятно выводил „вечную память“, и в сумерках чудилось, будто кто-то стонет и жалуется; а рядом у могилы стояли четыре солдата, два санитара и две беженки, горько плакавшие по чужому, незнакомому человеку.

„В БЕЗВЫХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ“

Солдат воротился в побывку и рассказывает:

— Мы жили, брат, богато, во втором классе: я с барином да разная там мелочь — писаря, машинщики эти различные, телефонщики... Мы всей там артиллерией заведывали: хотим дадим пушку, хотим нет...

— А вы кем были?

— Я?.. Я, значит, помогал — в денщиках стоял...

— А ты, брат, расскажи лучше, как тебя барин-то колотил, чтобы врал меньше,— прошипела сзади пьяная октава.

Солдатик сразу бросает сосредоточенный тон и весь оживляется:

— Бить он не любил, а горяч был,— это правда; положим, и бил — скрывать не стану, даже можно сказать, и часто бил — потому, ежели что не так, ошибешься, ему не по нраву,— он уже и норовит в морду дать... Так вот я и говорю: повадилась к нему в эту проклятую купу ходить денчонка. Ходит и ходит — отбою нет. И прогнать нельзя — потому к нему ходит. И как она проскочила в тот день, я уж и не видал... Только несу я это барину кофею: в одной руке, значит, стакан, в другой — блюдка с сухарем. Открыл дверь. Ах, ты, чорт тебя е'ешь!— сидят да целуются. Им бы должно стыдно, а я сам не знаю, куды глаз деть. Оно как я вошел да приметил — живо полуоборот налево и прямо к господской шашке; и будто вдак ничего не видал и не слыхал — вслух начинаю разговаривать: „Да, грязна у их благородия шашка, надо будет чистить“... А и чистил ее только в этот день поутру.— „Я тебе, мерзавец, вот начну сейчас чистить. Пошел вон! Ты должен стучать сначала в дверь... Э... рожа, сразу захотел шашку чистить: то не дозовешься, а то на дне два раза“.

Ну, ладно: стучать — так стучать. Только постучал я ему утром по делу — он мне и стукнул: „Ты что, говорит, в конюшне, что ли, возишься? Не знаешь — барин спит“... Я уж и не знаю, что делать. А тут как-то раздел его да забыл вынести сапоги. Вот утром и думаю: вычистить надо непременно, потому ежели не так — будет бить. Ну, а как их выудить оттуда? Ежели войти потихоньку — „я — скажет,— что тебе го-

ворил скотина? Ты скоро научишься стучать?"— и в шею даст. Ежели постучать, а на грех спит, да разбудишь,— спросонку наклеет непременно. Ну и што же тут, братцы, делать было? Так я уж через открытое окно изловчился, только высоко да боязно, ну, мол, ежели да проснется — непременно, как собаку, подстрелит, потому всегда револьвер под подушкой содержал... Ничего, минуло...

— Ну, вот это сподручнее слушать, а то: хотим — пушку дадим, хотим — не дадим...

3 декабря

ДЕТСКИЕ ПИСЬМА

По тому, как отнеслись и относятся дети к войне, их можно разделить на четыре категории, на четыре характерных типа. Одни по-старому продолжают мотаться по кинематографам и ожесточенно спорят о том, кто шире и смешнее размахивает руками — Глупышкин или Макс Линдер; кому справедливо и кому несправедливо вчера поставлена двойка и т. п. Этих война как бы и совсем не коснулась, они часто задают ошеломительные для своих лет вопросы, и, стыдясь незнания, однакож, не сделают ни одного шага для того, чтобы узнать; задают вопросы как-то нехотя, лениво и ответы или вовсе не слушают или слушают лениво, рассеянно, быть может, давно уже позабыв свой вопрос. Это — ленивые, равнодушные дети, которых от сна пробуждают только заушники или подарки.

Другой тип — более подвижной, более трудолюбивый и интересующийся, но столь же нерешительный и боящийся осложнений, как и первый. Дети этого типа любят втихомолку прочесть газету, даже заглянуть на карту, но ни в коем случае не выдвинуть после своих знаний, не заспорить с кем-либо,— они словно проглатывают все, что знают. Но они — участники кружков, собраний, заседаний, где обсуждают, „как можно помочь солдатику, как собрать ему белье" и пр. и пр. Они разносят по лазаретам книги, старое платье, покупают раненым папиросы, спички, ландрин... Они издают иногда свой ученический журнал — эдак раз или два за месяц,— и деньги идут на помощь раненым солдатам.

Дети третьего, или лучше было бы сказать для последовательности — четвертого, типа — это в высшей степени активные, незадумывающиеся, решительные смельчаки, среди которых так много кандидатов на общественных деятелей, каторжников и попросту на дно. Они мало разбирались в газетах, мало ими интересовались, зато слышали все, что говорилось кругом, участвовали и громче всех горланили решительно во всех манифестациях, а после, задыхаясь от волнения, вдвоем или втроем вырабатывали план побега. Вначале это было можно устроить очень легко и они добирались благодаря ловкости и смышлености именно туда, куда хотели. Они приставали к солдатским полчищам и бежали за ними, словно дворовые собачонки. К ним обыкновенно скоро привыкали, без них даже скучали. В одном из кавказских полков перебывало до 40 мальчуганов,— многие из них георгиевские кавалеры. И этим юным кавалерам удавались зачастую такие дела, которые, очевидно, взрослому были бы не под силу, а ему сходили с рук. Об'явится мальчуган беженцем, высмотрит все, что нужно, и, пользуясь слабым дозором, упрыгнет к своим, как кошка. Но здесь, на западе, и такие „георгиевские кавалеры", которые попросту стаскивали кресты с убитых настоящих георгиевцев и ничтоже сумняшеся прицепляли их себе на грудь. Попадались.

Рассыпались дети по отрядам, по санитарным поездам, но здесь их берут неохотно и большая часть их все-таки при полках.

Но есть еще один промежуточный тип между детьми тыла и этими активными, незадумывающимися смельчаками. Дети этого последнего типа сразу даже и не поверили, что они могут на что-либо пригодиться, представляли себе побег как дело колоссальной сложности, а может быть, у них даже и мысли о побеге не зарождалось. Они заволновались только теперь, когда узнали о детских подвигах на передовых позициях, когда у них захватило дух от мысли, что и они могут оказаться такими же героями, что и о них будут писать, их портреты будут помещать в журналах. Они не представляют себе, конечно, жизни передовых позиций, или, точнее говоря, представляют ее фантастически, и потому, чем дальше думают, тем сильнее горит фантазия, тем неудержимей влечет их туда. И не потому они так долго молчали, что боялись чего-либо — нет, они просто самое дело представляли себе неосуществимым.

„Я уже много месяцев думаю об этом,— пишет один,— и теперь пришел к решительному заключению, так что, если не поможете, то я сам убегу". И дальше он довольно витиевато распространяется о тяжелой жизни в тылу: „Эта жизнь не только скучна, но и тяжела. Такая атмосфера сдавливает мое сердце". Он уже представляет себе и ужасы, представляет, как будет тяжело, как придется реагировать: „Я знаю, что тяжело мне будет смотреть на все, что будет меня тогда окружать, но я все перенесу". Другого, которому шашка совсем не по силам, мне пришлось убеждать, что в кавалерию он ни в коем случае не подходит. И вот он мечется по лазаретам, чтоб там поработать как-нибудь неделю-другую, а потом, запасшись знаниями и уменьем, перебраться работать на позиции. Он прислал мне письмо, где справлялся о количестве раненых, о свободном месте, о способе перебраться в окопы. „Мне все равно, что делать, совершенно все равно, только быть бы там. Мне хочется жизнь свою положить".

Зачем ему хочется жизнь свою положить — бог его знает. Я так думаю, что не смерти, а геройства скорей ему хочется, этого бесформенного, фантастического геройства, за которое сложено так много и бесполезно молодых жизней.

ВШИ

„Лежать в окопе ничего бы, да вша проела",— говорит солдат, и он борется со вшой, как и с другими невзгодами — с холодом, голодом, с болезнью, с опасностью... Выдумывает способы один за другим, один другого оригинальнее. То шпарит одежду кипятком, то закапывает ее в снег, то бьет ею с размаху о камни, то дерет ее лошадиной щеткой. „И ништо ее не берет, проклятую, ни жарой ее, ни холодом не побьешь",— говорит бедный солдат, когда на другой же час после встряски вша начинает гулять по телу. Дело доходит до нервности и до большого раздражения, когда солдат начинает ругать на чем свет стоит всех и вся, проклиная свою солдатскую долю. И бывают такие случаи, когда борьба со вшой разгорается почти в бою. Как-то пришлось мне быть в окопах на Стыри. Окопы наши — у Маюничей, неприятельские — на другой стороне реки, у Козлиничей, и расстояние между ними сажен 600—700. Была

перестрелка по случайным перебежчикам с места на место. И вот один австриец возмутительно и изумительно спокойно идет в деревню от кладбища, а место высокое, открытое, так что подбить его ничего не стоило. Ни выстрела, молчат наши. Офицер послал живей узнать, почему наши не стреляют. Вестовой прибежал, взял под козырек и торжественно об'явил: „Заняты были, ваше благородие... Вшей ловили, а потому не видали его".

Крепко выругался офицер в ту минуту, а потом рассмеялся, вспомнил верно, как сам в землянке сидел полунагой, пока денщик выбивал ее, проклятую.

А вот еще случай. Вхожу в теплушку и вижу, что сидит в углу полунагой солдат и чего-то ищет в одежде. Больные у нас были на ту пору рассажены по частям, были и в одиночку, с подозрением на заразную болезнь, так что я не особенно удивился, застав его одного.

— Ты что тут сидишь? Больной?

— Никак нет...

— Ну, а что ж?

Молчит. Поднял голову и, не глядя на штаны, ловко выбирает оттуда какие-то крошки и выбрасывает их на пол.

— Ну, как же ты попал сюда, что делаешь?

— Я со вшами, ваше благородие...

— Ловишь?

— Никак нет...

— А что?

— Бью их...

Я рассмеялся и ушел. Через полчаса, приблизительно я снова заглянул в теплушку, и солдат, все так же согнувшись, сидел над штанами и рубахой, выбрасывая оттуда заклятого врага.

У КОСТРА

Сидят казаки у костра и перебирают всякую всячину.

— А дорого все, — вздохнул один.

— Э-эх, дорого, — вздохнул другой.

— А все потому, что народу помабрато много.

— Много... Да што уж говорить — ему бы молоко пить, а его сунут в окопы. Какой он вояка? Ну, и помрет, как муха...

— А вот эту сволочь-то не возьмут, полицию,— злобно проговорил рыжеусый казак со свирепым, пропитым и отчаянным лицом.

— Кого надо оставят, небось, не промахнутся...

— А в Москве их бьют, каждую ночь то двоих, то троих прикроют...

— Да...

И откуда пришли к ним эти московские убийства — бог весть, но говорили они об этом уверенно и смело, как о всем известном факте. Замолчали. Сбоку сидел тут солдатик; он все время молчал и теперь оборвал это молчание первый:

— А далече до Стыря?

— Двенадцать верст...

— Не двенадцать — восемь,— поправил другой.

— Оно — где пойдешь,— сказал свирепый:— если полем, так и пяти не будет...

Замолчали.

— Пора бы, кончить надо...— сказал рыжий...

Никто ему не ответил. Сидели молча и тонкими прутьями колотили уголья; другие, опустив головы, о чем-то думали.

Я не понял сразу, к чему он клонит разговор.

— Побаловались, и ладно,— продолжал он через минутку,— всех уж перебили...

— Мало осталось, скоро опять свидетельствовать будут... Все запасы разобрали,— как-то внезапно и оживленно заговорил другой казак, снимая шапку...

Он замолчал и вдруг злобно ударил хлыстом по углям... Искры полетели во все стороны, но никто не шелохнулся... Опять умолкли. И в этом молчании чувствовались тоска и усталость постоянного, нескончаемого ужаса войны.

Рафаловка, 5 декабря

ДЕТИ У ПОЗИЦИЙ

Они кружатся здесь всюду, не сознавая, не видя опасности. Убегают от родителей в свои родные деревни, а деревни под обстрелом; бегают по рельсам, щупают паровозы, играют найденными осколками, капсюлями неразорванных бомб. Недавно привезли в глазную больницу двух мальчиков-поляков; они наш-

ли капсюль, стали колотить его и в результате дождались взрыва. Одному оторвало два пальца, обожгло все лицо и повредило глаза, другому выбило глаз.

Пас мальчуган скотину. Налетел аэроплан, и одна бомба ударила по стаду. Коровы лежали, и потому только одну убило и одну ранило, а мальчугану пробило ногу. Его принесли к нам дрожащего, белого, как снег; глаза были широко раскрыты, и было в них видно изумление и застывший ужас; из ноги выше колена, сквозь грязные штанишки просачивалась кровь; руки беспомощно были раскинуты по сторонам. Он не кричал, и можно было подумать, что он совершенно спокоен, только изумленные широкие глаза говорили о другом. Чувство ужаса и растерянности было настолько огромно, что на первое время совершенно заглушило боль от раны. В другое время батька с маткой привели к нам своего сынишку, лет 4—5. У него была замотана в какие-то тряпки левая кисть. Когда мы развернули тряпье, потянуло гнилью, видно было, что рана не свежая. Ребенку оторвало четыре пальца и разбило почти всю кисть до самого сгиба. Случилось это все во время бегства из деревни, когда неприятель уже открыл по ней артиллерийский огонь, но матка никак не хотела направить ребенка сюда, боясь, что мы увезем его с собою и никогда больше не отдадим,— она уже слышала о том, что раненых или заболевших детей эвакуируют наравне с прочими и поняла, конечно, по-своему. Эти несколько дней она мазала рану каким-то снадобьем, но так как тряпье присохло и мальчуган орал благим матом, когда она пыталась его оторвать, то матка просто выливала ему на кисть лекарство и тотчас укутывала новым тряпьем. С трудом мы сняли присохшую, заскорузлую тряпку, и перед глазами встала такая картина: три пальца были оторваны начисто, и на месте их зияли глубокие раны, терявшиеся в раздробленной кисти; указательный палец еще мотался, он уже почернел, подернулся какой-то плесенью и каждую минуту готов был отвалиться сам по себе. Была масса мелких косточек, торчащих во все стороны, и, словно маслом, смазанных клейким, скользким гноем. В гною была вся кисть, гноем склеены были отдельные кусочки растерзанного тела, гноем были спаяны косточки, как иглы, торчавшие из глубины красно-бурой, сморщившейся раны. Сделали, что было можно, и

предложили матке переправить ребенка в Киев. Она отказалась наотрез, и уже сквозь слезы все причитывала, как ей тяжело будет с изуродованным ребенком. Так и не удалось ее уговорить. Два-три дня приводила она мальчика на перевязку, потом перестала. Может быть, пристроилась к другому отряду, а может мальчик умер,— у него уже были признаки зарождавшейся гангрены.

ИЗ ЖИЗНИ ПЕРСОНАЛА

Большая близость между персоналом создается обыкновенно на почве протеста, на почве создания оппозиции врачам.

Так было на Кавказе, так здесь. Мы были как-то безразличны друг к другу помимо общей работы,— в частной жизни каждый занят был своим делом. То-есть дел особенных, пожалуй, и не было, но у каждого были свои любовные дела, и на это уходил досуг, а иногда и не только досуг. На этой почве создался и конфликт. У нас было положено в эту сферу не вмешиваться, оно бы так и шло, так оно и должно итти, но лишь до тех пор, пока не страдает общее дело. А тут получилась фальшивая картина. Врачи перестали работать, занятые своими частными делишками. Одна даже возмутительно демонстрировала свои похождения: целые дни прогуливалась под ручку с офицером по платформе, а на станции в это время кипела горячая работа. На нас указывали пальцами, нас то-и-дело спрашивали: „Где же ваши врачи? Почему вы одни работаете?“ Дело кончилось тем, что нас прогнали из Рафаловки. Правда, все было обставлено иначе, иначе было мотивировано: „нужно, дескать, разгрузить станцию, освободить пути, потому что замедляется подвоз снарядов и провиантов и проч. и проч.“. Но все мы понимали, что это лишь официальное оправдание нашего изгнания, на самом же деле мы пострадали совсем за другое. Тут-то вот и вышла размолвка. И эта размолвка сблизила персонал. Мы уже чувствуем себя товарищами, наполовину мы на „ты“, мы связаны общим делом. И жизнь, частная наша жизнь просветлела. Стало легче и веселее.

РАБОТА ЛЕТУЧКИ

У нас, собственно, нет определенной работы, т. е. нет той строгой грани, какая имеется, например, в работе отряда,

лазарета, санитарного поезда. Одно время мы работали в Полицах в здании станции, и тогда работа была исключительно перевязочная, другое время мы только перевозили их до Сарн, не дальше, и необходимую помощь оказывали по пути; теперь же, когда притихли бои и раненых нет, мы перевозим больных — и каких больных! Ужас берет, когда подумаешь, в каком аду непрестанно кружишься. На днях, например, в Коростень пришлось переправить сыпных, брюшных, венериков, оспенных, скарлатинных, чесоточных и рожистых. Все это за один раз — от одного ужаса к другому. Рожистые прямо страшны в своих белых повязках, где сделаны отверстия только для глаз, носа и губ. Войдешь ночью в вагон — и в полумраке, словно привиденья, они протягивают руки и просят о помощи: то поправить упавшую повязку, то помазать просят. „Да чем я вам буду мазать, ребята?“ — „Все равно чем, только помажьте, г. фельдшер“.

Между прочим, я замечаю, что здесь ни один больной за все время нашей работы не обмолвился „братцем“, тогда как на Кавказе это было обычное явление: зовет или доктором, или фельдшером, а женщин, в том числе и врачей,— всегда сестрицами, повидимому, не подозревая того обстоятельства, что имеются на свете, кроме мужчин, и женщины-врачи. Выехали мы из Сарн поздним вечером, близ полуночи, и в Коростене были утром часов в 8. Разгрузили быстро, быстро и продезинфицировались, но эти ужасные железнодорожники считают священной обязанностью продержать лишние 10—12 часов. Кстати о дезинфекции — дрянная штука, не то, что на Кавказе, где вагон держат минут 30—40 под паром, рассеивающим формалин. А здесь попросту побрызгали серно-карболовой водой — и конец. В Коростене образовался целый городок из заразных бараков. Теперь там тысяч до 2 эпидемических больных. Бараки стоят лицом в поле. И что за поле — красота! А тут еще снегом запорошило, да пурга поднялась,— так и тянет в себя. В кучу сложили грязное сено из матрацов и зажгли. Я пошел на огонь. И вот из пурги донеслось ко мне жалобное пение. Всмотрелся: едет телега, впереди поп, сзади человека 2—3 шагают, словно тени. Везли хоронить какого-то беднягу. И так мне сделалось грустно от всего — и от этого жалобного пения, и от пурги, и от моей собственной тоски. По чему тоска?

А бог ее знает — так вот пришла и зажала в тиски, а тут еще этот покойник... Подошел к вагонам. Девушки копали ямы для столбов; на этих столбах будут укреплены настилки, чтобы удобнее подавать и принимать больных. Девушки копают, копают молча, только разве очень уж резвая поднимет голову, окликнет подругу из дальней ямы, а сама наклонится и спрячется в яму, будто и не она крикнула. Возле ходит старичок-надсмотрщик. Мы разговорились. Оказывается, копают они таким образом целые дни, от 7 до 5, до того времени, как смеркнется, час имеют на обед и получают 40 коп. в день. „И это еще слава богу,— сказал старичок,— а то все по пятналтынному платили, и то шли,— есть надо, господин хороший". Но горе еще, пожалуй, и не в том: девушки все здоровые, кое-как могут проколотиться на 40 копеек. Беда в том, что все они теряют свою чистоту, и нет той девушки, которая при всем своем нежелании не отдала бы ее насильнику. В начале декабря в Коростене 14 солдат один за другим наспловали 15-летнюю девочку. Бедняжка умерла, а дело, кажется, замялось. Беженки все время кружатся возле солдат, а те, изголодавшись по телу, берут и по воле и силой — как придется, благо тут судить да рядить некому. И страшно подумать, какими вернутся они после войны в свои деревни, сколько внесут они разврата, привыкнув к этой свободной, сладострастной жизни. В деревне уж долго-долго не будет прежней чистоты.

За этими мыслями застал меня подошедший паровоз. Из местечка подали на станцию. Ну, теперь скоро едем. Уже подан был экстренный отзыв, получен был воинский билет,— словом, все было готово к отправке, а мы к тому же поустали, и вот часов с 5—6 зарядились мы все крепким сном. Разместились мы на 2 нарах — 13 человек санитаров и я. Заснули скоро и крепко. Просыпаюсь — светло. Только вижу, что это не от солнца свет, а снег заблестел от светлой ночи. Стоим. Ну, вот и прекрасно. Соснули — а тут и в Сарны приехали. Вышел я из теплушки и побрел на станцию. И вообразите вы мою злобу, когда вместо Сарн вдруг читаю „Ко-рос-тень..." Ах ты, чорт тебя раздери! Я и плевался и ругался вслух. Влетел со злобным лицом в дежурную и отпалил дежурного. И удивительное дело: через полчаса нас тронули, и скоро благополучно добрались мы до Сарн.

1916 г.

9 января 1916 г.

МОЯ БОЛЕЗНЬ

Попал я в Алексеевскую больницу под Новый год, и встретили мы его по-хорошему. Был устроен концерт: музыка, пение, был и рассказчик. Но всего занятнее был фокусник. Правда, я не видел ни одного фокуса, но, судя по общему смеху и по частым возгласам удивления, было занятно, весело и непонятно. Весь следующий день только и разговору было, что о фокусах. На все лады обсуждали и догадывались о тайнах фокусника, но толку было мало, и все догадки лопались от самого простого вопроса, который задавался каким-нибудь полуслепым скептиком-слушателем. Были на концерте и совсем слепые,— тем доступны были только звуки, и тем жаднее ловили они эти звуки, а после о них всего больше толковали...

В нашей палате помещается 8 человек: поп из монастыря, к которому все относятся со вниманием и уважением; Максимов — чудак и миляга, я, дедушка Федосьев, дядя Тетерев, Зарайский, Миша и Петруша Васильев. Особая дружба завязалась между Зарайским и Мишей — такая дружба, что всем пожелать.

Миша работал по электротехнической части, за войну был и в автомобильной и в авиационной командах. Приехал домой, стал продувать самовар, да и опрокинул его себе на голову. Лицо поправилось, а глаза еще не смотрят, но доктора обещают, что кончится все хорошо. А Зарайский и сам не знает, отчего приключилась у него беда. „Верно, с натуги", соображает он. Был Зарайский ломовым извозчиком, не дурак был выпить, любил и почитать. Зарайскому лет 35, росту он среднего, голова русая, круглая, голос хриплый и растяжистый.

Мише года 23—24, лицо белое, волосы черные. Характера мягкого, покладистого и сходчивого. Зарайский краешком

одного глаза кое-что разбирает и потому считает святой обязанностью помогать Мише в походах. Делает он свое дело с разговорцем и с торжественным спокойствием. Поговорить такой охотник, что был бы, пожалуй, и невыносим, если б не милый его характер, которым как-то все извинялось. И вот после концерта улеглись мы усталые, с раздраженными на свету глазами. Каждому хотелось скорее на покой. Поговорили за раздеванием, легли. Прошло минуты две.

— Миш?

— Что?

— А как это он кошку-то из сундука вытащил... а? Миш, а?

— Да...

— Нет, ты посуди сам: пустой ящик, да и не ящик, а, к примеру сказать, ящичек, эдак негодящий, совсем маленький, и представьте себе — кошку... Это ведь, сказать бы, это, Миш, не палочку вытащить, а...

— Да...

— Али голубя... Так эдак голубок настоящий, что вот летает, не то, чтобы там подделка какая, сказать, например, игрушка какая, а ведь живой, трепыхается в руке-то у него, живой.

— Живой...

Миша закутался с головой, укрылся, притих. Зарайский сметил, что товарищ спать хочет, и тоже умолк. Лежал на боку, перевернулся на спину. И видно было, как бодро он покручивал рыжие свои усы, в полной готовности к разговору, в полной настроенности к спору и пересудам. Говорить он мог сколько угодно, с кем угодно и на любую тему. На все у него находились разные полузабытые истории, рождались воспоминания; если же нехватало этих орудий разговора, он со всего плеча пускался в философские рассуждения. А рассуждать была у него большая способность, и первооснову всяческих рассуждений он уловил вполне: сказать много и не высказать ничего. Он никогда не досказывал ни мысли, ни фразы; оставался всегда такой кончик, такой крючочек, за который легко можно было уцепиться и продолжать разговор, несколько отклоняясь в сторону и всегда имея как бы в резерве основную тему разговора. От первой веточки он мог пустить вторую, от второй — третью,

и тогда не предвиделось конца-краю обсуждению этих двух веточек и главной, запасной темы. Он говорил с расстановкой, нельзя сказать, чтобы медленно, но и не быстро, повторяя по нескольку раз одно слово, а иногда и целое предложение. Истинная радость отражалась на лице его, когда кто-либо из слушателей брякнет неосторожно „что?“ Это „что“ служило как бы сигналом к новому нападению и в то же время было ручательством, что речь его слушается, и не просто слушается, а со вниманием. Раз услышав „что“, он разгорался и начинал почти что сначала, повторяя все до мельчайших точностей и ловя в то же время по пути новые соображения и новые припоминания. Тут уж совсем заробеешь и готов бы, кажется, тысячу раз отказаться от неосторожно сорвавшегося слова, но уж поздно: поток льется и шумит, не уймешь его, не удержишь. Виделось, что в этом непрерывном разговоре вся его жизнь, скудная впечатлениями, скучная по нутру. Тут он отдыхал, радовался за себя, радовался за других. Да за других он и всегда радовался: душа у него мягкая, любящая, дружественно ко всем настроенная. Когда он слышал, что кому-нибудь легче, что был вот человек обречен на слепца, а теперь прозревать начинает,— губы его как-то невольно и быстро начинали шептать: „Ну, вот и слава богу, вот и слава богу“. А потом уже начинался настоящий разговор:

— Шутка ли остаться без глаз... Это ведь, так сказать, дескать, хоть бы там что-нибудь видеть, ну там одним бы глазом, что ли, на свет-то, дескать, божий, взглянуть-то бы, а то ведь ты что? Ну, что ты будешь, да и куды же ты годишься, дескать, там работать, что ли?.. Оно и не только, сказать (дескать), работать, видите ли, черную работу али там на станке, портным бы, што ли, да где же вы тут увидите нитку аль иголку, а ведь штаны сшить — не баловаться, тебя посадят, да и сами посудите — кто же их захочет носить, эти штаны, там, без кармана бы али не так простроченные, а теперь ведь их и делают-то по-другому, идешь, словно картинка разрисованная, а не то, что, там, сшитые неправильно...

И он, бесконечно разветвляясь, успевал коснуться в своем разговоре многих и многих сторон жизни, цепляясь за слово, иногда за смысл, иногда просто за созвучие, за возможную

рифму, за какую-либо непостижимую ассоциацию. Например, разговор о картах мог одновременно вызывать разговор и о карте военных действий и о картофеле; он стал бы об'яснять, что „есть вот хотя бы слово „картофель“ и хотя бы там имеется разговор о картах, при самом-то, мол, начале, но карта тут совсем ни при чем, это вот, что в козла мы заряжаемся, это не то, тут своя статья“. Таков Зарайский. Три года пролежал он в доме умалишенных, где играл в шашки с дьяконом, вскакивавшим по ночам с багровым лицом и засученными рукавами и начинавшим ловить чертей. „Ну, а я думаю: постой, батя, на меня не наскакивай,— говорил нам Зарайский,— чертей лови, а меня не трожь... А детина во какой — что плечи, что грудь, и высота эдак — мало-мало вот до потолка-то не стукнется. Ну, а, известное дело, раз я сам многие годы ящики да мешки таскал, — так, значит, оно и я, тово, здоровый... Приготовляюсь, стою. Не тронет ничего... А все же оно бессонница, ночи-то я не сплю, да и болезнь моя была мания преследования, а дьякон-то хроник, разные галлюцинации — я и стал проситься, дескать, вон оттуда; отпустили, а тут вот ящик с яблоками, антоновка была, первый сорт — ударило меня по голове, да еще благодаря бога плашмя — глаз-то и залился — черный сделался, а потом и другой заболел“.

Так вот этот Зарайский и перевернулся тогда с бока на спину. Миша, верно, заснул, а может, и затаился. В палате была гробовая тишина. Прошло минут 5—6.

— А не понял я все-таки, Миша, откуда она, кошка-то, взялась, а?

Миша не ответил.

— Али заснул, ну спи-спи, бог с тобой.

Он вздохнул несколько раз под ряд и больше уж не покушался к разговору. Миша — парень тоже с товарищеской жилкой, на Зарайского он не обижается и молча, иногда через силу, слушает его повествования, а Зарайский уже коли возьмется говорить, так не упустит слушателя ни в водах, ни под землею. Однажды была такая картина: вхожу в уборную и вижу Мишу на крепком месте; оперся он обеими щеками и такую пустил музыку, что святых вон неси; сидит и голову опустил,

а перед ним на корточках сидит Зарайский и продолжает давно-давно начатую сказку... Картина была трогательная: Зарайский вздыхал, повертывался на корточках и похлопывал изредка Мишу по голым коленям, когда требовалось внушить особое изумление. Начала я не слыхал, не слышал и конца, только знаю, что два дня рассказывал он Мише, как „богатейший офицер, не то, чтобы там шваль какая, а, можно сказать, тысячник, милиенщик — и, дескать, эту самую царевну прямо на конях в деревню... А что ж деревня — известно: поселок, вот тебе и вся тут деревня... Ну, известным, образом, молоко, яйца, там, сметана, творог, хлеба достали, короче говоря — поели... И дает он старухе, дескать, короче говоря, не гривенник, не пятялтынай, а 50 полковых... Известно, наша старуха, чтобы ну так себе, ни за что, да посудите сами, где ж тут за молоко, ну еще там сметана аль что — да где же тут 50 полковых... А он не то, не берет, так старухе и осталось полсотни... Ну, запрягли, там, коней...“

Тут я ушел за папиросой и минут пять задержался в палате, а когда вошел — картина была уж несколько иная: Миша поднялся, и Зарайский обхаживал его, не переставая рассказывать: „...номер... так, а где ж было остановиться?.. Лучшую самую комнату, бархат кругом, золото, — да возьмем вот, к примеру, наш „Метрополь“; и он, значит, эдакий номер, ну что же ему стоит — отдал за него тысячу рублей в сутки, а ей разных платьев...“

Тут они вышли, и сказки я уж больше не слыхал.

На следующий день, в Новый год, снова был концерт. Ставили три пьески: „Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет“, „Дорогой поцелуй“ и „За компанию“. Больше всего понравилась последняя, но уже ясно было, что впечатления предыдущего дня были неотразимо сильнее. Было тут и пение и рассказчик был, но разговора о вечере уж не было, а если и затевался, то отрицательный. Пришли, улеглись. Долго лежали молча, как-то не хотелось доказывать, что было и скучно и неинтересно. И вот из тьмы раздается голос Зарайского:

— Миш, а почему Александра Невского Невским звали?

В какой комбинации пришла ему эта мысль — одному богу известно, только теперь я уж не удивляюсь особенно, если

за разговором о глазных болезнях после более или менее продолжительного молчания он вдруг спрашивает:

— А кто это, Миша, Италию-то об'единил?

— Гарибальди... Джузеппе Гарибальди...

— А, Гарибальди... Да, вот человек, Миш, а?

— Да...

На вопрос об Александре Невском Миша путем ответить не сумел, пришлось поправить. Вопрос уж был порешен, но тут в разговор проник дьякон, дядя Тетерев:

— А кто же вот знает, каким образом Георгия Победоносца Победоносцем назвали?

Никто не нашелся ответить. Тогда дядя Тетерев обстоятельно рассказал нам о двенадцатиглавом змие, питавшемся людьми; о том, как жребий пал на царскую дочь и как эту дочь спас Георгий Победоносец, зарубивший змия. Правда, совершенно неясно было происхождение самого слова „Победоносец", но уже никто не спорил, а пожалуй, и не догадывался, что на главный-то вопрос дядя Тетерев все-таки не ответил...

ДЕГТЯРЕНКО

— Молодой еще совсем, красивый, верно, был парень.

— Какие были глаза-то?

— Карие... Кари очи, где же вы скрылись?

И сказал ведь без особой скорби, по голосу его никогда не узнаешь — голос твердый, решительный, неотразимый. Когда он говорит, чувствуется сила огромная и большая душевная чистота. Хочется сразу подойти к нему поближе и набраться, до одышки наглотаться его спокойствием и веселостью, а он всегда удивительно спокоен и весел. Поражаешься, как можно быть веселым в таком положении. Другое дело, если глуповат бы был, а то сообразительность и меткость выражений удивительно свежи и точны — ум несомненный. Росту Д. высокого; стройная, гибкая красивая фигура; ходит, откинув грудь вперед, и повторяет свое неизменное „правильно". Это „правильно" пришлось по вкусу всему лазарету, и услышать его можно во всех концах. Призван был Д. в первую голову — 18 июля 14-го года; целый год был невредим, и вот 14 сентября с. г., как раз в воз-

движение, пробила ему вражья пуля левый висок; левый глаз был выбит окончательно, а правый вытек вскоре за левым, и остался Д. без глаз. Теперь он перевязан под оба уха и с палочкой пробирается к уборной, непрестанно повторяя: „правильно“, „правильно“...

Когда он был уже ранен, в поезде повесили ему георгия.

„А я все никак не верил,— говорит Д.,— что глаза пропадут. Ну, хоть один, думаю, да останется, хоть кончик, да останется, ан ничего и не осталось. Правильно...“

Родом он из Екатеринославской губернии, работал все время в каменноугольных копях. Об'явилась трогательная подробность: в шахтах лошади живут круглый год и только в пасху поднимаются на свет божий; под землей они задичают, и потому на земле да на свету пугаются и зверя и человека. Службу он хвалил, не жаловался ни на удушье, ни на тягу, а может, это уж только потому, что слишком дорогое невозвратное воспоминание. Любил ли он — вот вопрос. Только трудно до души добраться — молчаливый, целомудренный он парень, попусту, кажется, не привык раскрываться. Горя на нем не видно,— глубоко ушло оно, не показывается наружу. Хватает даже силы острить над собой. „Сторонись, заколю!..“ кричит он иногда, размахивая палкой, или, указывая ею куда-нибудь в стену, серьезно спрашивает: „Эй ты, чего там шаришь в шкафу, что, думаешь, не вижу, что ли?“ Удивительное дело: такое же спокойствие и веселость наблюдаю я и у другого слепца, красивого юноши Варобкина. Всегда-то он ходит с шутками, всегда-то острит над собой и над своей слепотой. И, глядя на их спокойствие, думаешь: „Как это я при своей небольшой тревоге с глазом мог падать духом? Ведь один глаз у меня уж наверное будет целым, а разве это не счастье? Вот люди: положение вконец безнадежное, никогда и ничего им не видать — и откуда только берется у них эта радость жизни?!“ Мне делалось стыдно за себя, и в то же время огромная радость освещала душу: слава богу, вижу, все еще вижу. И в то же время я стал относиться спокойнее ко второму своему глазу: „Что ж, пропадай, один еще останется, с одним глазом тоже солнце видно...“ Но никогда, никогда не мог бы я так спокойно переносить их безнадежное положение. Быть слепым — да, боже ты мой, чего же тут больше ждать!

„Браунингом по лбу,— как говорит Зарайский,— вот тебе и все разом померкло".

Здесь видишь все те же страдания, что и там, на позициях. Здесь только уже как бы результаты, последствия. Вот солдат Великоречанин. Шрапнель разорвалась совсем почти рядом, так близко, что лицо порохом пожгло. Разом оторвало ему левую руку и выбило правый глаз. Порох в'елся в лицо и выступил темно-синими точками.

— Приезжаю это я сюда, на распределительный пункт, а сестричка такая хорошая, молоденькая, свежая такая: „Что это, говорит, солдатик, какой ты грязный, дай-ка я помою тебя..."— „Да, мол, вот уж второй месяц не мылся, помойте, пожалуйста..."

Шабрила она, шабрила,— ну разве его вымоешь? А я, значит, все молчу. „Да что это, говорит, лицо-то у тебя не отмывается?" А я ей: „Это, сестрица, германская пудра, она хорошо, мол, пудрит!"—„А что это, говорит, за германская пудра?" Ну, об'яснил, конечно, рассмеялась, перестала тереть.

ЗАРАЙСКИЙ

Как он ни просил, как ни придумывал, а дольше здесь оставаться было нельзя — наутро его выписывали. 0,2 зрения у него сохранилось, лечение было бесполезно, и его выписали. Пожал он нам руки, пошел. У него ни кола, ни двора. Тягло сдает в аренду, рублей 80 в год нагоняет, но все деньги идут на ученье дочки Наташи, ей 15 лет. Работает он последние года ломовым извозчиком, там и глаза попортил. И представляю я, как вышел он из больницы, сошел вот с крыльца и призадумался: в которую же сторону теперь итти? Ведь совершенно некуда деться человеку, а по Москве слепой еще угодит как раз под трамвай. Мечтал о сумасшедшем доме: там, говорит, хоть кормят хорошо, а то куда же я пойду теперь слепой-то? Есть у него какая-то бумага, по которой он считается постоянным кандидатом в желтый дом, и вот он думает ее пред'явить. „Только трудно уж оттуда во второй раз будет выбраться, а по воле там скоро затомишься... Зато, братец ты мой, сады какие, разные там деревья, пруды — что душе хочется..."

Вот вам и исход — сумасшедший дом.

ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

Дедке на утро должна быть операция: будут вырезать глаз — cancer, рак по-нашему. И вот он мучится целый вечер, целую ночь. То-и-дело бегает в уборную, свертывает цыгарки, курит одну за другой. Останавливает встречных, спрашивает, что это за болезнь такая, самый этот рак (а он прислушался, что говорили доктора, и запомнил название), и, если кто охотно начинал разводить балясы про неизвестное, никогда и неслыханное слово, дедушка развешивал уши и жадно ловил нелепые сведения. Собиралась кучка и говорила уже про операцию — что и как. Тут находились знатоки, указывали размеры тех клещей, которыми будут тащить глаз; говорили, как будут его долбить, надрезать острым ножичком, подпиливать, прокалывать, выдавливать, выжимать, прижигать — и чего-чего только тут ни говорилось! Когда я дедку поздно вечером застал в уборной среди такой кучки, он был уже загнан, запуган, словно заяц. По возможности просто и спокойно об'яснил я ему, в чем дело, и дедка успокоился, но успокоился только на время, пока я был с ним, а потом снова начал свертывать цыгарки и бегать в уборную, а там уж не мог утерпеть, чтобы к кому-нибудь не обратиться с вопросом, ну, а скорбные вести крепче отрадных запечатлеваются, так и промучился целую ночь, на минуту глаз не сомкнул, а все от товарищеских рассказов.

13 января

ЧУШЬ

Андрей Филиппыч говорит тоненьким, визгливым голоском, говорит авторитетно, но принимает возражения и мирится, если они доказательны. Он служил лакеем в дворянском собрании, а потому любит закидывать фразы, вроде: „Сидят тут четыре полковника и два генерала, а я, конечно, рядом...“, „Да... сам слышал, от генерала слышал...“ На такие сообщения обычно не отвечали, вся палата замирала, и только Степан Иваныч, извозчик по профессии, которого почему-то все мы целую неделю считали за дьякона, только он, подобострастно изогнувшись на постели, поглаживая в такт рассказу свою рыжую

редкую бороденку, покрякивал: „Так, так... Да, так вон он што!..“ А остальные все молчали. И вот Андрей Филиппыч завез:

— А вы думаете, зря его в ссылку-то услали, на Кавказто? Нет, голубчик, тут дело все раскрылось начистую, его, значит, обличительно представили к допросу, а когда дознание было совершено и улики (эх, много улик!),— тут, значит, уж все было кончено, вроде шпиона... Вот вам и наши командующие...

— Нет, правда?— ввернул о. дьякон.

— Так што ж я, смеяться буду? Сам слышал, от самих генералов и полковников. Это все попервоначалу только: Николай Николаич да Николай Николаич... Ну, а ему што? Напишет, что повесил трех, там, германских командиров, а повесит наших, да выберет еще самых лучших,— вот он кто, ваш-то Николай Николаич... А как дознание сняли, как эту самую историю раскрыли, так его, голубчика, и в ссылку. Теперь где-то, говорят, на Кавказе на острове сидит...

— Так он же командует,— поднялся Максимов,— на Кавказе командует...

— Где он там командует? Это пишут только, а разве ему дадут теперь?.. Я же говорю вам, что в ссылке, а потому и пишется все время: „Без перемен да без перемен“. Ведь оно как дело-то закрасилось, а Ранекампфа ему друг-товарищ...

— Да нет, это не так,— запротестовал Максимов.— Николай Николаич-то немца не любил, это не так...

— Да я же от самих генералов слышал, а войско наше тогда и напугалось, как узнало про самую эту измену, а потом и узналось и про город Тулу...

Все замерли. Батюшка приподнялся на подушке. Максимов встал, а дядя Тетерев, почтенный псевдо-дьякон, часто-часто затеребил жиденькую бороденку. Про Тулу никто ничего не знал, но и не спрашивал, ждали, когда Андрей Филиппыч зачнет сам. И он зачал:

— Там, в Туле-то, завод имеется: ружья, пушки разные, снаряды делают. И что же?

Он обвел всех испытующим взглядом через темные зеленые свои очки.

— И что же? Там, в глубоких подвалах, в таких подвалах, про которые никто не знал, оказался запас винтовок... И сколь-

ко, вы думаете, винтовок было?— Он склонил голову немножко в сторону и перебегал взглядом с одного лица на другое. Все молчало. Тогда он опустил голову на грудь и тихо, но внятно, с оттенком грусти, но и с некоторым пренебрежением кинул: 18 миллионов 800 тысяч.

Эту цифру он сказал легко, словно всю жизнь он возился с такими крупными цифрами и они смертно ему надоели. Все зевнули, но Андрей Филиппыч молчал. Цифру он больше не повторил и, желая оставить в слушателях более глубокое впечатление, начал о другом:

— А то разве отдали бы мы все свои крепости? Да и опять же вестей никаких; а вот и теперь вестей никаких не будет, и не будет их до скончания войны. Теперь уж мы взяли и Белосток, и Вильна наша, только про это еще тайком слышно, а писать не будут, а он, неприятель-то, говорят, хотел напереть на Гродну...

— Так, Андрей Филиппыч, ведь Гродну-то мы раньше отдали.

— Нет... Нет, не отдавали...

Тут уж со всех сторон стали уверять, что Гродна отдана. Он затих:

— А может быть... Не помню только, чтобы отдавали... Значит, это другой город...

После этой ошибки слушатели сделались как-то небрежны и фамильярны: ходили по палате, кашляли, зевали и даже начали вслух переговариваться между собой. Видя, что интерес слушателей понизился, Андрей Филиппыч умолк, закутался в одеяло и больше за целый вечер не пытался ничего рассказывать.

23 января

КАЛЕКИ

На Курском вокзале случился любопытный и тяжелый факт: привезли 3 солдат, увешанных георгиями, и поставили к стене, да и не поставили, а приставили, потому что не было у них ни рук, ни ног,— ноги были отняты к самым пахам, а руки по плечи. Одного поставили в угол; прислонился он туловищем к стенам — и ничего: держится; товарищей заключили в ре-

шетки, наподобие кресел, только без сиденья, опустили их на мягкие, дутые приспособления и отошли. А тут народ посгрудился, стали рассматривать, вздыхать, жалеть и горевать по ним; солдаты молчали и грустно обводили исстрадавшимися глазами подходящих незнакомых людей. Но вот из толпы выделились три женщины и, пристально всматриваясь в лица калек, узнали в них своих мужей. Они знали об их прибытии, но до сих пор не могли найти. Произошла странная заминка, судорожная, тяжелая неловкость: жены узнали мужей, мужья узнали жен, но поцелуя не было.

И когда женщинам предложили взять калек с собою, они отказались.

— Вам дают по 300 рублей в год на их содержание.

— Нам тысяч не надо... Куда они нам такие-то?.. Мы лучше сами будем работать дни и ночи, не надо нам ваших денег, но не надо и калек...

Они отказались. А по щекам у несчастных катились горячие слезы, и вместо слов укоризны из груди вырывались только тяжелые вздохи да хриплые всхлипывания. Их отправили в богадельню, а жены под ропот и гул толпы ушли во-свояси.

Вот и весь факт. А в Риге был подобный: когда жена увидела мужа без рук и без ног, прислоненного к стене, она обернулась и злобно крикнула:

— Что вы обманываете меня? Да разве я не знаю своего мужа, разве я такого посылала? Не хочу, это не он...

И она отказалась.

А вот в Рязанскую губернию привезли одного в деревню, так там приняли, приняли с горячей любовью, с глубоким состраданием, с обетом в душе ходить за ним до гроба, но это была мать, а где же видано, чтобы мать отказалась от своего детища?

И вот выступают на сцену двоякого рода соображения. Женщины, связанные с этими калеками, прежними своими мужьями, только условиями официального брака, но не любовью, не делают ничего дурного, отказываясь принять калек-мужей, а, с другой стороны, мать делает что-то неизмеримо-прекрасное, святое и торжественное, молчаливое, со сдавленным рыданием принимая изувеченного сына. Видите ли, у жен не

было такой тесной связи, такой любви к своим мужьям, чтобы любовь эта поборола все попутные соображения. А попутные соображения не в грош ценой — они равнялись самой жизни этих отступниц-жен.

Взяв калек, жены должны были обречь себя на хроническое самопожертвование, уничтожали тем самым себя, свою жизнь, вкладывали ее целиком в постоянную нужду и заботу о калеках. Насильственно обрезались жизни — молодые, полные сил, надежд и желаний, обрезались пути — тяжело, безнадежно и мрачно. Они во-время поняли, во-время оценили положение, не захотели лгать перед собой и перед людьми,— они открыто и искренне сознались в невозможности принести себя в жертву калекам-мужьям. Конечно, они могли получить эти 300 рублей и держать калек без призора, в тяжелой обстановке непрерывного раздражения, недовольства, а может быть, и ненависти,— они не захотели лгать и отказом своим сказали, что нет у них на душе того, что могло бы отчасти скрасить тяжкую долю калек,— нет любви, а следовательно, и нежной заботливости. Они правы, но права и мать. Но не прав тот, кто дал уцелеть этим жизням,— их следовало оборвать в то мгновение, когда смерть с косою стояла у изголовья, не надо было бороться со смертью, она знала, зачем пришла, и борьба была лишней. Калеки остались жить. Нужны люди, чтобы хранить и поддерживать эти ненужные, тяжелые сами по себе жизни. Будут тратиться чужие силы и тратиться бог знает зачем. Тут какое-то безрассудство, какой-то перерасход живых сил, ненужное, ложное сострадание.

МОЯ ОПЕРАЦИЯ

Когда Авербах сказал: „Дайте мне его завтра в операционную, я выскоблю ему инфильтрат“,— мне не было ни страшно, ни тяжело — наоборот, даже совершенно легко и весело.

Войдя к себе, я улыбался. Да и как не быть весело? Состояние глаза все время ухудшалось. Только-только успокоится и снова раскраснеется, начинай сначала. А тут подходило что-то серьезное, окончательное: выскоблить — и баста. Мне почему-то было особенно смешно на это слово: „выскоблю“. Я повторил его несколько раз и все улыбался. Но уже поднималась

нервность. Курил, ходил взад и вперед, пробовал лечь и тут же встал и начал снова бродить по комнате. Стал раздумывать: серьезная операция или нет? Под хлороформом или так? Была еще радость оттого, что представляется случай испробовать силу духа. Спокойно или нет перенесу операцию? Буду крепиться до предела, не пикну, не дам знать, что нестерпимо больно. Хватит ли духу? Это занимает больше всего. Завтра операция — все-таки жутко.

4 февраля, 1916 год, 3 часа

Спокойно, тихо на душе. Об операции как-то и не думаю. Был Миша. Милый сердцу человек, развеселил, успокоил меня окончательно. Успокоений, конечно, не было, да мы и не говорили почти об операции,— успокоил самый дух нашего разговора, несколько иронический, дружеский и искренний.

10 часов

Тревоги нет. Наутро операция. Завтра в это время буду уже совсем спокоен. Была Марта, принесла с собою радость и тихую грусть.

9 часов утра

Это уж совсем накануне. Может быть, через час, а может, и сию минуту войдет сестра. Пожалуйте. Ночью не мог превозмочь себя вполне, однакож боролся удачно. Лежу. Пробило 10, 11, 12... Томительно, обидно так, что не спится... Впрочем, что же я расстраиваюсь — ведь каждый день не засыпаю 2—3 часа, тут нового ровно ничего... А немного есть и нового: до полчаса первого я не дотягивал, а теперь вот не спится... Ну, конечно, нервность есть небольшая... „Тр...р...р...“ заскрипел вдруг шкаф. Я вздрогнул и странно как-то вздрогнул — одной половиной лица, тем виском, на котором не лежал. Перевернулся — не спится, да и только. А тут полезла в голову разная дичь: я уже сижу во всем белом, в глаз вставили кольцо, чтобы шире был, для удобства... Все это, пожалуй, и не больно, только с

непривычки жутко как-то... Нет-нет, не надо думать, лучше о чем-нибудь другом, скорей о другом и о хорошем, светлом, о том, что противоположно этой операции... И поплыли, поплыли кавказские картины... В Эривани так тепло-тепло... Вот и сад, любимый наш сад,— он весь в цвету... Бледнолиловые цветы абрикосов, распустилась сирень... Хорошо... А вот качели — смотри: это Ная качается там... Пойду и я... Вот уже мы вместе... Она весело, звонко так смеется, и вдруг чей-то знакомый голос прорезает молчание: „Да прямо держите голову... Ну, смотрите кверху...“ Стальной ножичек заходил по глазу... Мне и больно и радостно, что так спокойно я даю резать себя... Не надо, не надо — скорее к Кавказу, скорее к этим привычным дорогим моим думам о ней... А впрочем, не только о ней, у меня там много друзей, вон и Яша стоит, большой, неуклюжий такой...

„Тр... р... р...“ — заскрипел снова шкаф::: Теперь я уже не вздрогнул, я знаю, что это мышь возится. Однажды я видел эту маленькую мышку,— она напугалась, увидев меня, и быстро-быстро убежала под шкаф. А скоро час... Я все еще не сплю. Рано ли все это будет? Неужели меня разбудят? Нет, я должен подняться сам. Да чего ж тут думать? Конечно, я проснусь раньше... Только меньше надо думать... Я ведь не знаю подробностей, а тут напредставляешь разной дичи, ну и страшно будет — вон дедушку-то как тогда запугали... Насказали ему, что глаз зацепят клещами и будут тянуть... Фу ты, чорт, какой ужас!.. А ведь он верил. Каково же было бедняге итти в эту страшную белую комнату!.. А какой он спокойный, Авербах... Так и чувствуется большая сила... Он во всем белом, стоит и шутит со мною — он часто шутит... Я больше никого не вижу, не замечаю, словно в этой белой комнате только мы с ним вдвоем... А тут ведь мелькают еще какие-то женские фигуры... Но что мне до них, когда все только в его руках... Он один сильный — другие только так себе, мотаются, смотрят, учатся у него... Но что же мне до учеников в такую минуту? Да не надо же об этом... Ная, Ная, не отходи от меня!.. А в купе все тот же знакомый розовый свет... Вот и она лежит с большими грустными глазами... Они широкие такие, эти голубые глаза... А теперь, в полумраке, кажутся еще шире, еще прекрасней, еще грустней... И так хочется, чтобы в эту самую минуту она думала и тоско-

вала обо мне... Я проснулся от боя часов... Пять... Нет, это слишком рано... Я закутался, но уже только дремал... Слышал, как пробило шесть, как поднялись больные и застучали кружки... Потом встала сестра — я услышал ее голос где-то в отдалении... Так прошло три часа... Теперь каждую минуту жду, что придут и поведут с собою. Мне уже дали чистое белье. Я переодел его наскоро, очень торопясь, словно боялся, что могут притти именно в эту минуту и увести полунагого... Я уже об операции не думаю...

А Дегтяренко все играет на балалайке... У него такой скудный запас песенок... Я их слышал уже сотни и сотни раз... Но почему же сегодня кажется мне, что он играет только грустные такие, почти похоронные?.. Да ведь это все они же, это все знакомые, старые песни...

Все стихло... Почему это?.. А... Это наверное сам пришел, сам Авербах — когда он приходит, всегда делается тихо... Значит, сейчас, значит, скоро... Ну да, конечно, вот и шаги слышу, чьи-то быстрые, торопливые шаги...

5 февраля 1916 г.

Ну, конечно... Ожидание было в тысячу раз страшнее самой операции. Когда привели меня и раздели, положили на этот раскидной, удобный стул,— я был спокоен, даже улыбался. Деланности не было, я как-то совсем без борьбы, сам по себе успокоился. Накинули на грудь широкую простыню; волосы закрыли полотенцем, лицо занавесили марлей, в которой было отверстие для глаза. Ну, и началось. Я лежал спокойно, не шелохнувшись: я знал, что малейшее неосторожное движение — и острый ланцетик рассечет мне глаз. А по глазу водили, скоблили его, царапали... Было жутко, но боли не было, во всяком случае, терпеть хватало силы. А жутко было до ужаса; при всем видимом спокойствии, сам того не чувствуя, я, повидимому, страшно волновался, потому что встал белый, как полотно. Об этом после говорила сестра. Я шатался из стороны в сторону и был слаб, словно встал после тяжкой болезни.

Вечером была Марта. На следующий день она была едва ли не в последний раз.

15 февраля

КАК ОПАСНО УВЛЕКАТЬСЯ

Молодой солдатик рассказывает про свое житье-бытье на фронте, перечисляет атаки, в которых он участвовал, перечисляет города и деревни, которые они брали и отдавали, описывает ужас тех немецких солдат, которых он лично переколол и перерубил, „а тех, что перестрелял, сосчитать не возьмусь: чик — упал, чик — упал, чик — упал“,— и по тому, как часто он повторял это „чик — упал“, можно было подумать, что по меньшей мере он перестрелял немецкий батальон.

Доходит он, наконец, до позорного бегства того полка, в котором был он сам, и тут об'является его смелость, быстрота, соображение, ловкость, находчивость...

— У самой реки прижали нас со всех сторон — и давай... Мост тут был, по нему и переходили мы на эту сторону — так теперь и думать было нечего про этот мост: по нему, словно горох, сыпались неприятельские снаряды... Видит наш командир, что дело плохо: „Спасайся,— говорит,— ребята, кто куда может“. Ну, мы и кинулись врассыпную... А куда бежать? Побежали бы все к мосту, а я думаю: „Нет, брат, тут мне не дорога“, да и ударился по берегу...

— Так куда же ты — к неприятелю, значит?

— К самому ему и побежал — потому тут что же, самый пустяк был, вся сила-то позади была... Бегу, бегу это — и прямо на немца наскочил: раз ему штыком в живот — пропорол, насилу штык-то вытащил... Сбежал к реке, разделся... Ну, конечно, все бросил, все им тут оставил: и ранец, и штаны, и сапоги — все... остался только в рубашке, да винтовка с собой — потому что же я за солдат, коли ворочусь без винтовки? А холодно... Ну, что же делать: солдат, такая уж солдатская доля — перекрестился, раз в воду и поплыл... Плыву...

— Так, а винтовка-то как же — одной рукой, значит, поплыл-то?

— Нет, обеими...

— Так как же ты?

— А я, брат, с берегу-то размахнулся да так наловчился, что она воткнулась на мели...

— А речонка-то маленькая?.. Как зовется?

— Нет, не маленькая: Неман...

— Так ты, брат, значит...

— Да, да: размахнусь — и кину ее... А потом заплыву, вытащу, да опять брошу, она опять и воткнется... Опять доплыву...

— Так как же ты знал, куда надо было бросать-то?.. Ведь эта самая река, говорят, глубокая.

— Глубокая... Ну, а все-таки и мели были — так вот я их и замечал...

— Да нет, брат, ты...

— Да я же говорю тебе... Не иначе река на ту пору замелела...

— Нет, брат, уже это что же... Так-то мы и дома у себя воевали...

Слушатели расходятся...

УЖАСЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина необходима. Но это утверждение слишком часто является только стеною, за которой истязают и насилуют солдата. Этой необходимостью оттовариваются и оправдываются изверги, бессердечные тираны, сладострастники мученья. Они мешают жестокость с дисциплиной, камень принимают и выдают за хлеб, не понимают истинного смысла дисциплины. У нас уж как-то так случилось, что издевательство и дисциплина сделались синонимами. Свою безответственность в деле дисциплины принимают за право на издевательство и зверство и в широком размере на деле применяют это мнимое свое право. Дисциплина должна держаться не кулаком и плеткой, она — дело не подневольное, а добровольное, т. е. она должна родиться сама собой, из совокупности фактов, ее не нужно делать, склеивать из черепочков — саморожденная она крепче сделанной. Дисциплина крепка уважением к авторитету начальника, верой в его силу, знание и уменье. Недостаток этих оснований истинной дисциплины бессильные и наглые пополняют грубостью и бессердечным издевательством. Солдат рассказывает:

— Мы стояли шеренгой, а он спрашивал... Хохол был, злой, горячий такой... „Махметов, что такое дисциплина?“ А Махметов — татарин, он и по-русски-то ничего не понимает, какая тут ему дисциплина. Сначала надо было выучить говорить, а то где же ему ответить? „Ну, что — не знаешь, мерзавец! Сеньков, покажи-ка ему дисциплину, дай в шею, да крепче!“ Да как же я его ударю? Мы ведь товарищи были с Махметовым, спали рядом... Ну, я размахнулся, шибко размахнулся, а ударил не крепко... А тот как вскочит: „Так ты, говорит, и бить-то не умеешь?“ — да раз мне со всего размаху: „Вот как надо бить!“ Ну, что же... с'ел и пошел молча... „Куда? Дай ему, как я тебе дал!“ Что ж тут будешь делать, стоит рядом, не ударь я — меня изобьет, так и пришлось Махметова ударить, больно ударил... А потом сошлись мы с ним, стыдно обоим, в глаза-то не смотрим...

Вот дисциплина. Вот где закладывается порох под нашу армию. Таких именно начальников на Кавказе пристреливали из-за первого отрога; здесь такому посылают в бою первую пулю, и только вторая летит к неприятелю. Подобные факты, конечно, замалчиваются, но солдаты про них знают и вполне одобряют и оправдывают убийц. Растет недовольство и возмущение — заслуженное, необходимое и непреклонное. Народная масса питается этими слухами, и потому в ее представлении солдатская служба не просто тяжелая служба, а именно сплошное издевательство, мучительство и надругание. А ведь случаев, подобных рассказанному, не перечесть. Другое дело, если наказывают за грабеж, за насилие... В германской армии с такими тоже не церемонятся. В занятой немцами деревне на глазах беженцев были расстреляны два немецких солдата, уличенные в насиловании девушек. Тут наказание необходимо, вопрос только в форме и степени самого наказания. Но у нас ведь самое обыкновенное дело — врезать солдату 20—30 розог за что бог послал... Уж, кажется, чего проще растеряться в бою, когда не только соседа не видишь, а и самого себя перестаешь чувствовать и понимать. Люди мечутся во все стороны в поисках чужой и собственной смерти, мчатся, словно на крыльях, теряют рассудок, забывают все на свете, кроме необходимости куда-то стремительно мчаться. И вот отставшие, потерявшие

свой полк, возвращаясь к своим частям, получают розги вместо георгиевских крестов. Ну, где же тут последовательность, здравый смысл и законность? Да ведь это полное надругательство над человеком, этим уже ясно говорится, что „раз отставши — не возвращайся, если не хочешь быть битым".

Так и делают. Месяца два назад, говорят, уже зарегистрированных беглецов в нашей армии считалось до миллиона. Тогда именно был издан указ о строгом надзоре за солдатами на станциях, в трактирах и проч. В нашей дисциплине — яд разложения такой терпеливой и удивительно молчаливой армии. Ведь наши солдаты удивительно молчаливы и выносливы. Они еще не судят за первые две пощечины, они возмущаются только третьей, когда видят, что это не случай, а определенная система. Жаловаться некому, некуда и опасно. На ротного надо подавать через самого же ротного, а он не пропустит; надо быть очень и очень настойчивым, чтобы довести свою жалобу до кого следует,— это могут и умеют сделать немногие.

Таким образом, вся система мнимого правосудия военных грубиянов сводится к нулю, не применяется на деле или возвращается каким-то неведомым путем на самого же пострадавшего, искавшего защиты.

Все это солдаты прекрасно знают и возмущаются глубоким, молчаливым возмущением. Недалеко то время, когда прорвется молчание,— и начнется большое дело, дело

„О безответственности российских Скалозубов".

19 февраля

НЕДОВОЛЬНЫЕ

Интеллигентная часть общества, так или иначе соприкоснувшаяся теперь с народом, ближе увидевшая и узнавшая его, составляет, конечно, известное мнение, делает выводы и заключения. И часто слышишь такие неожиданные и близорукие заключения, что делается тошно и неловко за этих интеллигентов. В лазаретах, различных комитетах и обществах, в питательных пунктах, в отрядах, в санитарных поездах,— словом, там, где соприкосновение это непосредственно, подобные факты близорукости выступают особенно ярко. Люди, так или иначе

призванные только давать, жертвовать и уступать, начинают слишком высоко ценить свое дело, впадают в самообожание, ждут непременной, постоянной и высокой награды в виде проникновенного сердечного сочувствия, в виде ласковых и жадных взглядов, в виде слез бесконечной благодарности. И вот, склонясь над солдатом, видят иной раз в лице его тупое молчание, равнодушие, безразличное спокойствие, а иногда и злобу. Не учитывая его состояния, недавних мучительных дней, наизнанку вывороти вших все мысли и чувства; не учитывая истерзанности и оскорбленного тысячу раз самолюбия; наконец, не учитывая его простой, непосредственной психологии — закрывать душу после каждого действительного или мнимого оскорбления,— работники вместо благодарности получают что-то совсем другое, на нее непохожее. Это общее, это касается всех; но есть еще такие несчастные интеллигенты, которым воспринимать это приходится сугубо, которые как-то чаще других попадают лишь на определенную категорию народа, на недовольных. Эта категория особенно дает себя чувствовать во время войны и в большинстве создает деморализацию, распущенную критику и недовольство у тех слабых, которые привыкли итти за горланами. Недовольные есть, конечно, в каждой части общества, и всюду они вносят деморализацию. Видите ли, здоровое недовольство, конечно, необходимо, т. е. это будет уже и не недовольство, когда начинают протестовать, имея в виду определенную перспективу, когда протестуют во имя определенного принципа или плана. Но есть вот это паршивенькое недовольство во имя самого себя. Если такой недовольный попадет в лазарет, он начинает хулить пищу, уход, санитарные условия лазарета; о полку своем он рассказывает самые невероятные вещи, дикие слухи передает за факты, которые вдобавок сам же и видел. Эти и у себя в деревне были вечными протестантами: в миру их не любили, на сходках не слушали, хотя они и горланили всех громче. Это люди с очень больным самолюбием, трусливые, робеющие высказать свое мнение. Протестуя, они хотят показать, что им слишком мало предлагаемого, что у них замыслы широкие, что голова у них светлая и ум дальнозоркий. На деле они трусишки, не ударят палец о палец и плана никогда и никакого предложить не могут.

Так вот, соприкасаясь с этой небольшой сравнительно категорией недовольных, следует быть особенно осторожным и по ним не делать больших заключений.

23 марта

ПО ОКОПАМ

Наша летучка стояла у Стыри; до реки было верст 5—6. В окопах я был еще осенью; тогда они поражали своей загаженностью, неблагоустроенностью. Дело спасала река — естественный заслон, а не наши искусственные укрепления. Теперь, по весне, мне снова пришлось побывать в этих окопах. Картина другая — образная, бодрящая, успокоительная. Вдвоем с товарищем пришли мы к полковнику Глыбовскому — примирившийся, милый человек. Вошли в землянку. „Садитесь, господа". Сели. Мы пришли по делу: надо сговориться о том, как бы переправить раненых на дрезине прямо на станцию, минуя дивизионный лазарет, докуда верст 6—8 им приходится маяться на двуколках. Поговорили, но вопрос оставили открытым, на то были свои причины.

— И не скучно вам здесь, полковник?

— Ничего, прижился.— Он обернулся к стене, что-то сиял и бросил:— У меня, как видите, свое хозяйство: клопы, блохи, даже тараканы имеются. Правда, дела мало... Изредка попаливают... Видели, тут у землянки какую яму вырыло — это на днях снаряд угодил... Ну, и мы не дремлем, угощаем добросовестно...

Дверь отворилась.

— Позвольте войти...

— Пожалуйста...

Вошел быстрыми, мелкими шагами поп. С ним был мой знакомый офицер.

— Господин полковник, до вашей милости...

— Что скажете, батюшка?

— Да вот раз в жизни привелось... Больше уж никогда не случится, не откажите...

— О чем, батюшка, о чем?

— Да насчет окопов, посмотреть бы...

— Опасно... Там постреливают, греха бы не случилось...

— Да ведь на всю жизнь, г. полковник, на всю жизнь... Больно охота посмотреть... Окопы там, говорят, окопы, а что они такое значат — понятия не имею... Так, г. полковник, уж пожалуйста...

— Ну, если уж такой вы храбрый — что ж, пойдемте... Только разделиться надо, господа, кучей не надо итти — по-двое пойдем...

Вышли из землянки и направились к окопам... Тут дорожка была узкая, песчаная... Итти было трудно... Поп почти бежал передом, словно боялся, что полковник раздумает и вернется... Мы поспевали сзади... Миновали маленький перелесок... Тут была церковь, зашли... В верхушку на-днях угодил снаряд, сорвал железо, выбил несколько кирпичей, раздробил доски... Стена была изранена осколками. В церкви тихо и пусто... Поп вошел в алтарь, преклонился, поцеловал крест и евангелие... В церкви пахло свежей миртой — недавно здесь было богослужение, и легкий запах сохранился до сих пор. Выйдя оттуда, направились за реку через железный, давно взорванный мост. Осенью рядом с этим мостом был построен понтонный, и движение совершалось по нему. Теперь понтонный мост разобран, и сделаны переходы между павшими стенами чугунного моста. Перебрались на другую сторону реки и пошли по окопам. В этих лабиринтах легко можно было запутаться: всюду были сделаны боковые разветвления для переноски снарядов, провизии, для передвижения... Окопы теперь уже не то, что осенью... Сверху, а часто и во лбу — широкие деревянные заслоны... Делаются даже такие заслоны в несколько рядов, а промежутки засыпаются землей. Во лбу обычно положены толстые пласты дерна; они сложены так, что с передней стороны заслон кажется сплошной зеленой плоскостью, сходящей на-нет, и потому издали может легко сойти за зеленый холм... В окопах сухо, темно, холодновато. Всюду по бокам висят готовые на работу ружья; некоторые вставлены в амбразуры. Там же стоит недавно забранный германский пулемет — черный, как жук, гладкий и красивый... Он в минуту выпускает до 420 пуль, и наши уже пускали его раза два в дело. Тут же в окопах были вырыты по бокам землянки, где солдаты умещались по

6 человек, раскидав солому и укутавшись ею. Поп собирал осколки снарядов, гильзы, стаканы, улыбался сладостно, благодарил, но денег на чай не давал, а вместо денег уверял солдат, что им эти шутки не в диковинку, а ему, старику, „на всю жизнь, на всю жизнь“... Вышли из темного, холодного подземелья окопов... До неприятеля здесь было не более версты... Приходилось итти в одиночку, местами сгибаться, едва не ползти. Зашли к офицеру в землянку... Раскрыл я портсигар, угощаю... „Нет уж, благодарю покорно, к своему привык...“ Он свернул „козью ножку“ и насыпал ее махоркой... „Сам прежде баловался папиросками, а теперь махру на Стамболь не променяю; привычка, знаете, чудеса творит... Этой, как вдохнешь покрепче, сразу насытишься, а папироской дымишь-дымишь — и все толку нет“.

Я предлагаю ему оставить на всякий случай десяток моих папирос — отказался, не взял. „Махорку бы взял, не обижайтесь на меня“,— добавил он, выпуская пахучую, едкую струю дыма... Поп разговорился с офицером — оказались земляки; офицер даже с дочерьми батюшки знаком и за старшей, как после нам признался, за Верой, одно время „обхождение совершал“. Батька был рад земляку и от радости начал врать, уверяя, что знает почти всех знакомых и родных земляка-офицера. Был такой курьез:

— Дядюшку вашего?.. Как же не знать — Кузьма Иваныч, если не ошибаюсь?

— Нет, Виктор Петрович...

— Ну, да-да, Виктор Петрович, конечно... Конечно, Виктор Петрович... Вот старость-то, все перезабыл... Он что, при семинарии, так что-то... смотрителем, кажется?

— Нет, батюшка, нет, не смотрителем — он при городской конюшне находится...

— При городской конюшне... — раздумывал поп, склонив голову на грудь и дергая себя за ус.— И как это я смешал? А, теперь понимаю — там был Петр Викторович, Петр Викторыч Савенко... Ну, да-да, конечно...

И, словом, разговор был в этом роде... Поп упорно претендовал на общего знакомого и часто попадал впросак... Миновали мост и жидкую, дрянную, ржавую и низкую прово-

лочную загородку. Где бегом, где согнувшись и тихо ступая, добрались до полковничьей землянки. А там — на дрезину, и покатили попа на станцию... Он еще и дорогой все продолжал нас уверять: „На всю жизнь, на всю жизнь теперь...“

24 марта

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАСЛОН

Когда вы едете от Лунинца к Сарнам,— поражаетесь, как могут люди жить в таком месте, т. е. как могут теперь вот, в военное время, копать здесь свои окопы, жить в землянках. Припять, Горынь и Случ разлились на десятки верст. Разопрели еле замерзшие болота и распустили свои зловония... Вода выступила из берегов и местами, в ложбинах, собралась маленькими озерами, а между этими озерами, беспомощные и жалкие, чернеют крошечные островки тинистой и вязкой земли. Деревья спутались высокими болотными травами, и нет тут прохода ни пешему, ни конному. Создался такой естественный заслон, который несомненно приостановит активные события по крайней мере на месяц. Мало того, что реки вберутся в берега,— надо еще ждать, пока обсохнуть бугры, по которым еще кое-как можно было бы перебраться. Почва вязкая, тягучая, для артиллерии, а местами и просто для конницы — неприемлемая. И вот в таких-то условиях извольте сражаться, наступать, отступать... Есть случаи, когда враги стоят по краям какого-нибудь трясинного болота целые недели и месяцы, взаимно ожидая вражьей инициативы. Здесь и выше к Пинску уже нет возможности в это время строить обыкновенные, земляные окопы; строят так называемые „горизонтные“, попросту говоря, возводят целый ряд маленьких деревянных построек, обложенных дерном и замаскированных то песком, то зелеными ветвями, то целыми деревьями... Немцы свои горизонтные окопы прикрывают соломой, но маскировка эта, надо сказать, не из удачных... Пол делается деревянным, иногда в несколько рядов, сообщение между рядами окопов идет или по мосткам, или прямо вброд, если грязь неглубокая, а болото не особенно тинисто. Такие окопы встречаются и у Барановичей, и у Пинска, и южнее к Припяти.

БЕСПОЛЕЗНАЯ РАБОТА

Насколько много ждали от работы аэроплана до войны, настолько сама война развенчала эту работу и свела ее на-нет. Работа аэропланов имела своим назначением, во-первых, более или менее подробную разведку; во-вторых, расстройство тыловой жизни, расстройство интендантской работы, железнодорожного сообщения, уничтожение самых путей; в-третьих, уничтожение живой силы — войска и, наконец, в-четвертых, терроризирование самой страны. И что же мы видим на деле? Работа не выполняет ни одного задания и только частью, краешком прикасается к четвертому пункту, едва не полностью минуя три первых и главных требования. Приспособленные по воздушной цели орудия не дают аэроплану держаться ниже 1½—2 тысяч метров, а оттуда, по уверению летчиков, разведка немыслима. Контуры движущихся масс сливаются с землей, с лесом, постройками; фотографические снимки не достигают цели. Ниже спускаться нет возможности, и полет приходится совершать только для очистки совести.

Не достигается и расстройство сообщения: интенданство всегда остается на своем месте, подвоз совершается своим чередом, железнодорожные пути страдают настолько незначительно и редко, что об этом не приходится и говорить.

Уничтожение живой силы, т. е. войска,— редкая случайность. Сколько ни было на моей памяти и глазах аэропланных налетов, 99% пострадавших — все из мирных жителей, из тех, кого убивать сознательно неприятелю нет ни смысла, ни расчета. Гибнут женщины, дети, случайно подвернется солдат или казак.

ХАОС

Настоящий хаос, смесь разнородностей можно увидеть только на войне. Вон послушайте: там солдаты громко и дружно поют лихую походную песню, а рядом, совсем неподалеку, целая рота собралась на молитву и с обнаженными головами застыла в ожидании; где-то жалобно-жалобно воет собака, и вой пронизает притихающие меота солдатской песни,

а в воздухе уже давно трещит неприятельский аэроплан; много поднялось к небу голов, ждет-не-дождется знакомой и щедрой посылки. Вот она: „бац!!!“ Бомба лопнула со стальным щелком на поляне, и заметались причудливые украинские костюмы... Они мечутся, а вот этот солдат, что стоит на часах, он недвижим, и — будь тут что хочешь — он не тронется с места. Стрелочник вкрадчиво и приятно загудел в свою дудку; ему ответила другая, третья — звуки медленно и плавно погибли где-то вдалеке. Жарко и часто заработали пушки: „бах-х-х... бах-х-х...“ А веселая солдатская песня оборвалась, рота запела вечернюю молитву... Кто это зашипел так громко и зло? А, паровоз... Вот он фыркает и плюется на обе стороны горячим, белым паром... А на станции, за столом, часть публики, привыкшая к погромщику-аэроплану, мирно беседует на отвлеченную тему... Ребятишки с криком бегают возле вагонов... Где-то сочно-сочно заржала лошадь.

11 апреля

ОТДЫХ [1])

„Когда бывает у нас свободная минута — не заскучаем, найдем чем забавиться. В окопах есть две гармошки, одна трехрядная, и на этой трехрядной Мозгунов так играет, что забудешь про всякие „чемоданы“. Он прежде все по свадьбам играл, потому и песни у него все знакомые. А знакомую песенку послушать — одно наслаждение. Как заведет, как заведет — так все и притихнут. Ежели который ружье чистил — возьмет курок, отведет, да так и стоит с отведенным; ежели сенник несет — так с сенником и стоит. Уж так играет Мозгунов, что и сказать вам не сумею, а особо коли „Вниз да по матушке по Волге“. Крупно-то нам петь не годится, а эдак помаленьку-помаленьку — сидим, да и припеваем ему. Сам Мозгунов родился на Волге, потому эту песню любит, любит и играет завсегда. А кончит играть, и „оттуда“ заиграют. Не знаю, на чем они играют, а что-то на гармошку тоже подходит. Чувствуют, значит, что нашего беспокойства не будет,

---

[1]) Записано Дм. Фурмановым со слов солдата.

и сами начнут отдыхать — так оно и сходит: мы поиграем, они поиграют, а потом уж вместе пойдет. Окопы-то у нас близко, крик человеческий слышен бывает, а уж когда на гармошке, да в покойный вечер — думаю, что пляшут они под нашего „Камаринского". У них вот не имеется наподобие этого самого „Камаринского", все по-другому, так что по незнанию и слушать-то никакой приятности не выходит. А под нашего „Камаринского" — поди, пляшут, он всем понутру. А тут вот все темные ночи-то были — так мы и сняли у них за две ночи 5 караулов. Сняли, а они и обиделись, не хотели остаться в долгу: подобрались и задушили у нас троих. Мы им наутро и послали в награду письмо на собачьем хвосту". „Как на собачьем хвосту?" — спрашиваю. „А так. У нас при роте за эти дни собачонка пристала — голодящая, негодная такая. Мы и привязали ей на хвост письмо, а написали по-своему. Взводный писал, и надо думать, что не по сердцу им будет, когда сумеют прочитать: у нас взводный мастер на эти штуки — пишет просто, а выходит крепко. Бумагу эту, записку, под задок прицепили, а на хвост, на край, четыре газеты сложили так, чтобы они раздувались да шумели. Ну, а когда у собаки сзади шумит — известное дело, что она ходу надбавит. Подрезали газеты кружком и поставили ее, горемычную, возле окопа. Поставили прямо на немца. Сверху над ней взяли прицел. Как ухнет — как она рванет, как помчится, как помчится. Тут уж только подавай бог ходу. Не оглянется, прямо бежит. А „они", надо быть, не поняли, в чем дело, спервоначалу пальбу открыли. Потом перестали и загалдели что-то по-своему. Думаю, что поймали собачонку-то; а ежели поймали и письмецо-то любезное прочитали: наш взводный писать умеет, нашу роту не посрамит".

В ОФИЦЕРСКОМ ВАГОНЕ

— Господа, куда же вы идете? Этот вагон офицерский, идите, пожалуйста, взад, там есть еще вагон свободный.

— Нет, так что же нам?.. Куда же мы будем деваться с билетами-то? Надают сотню билетов, а сесть негде...

Вагон набит, как сельдяная бочка. Душно, накурено так, что дым колесом катится.

— Да не сюда, не сюда, господа. Кондуктор, это вагон офицерский? Офицерский, господа, он для нас...

Публика сначала останавливается, потом начинает пятиться задом и освобождает коридор. Хлынула с воли новая волна серых шинелей, и коридор в минуту был забит офицерами. Места было слишком недостаточно для той массы народу, которая расположилась в коридоре,— кто на чем: кто на тюке, кто на корзинке. Уборная была занята вещами, и умыться не было возможности. Перед Пасхой каждый вез в свою часть то подарки, то пасхальную пищу; у всякого были тюки, узелки, мешки с провизией. Одному офицеру не погрузили в Москве багаж, и он всю дорогу плакался, что нечем будет разговеться.

— Уж все сделали, знал, что обманут... При мне сложили на тележку, дождался, как и повезли... Эх, дурак, до вагона не дошел: выходит — повезли, а не довезли... Вот и разговляйся теперь!..

Ему соболезновали, давали советы, но всем советчикам уж было ясно, что пасху встречать офицеру придется на-сухую.

Я пристроился в крайнем купе, вошел, почти требуя себе места, и, следовательно, устроился: в вагоне всегда надо требовать, а не просить, потому что разгул совести и самоохранение там достигают предела; сидит какой-нибудь жук в углу, держит саквояж и уверяет, что тут еще сидит шестеро, что они временно вышли и проч. и проч. Не верь ему, не верь — непременно обманет!

Я не поверил и был прав. В купе было всего трое, вопреки доводам и уверениям о временно выбывших. Все офицеры, едущие из отпуска в свои части. Капитан, преждевременно расставшийся в 1905 году с университетом, все вздыхал о какой-то Лизе: „Эх, Лиза, Лиза... Ну, и Лиза... Это вот так женщина, это я понимаю... Ну, огонь... Ой, Лиза, Лиза, Лиза...“

Он снимал, вернее, срывал фуражку и начинал водить по вспотевшей, увы, лысеющей голове. Офицеры были между собой хорошо знакомы, все на „ты“, все замешаны в московских похождениях последних дней. Много у них было воспоминаний, много было нелегальных рассказов, тяжких вздохов, сожалений... „Нет, что ты мне толкуешь про Лизу, я вот тебе про Татьяну Павловну расскажу — это вот красота будет!..“ Офицер таин-

ственно придвигался к товарищу и полушопотом начинал рассказывать пошлую, перебитую, истрепанную быль о мимолетной встрече и жестоких последствиях, мало, однакож, отравивших отчаянное воспоминание. „Коля, друг ты милый, знаешь ли ты, за что тебя полюбила Татьяна Павловна — не за рожу твою идиотскую, не за песню — за малиновый звон. Одни твои шпоры разбередили ее, знаешь, что любят эти Татьяны Павловны... Но не малиновый — земляничный всему венец, земляничному звону все покорятся, перед земляничным ни один не устоит". Поднялся спор: у кого звон мягче, обворожительнее, неотразимей... Потом вспомнили про спирт, про настойку и — пошла писать губерния! Перевернули чемодан, уподобили столу, водрузили две бутылки, нарезали сыру, колбасы... через два часа они были жестоко пьяны и часто-часто выглядывали за дверь осоловелыми, мутными глазами. Там лежала молодая женщина. Они молча выглядывали туда один за другим, молча закрывали дверь и после этого неизменно причмокивали, словно после выпитой рюмки. Так, впрочем, было только сначала, после пришлось уговаривать. Страсти разгорелись, стыд был притуплен хмелем, смелости было по горло: они заговаривали с ней, что-то обещали, в чем-то уверяли, куда-то звали. Кончилось, как полагается: один освинился на месте, другой на месте заснул, третьего подсадили наверх, и уже оттуда он оглашал вагон медленным, но сильным и баюкающим храпом.

10 апреля 1916 г.

Пришли в общежитие, поставили самовар, и втроем — старшая сестра-хозяйка, Кузьма и я — надувались часа 1½. Потом мы остались с Кузьмой наедине. Он вошел в настроение, начал неуклюже декламировать свои и чужие стихи. Между прочим, он сказал один прекрасный стих своего друга:

Березы плакали в саду,
Хрустели и звенели,
Кристальным вечером в саду
Мы рвали иммортели.
Знакомый сад заглох давно,
И ты увяла где-то...
До капли выпито вино,
Минувшее отпето...

Кузьма бродил из угла в угол и декламировал, и декламация была такая же неловкая, как неловки, неуверены были его тяжелые, грузные шаги... А солнце всходило... От верхушек дерев из соседнего сада лучи порхнули к нам в окно и упали ржавыми полосами на полу и стене. „Поедем кататься!" — вдруг предложил Кузьма:— „Оседлаем пару и за Двину..." Перспектива была хороша, но так ломило ноги, так уходился и уездился я за день, что отказался. И было жаль. Утро было таково, что впереди была одна радость. И было зло на физическое бессилие, на уставшие, ноющие ноги. Но делать было нечего, остались, легли. Наутро, поднявшись часов в десять, отправились к себе... Куда? Конечно, на конюшню. Делать ничего не хотелось, да и солдатам надо было отдохнуть. Поехали мы с Кузьмой за город. По шоссе, к озерам, к лесу, к лугам. Там было зелено и сочно. В лесу привязали лошадей, прилегли на траву. Здесь Кузьма снова говорил стихи. Позже, в этот же день, я проехал по этой дороге верст на 6 дальше. Те же озера, тот же сосновый лес. Много автомобилей, много пыли, но в лесу — в лесу перелопались почки, и загустели их сочные, зеленые головки.

13 апреля

КАК ФОРМИРОВАЛСЯ НАШ ТРАНСПОРТ

Самого начала я не застал. Пришел я сюда работать в то время, когда уже закуплены были лошади, заказаны в Финляндии двуколки и сбруя, набрана часть команды. С первого же дня началась спешная, большая работа. Мы были заняты с утра до позднего вечера. Возились с лошадьми, гоняли в союз, закупали и забирали в складе все необходимое. Совершенно для меня новое, незнакомое дело: приходилось покупать столы, стулья, обороти, бочки, мазь, седла, кошму и проч. И когда я бегал по лавкам — ног под собой не чувствовал, а вечером, кончив закупки, еле дотащился к дому. Собрали первую половину: лошадей, фурманки, кипятильник, кухню, и отправили с Кузьмой. Я с инвентарем уехал дней на 6 позже. Приехал в Двинск, и сразу стало видно, что транспорт формировался наугад; отсюда не позаботились, повидимому, дать никаких све-

дений, не очертили в должной мере предстоящей работы, не пояснили ни условия, ни форму работы. Транспорт не будет прикомандирован к дивизии, базой его будет Двинск. Работа будет такого характера: из какой-либо части извещают о необходимости транспортирования раненых; часть едет туда; другая — в другое место, третья — в третье и т. д. Словом, работа случайная и крайне подвижная, требующая здоровья, выносливых лошадей, более или менее здоровой команды, минимум 5 человек медицинского персонала. Оказались лишними офицерские и солдатские палатки — жить мы будем в квартире; оказались лишними кровати, столы, стулья — все это берется напрокат здесь же, чтобы на случай быстрого отступления не растерять, не бросить свои вещи. Затем о лошадях. Дали такую дрянь, что из 70 присланных безусловно годными оказались только 20 лошадей, остальные или будут отправлены на обозную работу, или совсем высланы. Попались и больные, и хромые, и полудохлые, совершенно негодные к усиленной работе, не говоря уже о том, что почти все они некованные. Из 15 человек прибывшей команды 7 человек пришлось положить в лазарет, а троих из них эвакуировать в Россию ввиду обострившегося туберкулеза. Команда — одно горе. Только уж молчат, а на работу совсем непригодны.

В Москве спали под навесом дней 6—7, и многие простудились. Плата им хорошая — уже более 2 недель получают суточные по 75 коп. в день, а здесь, в Двинске, в то же время и бесплатный обед на питательном пункте; кроме того, союз положил им жалованье — 8 руб. в месяц. С этой стороны все благополучно. Из медицинского персонала в наличности пока всего один брат милосердия. Предположено пригласить фельдшера, но и этого будет недостаточно, если только придется транспорт разом делить на 4—5 частей. При каждой части, несомненно, должен находиться хотя бы один брат милосердия. Бюджет на ежемесячное содержание транспорта исчислен в 10 тысяч рублей, цифра солидная, слишком и слишком достаточная. По предварительному подсчету, имея в виду 110 лошадей и 70—80 человек команды, расходы не должны превысить 7—7½ тысяч. Между прочим, такая подробность. В Москве были уверены, что в двуколку можно впрягать одну лошадь,

тогда как в военно-санитарных транспортах здесь неизменно впрягается пара, да еще какая пара! Разве можно сравнить с нашей полудохлой мелочью? Словом, очень и очень маленькое было представление у москвичей о форме предстоящей работы.

17. апреля

ГОРОДСКАЯ И ЗЕМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Эти две за войну широко развернувшиеся организации, казалось бы, должны были, по сущности поставленных задач, итти рука-об-руку в солидарности, в готовности взаимной помощи, во взаимном уважении. На деле не то. О солидарности говорят где-то там наверху люди подписей, главари дела, но раз уже поставлен вопрос о солидарности — этим самым констатируется факт ее отсутствия.

В толщу работников города и земства эти благие пожелания не проникли, там они не привились. Каждый член считает святой обязанностью защищать и золотить ту организацию, в которой работает, и скептически улыбаться и покачивать головой в сторону соседки. Это совершается как-то невольно, даже без намерения уронить соперничающую организацию, по естественной склонности защищать и хвалить то, что касается тебя ближе. Работая в земстве, я сам как-то недоверчиво относился к учреждениям города. Почему выходило так — не знаю; отрицательного о той работе я ничего не слышал и не знал. Когда приходилось встречаться с работниками союза городов — встреча отдавала холодной вежливостью и официальностью; когда встречали земцев, незнакомых, чужих,— раскрывались дружеские об'ятия, чувствовалось родное, встреча была интимной и искренне-приветной. Я уже не говорю о явном антагонизме союзов с Красным крестом — с ним как учреждением дружить почиталось каким-то компромиссом. Нам чудилось там гнездо бюрократизма, пустой аристократической шайки. Там встречались графини, княжны, особы высокого полета, а наш демократический состав уже по одному этому косо смотрел на Красный крест.

Вот и теперь Гребенщиков все время носится со словом „сибирский". Бушует о составленных неправильно штемпелях,

где не на первом месте стоит слово „сибирский", пренебрежительно отзывается или умалчивает о работе других отрядов.

Для него существуют только сибирские отряды, больше ничего. Там все хорошо, там геройство, самоотвержение, уменье, опыт. Там все. Сибиряки отступают последние, несут наибольшую тягу, страдают за Россию, чуть ли не в одиночку. Я уважаю и ценю работу сибиряков, но говорить только о ней, не видеть за нею ничего иного — тупость и самовлюбленность.

19 апреля, Двинск

БАНИ

В мирной городской обстановке, где все имеется под рукой, трудно представить себе ту огромную нужду в банях, которая ощущается на фронте. Здесь в баню идешь, словно на праздничное гулянье; от бани ждешь неисчислимых благ; мечту о ней жадно смакуешь еще за несколько дней, а иногда конечное наслаждение откладываешь — и любуешься, живешь, одним только прекрасным и верным ожиданием: „Все равно, дескать, теперь не уйдешь... А я вот покончу с делом, порешу с черной работой и тогда уж на досуге..." Тут начинаешь жмуриться, словно обласканный кот, причмокиваешь губами, перевертываешь на все стороны дорогую мечту и застываешь в блаженном созерцательном настроении. Туманит в глазах; мерещатся тучные, мягкие веники, звенят в ушах, как литавры, жестяные шайки; горячий пар, словно миллион кинжалов, щекочет усталое, обессиленное тело... И нет уже силы терпеть; мечта разожгла неспокойную до бани русскую душу. Я не был за границей, но думаю, что подобия русских бань не встретишь нигде. Я еще живо помню, как томился на Кавказе в полухолодных банях, где вместо шаек и тазов были какие-то смешные тарелочки, вместо горячего русского пара — тянуло от скользких стен вонючими испарениями. Осенью прошлого года приехал на Стырь отряд союза городов. В небольшой, чистой халупе вмазали в печь два котла, устроили по стенам лавки, укрепили полки, приготовили веники. Радостная весть живо облетела селенье. И в первую же ночь прошло через баню 500 человек. Солдаты оставили по себе целый арсенал

трофеев, но под утро баня сияла чистотой. И началась жестокая осада желанной гостьи. Сговорились, обсудили серьезное положение, распределили время. Днем приходили офицеры, вечером сестры, ночью солдаты. „Но счастье было так мгновенно...“ (?) Три дня без устали, без отдыха работала баня, и сколько прошло тут народу — одному богу известно, да старшему банщику. На четвертый день отряд снялся с места, вывернув котлы, и скрылся в безвестную даль. Мы еще долго ходили мимо опустелого дома, заходили даже взглянуть на разрушенную печь, на листочки разбитых веников, на поломанные осиротелые лавки. И в душе было искреннее сожаление, словно ушел от нас нужный, любимый друг. Здесь, в Д. (Двинск), земский союз устроил прекрасную баню, разбив ее на две половины: одну — для солдат, другую — для офицеров. Баня работает с 6 утра до 10 вечера. Много заботливости, предупредительности, внимания — даже бесплатная простыня к вашим услугам. И целые дни около бани несменной вереницей идут солдаты и офицеры. Входят полусонно, вяло, как будто чем недовольны, выходят свежие, веселые, с чистыми глазами, с закинутой назад головой.

24 апреля

В ЛАГЕРЕ

Мы с Кузьмой затомились в ожидании. Дела не было, и все-таки целые дни крутились у себя на конюшне. Итти было некуда, не к кому, незачем. Ходили и ездили вдвоем. Раза 2—3 верхом катались к сосновому бору. Полежим, покурим — и обратно. Скучно было так жить, с нетерпеньем ждали своего главаря. Обещал приехать 23-го; к этому числу приготовляли ему белого коня. Но вышло по-другому. Рано утром, часов в 5, 22-го числа Гребенщиков примчался в общежитие — в наше мирное, сонное царство. Приехал расстроенный, усталый, злой. Я спал, и Кузьма уже после передавал мне, как Гребенщиков расчесал ему кудри в первые же минуты. Я проснулся уже в 7-м часу и с места в карьер начал ему об'являть наши горести: команда не переведена с суточных на свой котел; сбежала лошадь с седлом; убыла и перехворала команда; три солдата эвакуировались в нашей обмундировке; лошади похудели; кор-

мушка идет не чистым овсом — приходится мешать пополам с овсом и проч. и проч. Хотел сразу измучить ему душу, чтобы не тянуть по ниточке, не бередить каждый день. Гребенщиков встал на дыбы. Горячился, жестикулировал, укорял, делал опоздалые указания... Решили итти на конюшню... Кузьма все слышал. Кузьма не спал и моргающими, перепуганными глазами смотрел на него. А тот, словно туча: теребит и кусает рыжеватый ус, ерошит волосы, мечет молнии из-под дрожащих очков. А у Кузьмы горе, он и тут оскандалился — сапог нет. Словно на грех отдал вчера в починку, и готовы будут только часам к 9—10-ти. И вот он сидит без сапог и молчит в смущении. Дорогой Гребенщиков напомнил мне кое-какие правила, установленные для нас военным ведомством,— о шашке, о револьвере и пр. Официальные разговоры он часто скрепляет ссылками на правила военного времени — такова натура: все должно быть пригнано, предусмотрено, огорожено от нападок. Лошадей нашел замаранными; уличал — и неоднократно — в том, что плохо ухаживали, плохо смотрели, плохо кормили... Приходилось молчать — было видно, что человек только душу, уставшую свою душу отводит в словах. Он видел, конечно, и сам, что при 6—7 санитарах немыслимо часто мыть и охарашивать слабых, до нас заморенных лошаденок; видел, что у этих 6 человек была масса другой работы. Ну, что ж: мы сказали, что было надо, а потом слушали молча, не раздражаясь и не обижаясь на его незаконную, но понятную брань. Хорошо. Тут было все порешено. Втроем верхами поехали за город искать в лесу место для транспорта. И нашли — да еще какое место! Зеленая луговина — словно месяцем — окружена сосновым лесом, а в ширину, между рогами месяца, серебрит Стропское озеро. И красота и удобство соединились тут пополам. Сухо, чисто, зелено, близко к воде, близко к шоссе, близко к городу.

Решили наутро же собрать и переехать в лес. К вечеру как раз приехал Шавиков, оставшийся в Москве товарищ. Собрались у себя в штаб-квартире — голодные, усталые... Воссели за бумаги — выработку плана переезда...

Покончив, улеглись. Только Гребенщиков еще долго-долго сидел в одиночку, склонясь над столом, и составлял необходимые бумаги, а наутро вскочил чуть свет, поднял с собою и

нас. Собрали инвентарь, фураж, забрали фурманки, впрягли лошадей, тронулись. Со сборами, конечно, было много тревоги, прекрасной, подбадривающей брани умного, энергичного Гребенщикова, было и расстройство, была и радость: „Чайка нашлась, у командира стоит!“ — об'явил Мищенко. Я — туда. Вместо вороной кобылы — стоит себе, пожевывает сено гнедой мерин. Ничего не вышло — так уж, видно, и прости наша Чайка. Дорогой несчастье. Мы построились гусем: кипятильник, кухня, фурманки, верховые... Лошади полудикие, автомобиля боятся, как чорта. Рванули, понесли. Об угол дома ударили возом, свалили все наземь, крепко пришибли несчастного возницу; пришлось отправить в больницу. Остальные два лежат при нас. Эти полегче. Наконец, приехали. Спешились, разобрали вещи, назначили кого куда. Во всем Гребенщиков понимал, все знал, везде был примером. И любо было посмотреть на главаря, который везде поспевал, все знает, все устраивает. За его головой — что за каменной стеной: надежно и спокойно. Кузьма с Леонидом уехали в город. Надо было закупить все на следующий день, с которого переходили на свой котел. Все крупное было сделано, только не сиделось беспокойному Гребенщикову: то узлы калмыцкие показывает, то недоуздки правит... Ребята выстроились на молитву. Пели как бог на душу положит, сосед на соседа не обращал никакого внимания и пел совершенно самостоятельно. После молитвы Гребенщиков сказал им простую, прочувствованную речь. Все поняли, зачем пришли, что надо делать, как надо жить в новой обстановке. У него большая способность говорить толково с людьми всех возрастов и воспитаний. Я стоял, слушал и любовался, верил в его простые, умные слова. Было легко и радостно. Потом ушли в палатку пить квас. Разговорились о литературе, о знакомых писателях, о его прошлой жизни, о кочевках по Сибири. А на воле все темней и темней. Только озеро блестело под лунным светом, словно серебро, да поднялся по лесу ночной таинственный шопот. Наши не ехали, и Гребенщиков волновался в ожидании, беспокоился, пройдет ли все благополучно. Он был прав в своем беспокойстве: первыми приехали груженые фурманки — у одной сломали дышло и передок. „Повинен наш постоянный злой гений — автомобиль“, — заволновался он, забранился. Так и лег спать,

не дождавшись товарищей. А ведь они хотели вернуться с тортом! Гребенщиков хотел угостить нас в день своего ангела. Ребята приехали поздно. Гребенщиков лежал мрачный, но после 2—3 шуток приподнялся, повеселел, пристроился пить чай. Кузьма был голоден, как волк, и отчаянно метался с заготовкой, мечтая даже о яичнице. Этот последний номер не прошел, но заправились все-таки крепко. Легли спокойно, усталые, но счастливые перенесенной, покончейной работой.

27 апреля

НАШ ДЕНЬ

Новая, оригинальная, интересная жизнь.

У опушки леса, на краю поляны, поставлена офицерская палатка; живем вчетвером; поодаль стоят палатки команды. У них пока тихо. Не заладилась погода, целый день стужа и дождь; много работы, заботы о лошадях, двуколках, фурманках... Но есть там гармошка, есть любители попеть, удариться вприсядку. Со временем в дни отдыха наладится и эта часть. А теперь — теперь только самый неугомонный иногда топнет на ходу раза 2 да гаркнет 2—3 слова любимой песни. И только. Все заняты. Работают плотники, работают кузнецы, портные, печники, конюхи... Дела много, отдыхать некогда. У нас много своей работы. Поднимаемся рано утром, будит обычно Гребенщиков. За ним поднимается Кузьма, потом Леон и, потягиваясь и вытягиваясь, я завершаю картину пробуждения. То же ввечеру, порядок тот же: Гребенщиков первый, я последний. Здесь устраивают чай. На столе масло, хлеб... И тут же начинается распределение дела, наказ уезжающему в город Кузьме. Наряд обыкновенно составляется с вечера. Гребенщиков опрашивает наши требования, оформляет и каждому дает распоряжение на следующий день. Приходится заниматься бог знает чем: лечишь лошадей, устраиваешь двуколки, учишь санитаров переносить, брать, класть мнимо-раненых. Вчера мы раскинулись по поляне. У 6 носилок работало 12 человек. Клали своих солдат, носили их по лугу. Подошли 2 женщины; остановились. Потом заплакали вместе. Потом одна упала на грудь другой и зарыдала. Было, знать, о чем порыдать.

Команда быстро приучалась к делу. Шаг был ровный; поняли, запомнили мою просьбу об осторожности и мягкости обращения и своих ребят укладывали и снимали нежно, тихо, словно грудных младенцев из люльки. С готовыми двуколками поехали определить тряску. Накануне, когда я вез с собою из города в лагерь десять двуколок, навстречу шел батальон солдат. Впереди тихо, сгорбившись, шел пожилой офицер, повидимому, из запаса. Поровнявшись с двуколками, он вдруг оборотился к солдатам и крикнул: „Ну-ка! Умер бедняга в больнице военной!“ И разом запели солдаты. Полилась грустная песня, захватила, увлекла. Я чувствовал, как подступали к горлу слезы.

И так с утра начинается наша разнообразная работа. А часов в 12 обед. Обед из общего котла с солдатами: горох, каша. Широкие, деревянные ложки, вид на поляну, солдатский говор, свежий воздух, бодрое, напряженное состояние. Попросту, без затей. И вспоминается с отвращением прошлое сытое житье в поезде, где было так много борьбы из-за третьего блюда. Здесь одни мужчины. У нас как-то сам собою отпадает вопрос о богатом столе; что есть — на том успокаиваемся. И это не похвала нам, это только укор женскому желудку, победившему душу. Каждую минуту возникают новые требования, появляются новые дела. А вечером, часов в десять, Зуев приносит носилки, приготовляет постели. И так почти под открытым небом идет наше житье.

2 мая

СЧЕТА

Пришло время сдавать счета.

Сердце билось, словно рыбка, угодившая в вершу. И отчего бы ему так колотиться? Неповинна совесть, покойна душа, а сердце колотится, не унимается, словно беду почуяло. В палатке холодно, сидим все в шинелях. Кузьма сидит рядом и приготовляет свои бумаги, Леонид что-то разносит по своим капитальным книгам и изредка нежно-нежно касается пальцами правой руки начинающего лысеть затылка. Это минута наибольшего напряжения, это он соображает и раскидывает мыслью. Кузьма грузен и молчалив. Гребенщиков хмурится и

предвкушает горе отчетности и проверки наших бесшабашных счетов. Подаю один, другой, третий...

— Слушайте, нельзя же так писать... Это что такое? Кто получил, когда, за что получил?.. Ничего не понимаю... Господа, нельзя же так... Нет, это чорт знает что такое...

Брови сдвинулись, стали как будто гуще и рельефнее; высокий умный лоб избороздился морщинками... Идем дальше... Одни проходят гладко, другие с отметками и поправками, третьи с укоризной, четвертые с бранью и скрежетом зубовным... Я, конечно, не робею; совесть моя чиста до дна, дух мой спокоен, потому что знаю, что и он, Гребенщиков, верит мне до дна. Налицо один только стыд — стыд за свою беспомощность, за неуменье, за мальчишескую свою неосторожность.

— Нет! Нет, так нельзя!— вскрикивает вдруг он.— Я этого счета не беру... Не беру счет, как хотите... Так счета не пишут...

Я молчу. Я знаю, что прогремят слова и за ними об'явится простой, легкий выход из создавшегося положения.

Гребенщиков всегда таков: накричит, перепугает и в результате устроит безукоризненно честно: отнесет очевидные, но и путанные расходы в другую статью, закрепит своей подписью — и дело в шляпе. Моя страда кончилась; кончилась сравнительно спокойно. Главную муку перенес Леонид. У него была большая неурядица благодаря безграмотным росписям солдат. Ему пришлось перенести тяжелую сцену укора, брани, почти оскорбительного подозрения. Не думаю, чтобы Гребенщиков подозревал его в произвольных перерасходах, но сам Леонид многое истолковывал в этом смысле.

— Это чорт знает что такое!— Я не допущу такого разгильдяйства. „За неграмотного Живосоренцова получил Стенмащук". Да это что же такое?.. Да как же он мог получить чужие деньги?.. Он не получал их! Он права не имеет, он всего только расписался за неграмотного. Ну, господа,— как будто смягчился он вдруг.— Ну, как же это можно?..— И вдруг яростно кричал:— Это ведь не свои, это чужие деньги... Понимаете: чу-жие-е... И как вы смеете обращаться с ними так небрежно? И с такими суммами! Здесь ведь 193 рубля... Да знаете ли вы...

— Гребенщиков,— тихо прервал его разбитый и уничтоженный Леонид.— Гребенщиков, ну, не взял же я их себе... Ну, посудите сами...

— Что вы мне басни-то разводите,— обрывал Гребенщиков.— Вас никто и не подозревал в этом. Вам только говорят, что так нельзя, так нельзя счета составлять, понимаете?

Голос у него начинал обрываться, ноты все тоньше и выше, глаза все яростнее, брови гуще, и движенья порывистей... А Кузьма замер сбоку. Машинально перелистывал свои бумаги и обоими ушами жадно и трепетно ловил страшные укоры... Но ему уже легче было итти по пути, проложенному Леонидом. Так оно и вышло. Кузьме были сделаны резкие, надрывные указы и укоры, была с ним брань, но все это имело уже характер повторяемого, отгремевшего свою первую, свежую силу. Так кончилась отчетность, кончилась двухдневная мука. Бранились, кричали, спорили, а потом — потом, за вечерним чаем искренне шутили, смеялись и по-приятельски острили, вспоминая недавнюю бурю.

САМОВАРЧИК

Как долго мы ждали его! За вечерним ли чаем, когда просили душа и тело законного себе отдыха; за утренним ли завтраком, когда просили душа и тело укрепить их на дневную работу,— только и разговору у нас было, что о нем, о самоварчике. Мы вспоминали его, словно далекого, общего, милого друга; тосковали по нему; открывали в нем массу еле приметных достоинств, мечтали о нем, слали ему свой дружеский привет и ждали, ждали его бесконечно. И он пришел. Он не пришел, а Кузьма торжественно привез его на своей знаменитой таратайке, привез неумытого, утерявшего где-то свой медный череп. Это нас не смутило, не разбило нашу радость. Встретили друга ласково, гостеприимно. Каждый подходил, любовно заглядывал в его худую голову, потирал руки и значительно улыбался. Скоро мы водрузили его в центре собрания. Зуев отчистил, отмыл его загрязненное бренное тело, припомадил, налоснил. И вот стоит он, играя желтыми тонами, улыбаясь, словно жених перед брачной дверью. А мы осматривали

его со всех сторон, похваливали, благодарили за то, что принес к нам разом так много тепла и жизни. А тепло нам было дороже веселья. Дни стояли такие суровые, что шинель волоком не стащишь с плеч; целые дни в воздухе носились то снежинки, то дождевые капли, то горошинки града, была какая-то неопределенная сумятица, от которой нам доставалось жестоко. Мерзли, но не роптали. Даже наоборот: радовались тому, что сразу послано испытание, что судьба начала закалять нас с первого шага. И вот тут, в эти ненасытные, холодные предмайские дни, пришел к нам он — толстый, блестящий, так задорно дышащий жизнью и теплом. Ну, как же было не радоваться; как можно было не восторгаться им, не приветствовать его как желанного, дорогого друга?! Теперь каждый день он сияет перед нами, очищенный и умытый Зуевым; шипит, волнуется, веселит нас своей неугомонной, заунывной песнью.

Лагерь. 4 мая 1916 г.

ОБСТАНОВКА

Притихло. Эти последние дни мы не слышим артиллерийской пальбы. И без нее как-то странно; чувствуется, что не все в порядке, что замолчали временно, набираясь сил, запасаясь мужеством. Бойцы сошлись. Они стоят готовые и смотрят злыми, ненавидящими глазами друг другу прямо в лицо. Они знают, что наступило решительное время, и потому немного медлят, выжидают, напрягаются духом. Затишье перед бурей. А грянет она, и скоро грянет. Это напряжение не может длиться долго. Враги слишком страшны один другому — ненавидят, боятся, но и уважают. Сила всегда уважает силу, как бы над ней в запальчивости ни издевались. Замолчали, бросили надоевшую перестрелку, хочется перед смерью побыть в молчании. И только ли в молчании? Кругом ведь птицы, и поют они все веселые, любимые хоровые песни. Сосновый бор шумит день и ночь,— то жалуется, то молит, то зовет к себе под защитную тень. А птицы поют. Выждут, пока примолкнет пушечный вой,— и поют, поют, поют...

И такой получается хаос, такое получается несоответствие, что волосы подымутся дыбом, если только до дна понять весь

трагизм этого несоответствия. Здесь кровь, здесь ужас и кошмар, здесь яростно рыкают алчные жерла ненасытных чудовищ, а тут вот рядом поют птицы. Сегодня эти птицы встречают звонкою песнью бодрые полки приходящих солдат, а завтра... завтра они пропоют эти же звонкие песни на свежих, еще неумятых могилах. Птицы поют свою красивую, жадно зовущую песню и говорят о чем-то совсем-совсем другом, о том, что не похоже на обильное горе людское, о том, что не умыто безнадежными, горькими слезами,— поют о радости, о новой красивой и вольной жизни. Придет ли она? Вот разойдутся черные тучи, минует гроза, но Солнце — покажется ли Солнце? Будет ли играть оно по земле своими новыми, освобожденными лучами? Мир засеяли человеком и полили человеческой кровью и слезами,— так взойдет ли на этой ужасной ниве то жадно искомое счастье, за которое миллионы людей бьются и умирают? И у каждого маячит в сумраке свое любимое Солнце, у каждого свое счастье, которое кажется врагу порождением ада.

Столкнулись идеалы, столкнулись десятками и сотнями лет скрепленные убеждения. И кто же мог подумать, что эта война не будет ужасной? Сошлись стихии, сошлись два извечных бунтаря, сошлись „враги", сошлись тело и душа. Там — жестокое, беспощадное, красивое тело стального человека, здесь — буйная, возмущенная душа, столь же страшная и жестокая в своем возмущеньи.

НОЧЬ В ЛАГЕРЕ

Холодно, ой, как холодно! А ветер хлопает и треплет широкие фалды палатки. Врывается холодной струею по земле и бьет по ногам. Здесь, по берегу озера, раскинулось много транспортов и обозов, заполнили весь берег, перепортили сосновый бор... Загорелись по лесу костры... Вон светлое пятно блестит в густых зарослях; можно подумать, что это и не костер, а глаз, огневой глаз лесного чудовища, так глубоко забрался он в густую заросль. А эти вот приладились на поляне, сели кружком, принесли гармонию — ну, теперь пойдет веселье. И впрямь. Этот коротыш, я уже чувствовал, не утерпит:

ну, что же, пляши, никому не мешаешь. А как ярко он выделяется у костра из этой густой нависшей тьмы — словно бес у пекла вертится... „Тр...р...р“. Что-то затрещало — мерно и четко. Вот оно приближается, звуки явственней, бой отчетливей... Что может быть: цеппелин? Нет, это не он. По небу давно гулял бы теперь прожектор, пушки давно приветствовали бы нежданного гостя... „Б...бах.!. Б...бах!..“ И, как бы опровергая мою мысль, загремели выстрелы. Но небо по-старому было мрачно и недвижимо — шум доносился откуда-то со стороны. Потом ужасно запахло — каким-то новым, незнакомым духом. Неужели газы?.. Но как же сюда? Ничего я не понял... Постоял еще минуту на воле и вошел в палатку... Тихо. Кузьма спит, и в тишине мерно раздается его ровный, здоровый храп. Замирают солдатские песни, похрустывают сучья подбрасываемого хворосту... Бр...р!.. как холодно... А надо еще раздеваться. А под одеялом еще так холодно — когда тут согреешься... Бр...р...р!

И начинаешь махать руками и ногами, чтобы согреть хоть немного коченеющее тело... А в воздухе все чудится подозрительный шум, слышатся разрывы. С этими мыслями засыпаю каждую ночь.

10 мая

Когда я вошел в комнату, холодную, высокую, скорей похожую на стойло,— она сидела на кровати, поджав под себя ноги и спрятав в подушки забинтованную руку. Ей было лет 36, но глаза — такие чистые и печальные — говорили о молодой, усталой, но полной жизни душе. По белому, некогда прекрасному лицу разбежались во все стороны мелкие морщинки — живые свидетели пережитого горя. А горя было много. Еще в прошлую войну пережила она целую трагедию при Лоянском отступлении, когда нас гнали, как баранов, когда в миниатюре был создан прототип нашего современного изгнания из Карпат. У нее сохранились до тонкости подробные воспоминания о тех далеких днях. „Больше всего удивлялась я солдатам. Для них интересы повседневной жизни, кажется, важнее и сильнее самого страха смерти. Ведь такой ужас был, такая была паника, что нет слов передать, а они, солдаты, примостились под горой

торговать сапогами. И смех, и грех. Кругом огонь и пальба, кругом сплошное бегство, а они подбирают по дороге разную брошенную мебель, обувь, припасы,— чудной народ, не пойму я его...

— Вы что сидите прикутавшись?

— Разболелось тело, руку ломит...

— А что с рукой?

— Да я же ранена была...

— Ранены? Давно? Расскажите, сестра.

Она провела худой рукой по волнистым темным волосам, взглянула на меня и, словно почувствовала доверие, а может, и от скуки, свободно и охотно стала рассказывать.

— Это было еще в феврале прошлого 15-го года. Под Сувалками был тогда окружен 20-й корпус генерала Булгакова, при котором был наш подвижной лазарет. Кольцо стягивалась все уже и уже... Нас придавили в лесу, и корпус сбился в одну громадную кучу. Выхода не было, пробились только два полка — о них восторженно отзывались в Германии, это я узнала уже после, в плену. Вообще, у них есть своеобразное благородство: исключительной доблести и храбрости врага отдавать должную честь. И вот мы сбились в лесу. Об этой опасности гадали и раньше — потому все ценное и тяжелое из нашего лазарета было увезено месяцем раньше. Оставили только нас — несколько сестер и врача — подбирать последних раненых при отступлении. Нас как-будто бросили, не дали даже никаких инструкций на случай осложнений. Вообще скажу вам, что в критическую минуту сестрами не особенно дорожат, оставляют и бросают их, как неценный, легко пополняемый материал. И мы кочевали эти девять дней — голодные, прозябшие, кочевали с поляны в лес, из лесу опять на поляну. Бессонные ночи измотали нас вконец, а опасность все грознее, разрывы все ближе... Как тяжелы были эти девять дней!.. Вспомнить теперь — страшно от одного воспоминания. А тогда... нет, всего не передашь!

Она быстрее, чаще проводила рукой по седеющим, красивым волосам, сдерживала себя, но голос заметно дрожал, а глаза горели и злобой, и страхом, и непомерным восторгом...

— Бежать было некуда,— продолжала она минуту спустя: — кругом немцы... Потом ударились все к Сувалкам, не знаю почему, но как-то инстинктивно один тянулся, бежал за другим. Поднялись и мы. Был уже поздний вечер. В этом хаосе, в паническом бегстве я потеряла своих. Мчались мимо всадники, мчались сорвавшиеся лошади, двуколки, обозные телеги, бежали люди, солдаты, офицеры, сестры — все бежало, кричало, терялось во тьме. Я прицепилась к фургону; он был облеплен солдатами — и где же было мне удержаться, когда сваливались даже солдаты? Лошади рванули, я полетела вниз, поднялась, отошла в сторону и села. Потом притихло. Все проехали мимо. Я осталась одна. Едет священник и с ним какой-то чиновник. Попросилась, посадили. Потом остановили лошадей, отпрягли. Я ничего не понимала, все происходило в глубоком молчании. Поп сел на одну лошадь, чиновник на другую — и ускакали, а я осталась сидеть в пустой тележке. Посидела-посидела, ничего не надумала. Сошла с тележки и побрела в темноту.

Куда было итти и зачем вообще итти — я ничего, ничего не знала. Пришла в лес, там голоса. Что это: свои или немцы? Подкралась, прислушалась. Это были наши, запутались в чаще и не могли выбраться. В это время лес начали жестоко обстреливать. Кругом рвались снаряды, мы не знали, куда бежать. Потом я почувствовала вдруг, что не могу итти, опустилась — сквозь рукав просачивалась кровь, ломило спину. Больше я ничего не помню. Нас перебили всех — кого убило, кого ранило. Подобрали нас германские санитары; я очнулась в двуколке. Таким образом я попала в плен. Меня направили прямо в Кенигсберг. И вот, когда я лежала в лазарете,— только здесь я поняла и почувствовала, как дорога мне родина, как я люблю ее, как тяжело мне за ее неудачи. Каждый день доктор приходил и об'являл мне, что германцы гонят русских, что взяли одну, другую, третью крепость... У них было постоянное ликование. Они никогда не пишут о своем поражении, пишут только об удаче, и, когда под Шавлями у них отняли много орудий и разбили целые полки,— в газетах была только короткая заметка об очищении немцами передовых шавельских окопов и об оставлении трех орудий. Ухаживали они за мной хорошо,

сестры часто приносили мне цветы и говорили со мною, как могли.

Но доктор часто был невоздержан: ругал русских, корил их за вторжение в Карпаты и злорадно уверял, что нас догонят до Сибири, что нам не на что упереться. И так как мне больно было от этих слов, так как я много выстрадала за эти 6 месяцев, то теперь прямо скажу, что русскому человеку невозможно не любить Россию. Пусть он думает о ней, как хочет, пусть не верит в это чувство. Но придется ему пройти через такое вот испытание, как мне,— почувствует, как он любит Россию. Я не считала себя патриоткой, но эти непрестанные манифестации, это явное торжество победителя — измотало, издергало меня окончательно. По десяти дней я не брала газеты в руки, чтобы не читать, только не знать ничего о наших поражениях. Но все время была неотвязная мысль, была надежда: „А может быть... А может, и мы что-нибудь взяли"... И снова, снова одни поражения.... Боже мой, как было тяжело...

Я вам передала только факты, а что на душе было и осталось — не передашь словами.

Замолчали. Глубже в подушки просунула ноющую руку. Вздохнула... И видно было, как толпились перед нею сотни образов, еле уловимых, сотни мыслей и чувств, не передаваемых человеческой речью...

РАССКАЗ ФЕЛЬДФЕБЕЛЯ

(Разведка)

Задача нам была дана короткая, но трудная: перерезать проволоку перед германскими окопами. Дело не шуточное, до проволоки нельзя дотронуться — сейчас же зазвенят колокольчики. Стражи ночью, правда, они много не ставят, зато часто пускают ракеты, а под ракетой как на ладони видно. Нас вызвалось шесть человек: ребята один другого отчаяннее, горячие ребята. Только с такими и трудно в этом деле, главное, торопиться не надо. То-есть оно и надо торопиться, да не очень, чтобы все дело не попортить. Темная была ночь на ту пору,

ах, темная! — мы только по голосу один другого узнавали. Направление знаем, знаем, сколько и рядов. Порешили доползти первоначально в котловину и там лежать до тех пор, пока не затухнет новая ракета. А как затухнет — сию же минуту к проволоке и за дело. В котловину заползли — прилегли, не дышим тут уж до проволоки недалеко. Вижу: Бутько рядом со мной — на траве-то светлее, разглядел. Лежит и рукавом трет себе нос; прочего движения — никакого. Легли по порядку, один смежно к другому. Ну вот и она — поднялась, остановилась в воздухе и горит. А на поляне словно днем, хоть в чехарду играй — как видно стало. Ребята все приникли к земле, а я поглядываю из-за камня да наблюдаю. Вижу: стоят на горе двое и поглядывают во все стороны. Туда, сюда посмотрели — ничего не видно. Один показал пальцем в нашу сторону, видно, что-нибудь про котловину говорил, но другой махнул рукой — и тот успокоился. Отошли дальше, а свету все меньше и меньше. И когда ракета сгорела — такая сделалась тьма, словно пуще прежнего.

— Ну, ребята, — шепчу им: — с богом. Учить вас не буду, сами все знаете. Своя жизнь каждому дорога, а потому храни осторожность. Первым делом за проволоку смело не берись, и, ежели близко колокольчик, бери его за язык, обрежь его первоначально, а потом и проволоку. Не торопись... Ну...

Ребята молчали. Каждый понимал, на какое дело идет и как надо его исполнять, а посоветовать немного все-таки надо было, для утверждения и для спокоя совести. Поползли. Бутько рядом, и так ползет шельма, что я сам не слышу, словно бы кошка крадется по траве. Так рядком и пробираемся. Потом дистанцию разомкнули: я с Герасимовым по краям, четверо по середине. Достигли и проволоки, немного приостановились, как было прежде решено, а потом каждый занялся делом. „Чик-чик-чик“... Только и слышишь чиканье, да и не слышишь, может, а только думаешь, что слышишь... Проволоку не бросали разом, а придерживали и складывали ряд за рядом. Перебрали пять рядов, остался последний — шестой... Один — казалось бы, и дела немного, а тут и главная-то задача: чутко он поставлен, близко перед окопами, тут и стража ходит и случайно кто может приметить. Да и времени много ушло. Вот-вот подымется

новая ракета — тогда погибай наша доля. Тут как-то и руки сами собой торопятся. „Динь“... У кого-то звякнул колокольчик... Мы остановились... Слава богу, не услышали... Дорезали мы последнюю проволоку и наутек — тут уже не так остерегались, приползли и добежали скоро. А поутру наш полк взял у них две линии окопов и в плен привел довольную сумму. Вот она что значит проволока-то — ее, окаянную, только осторожностью и победишь... И не мудреная она вещь, а занозистая — не погубишь, не перескочишь.

27 мая

ПЕРВЫЙ РЕЙС

Приехали в 59-ю дивизию. Работает она в районе Козян, и перевозить нам придется главным образом на Полово через Семеновичи. В Полове 1-й, в Семеновичах 2-й лазареты дивизии. От Полова санитарные поезда в дни четных чисел по узкоколейке перевозят больных в Сеславин. Первый рейс был 24 мая. Погрузили около 30 человек. Характер работы определился за первый же рейс. Есть что-то механическое в транспортной перевозке, бездушное, не говорящее сердцу. Самое назначение транспорта уже обусловливает эту механичность работы. Принимаешь больных, усадишь, сдерживаешь по пути лошадей и сдаешь больных и раненых такими же незнакомыми, какими они сели в двуколки. Не знаешь ни тяжести раны, ни его состояния, ни перенесенных страданий, даже имени не знаешь. Слишком деланно и ненужно было бы это узнавание, когда видишь их всего несколько минут, да несколько часов везешь в закрытых двуколках. Такая назойливость имеет все права оскорбить и надоесть солдату. Другое дело было в санитарном поезде, где солдат на твоих глазах находится целые дни, пока не увезешь его за сотни верст. При стационарной работе летучки также была возможность, хотя и меньшая, ближе подойти к солдату. Теперь не то. Из Козян до Полова дорога бревенчатая, настельная, засыпанная землей. В одном месте бревна ходят, как клавиши. По всей дороге работают девушки и молодые ребята, иногда мальчики. Возят лес и землю, заравнивают канавы, чинят

настилку. Тут же, конечно, и солдаты, прикрывающие от дождя плащом круглолицых, румяных девушек, нашептывающие им бог знает что и бог знает за что их пощипывающие. В первый день погода задалась дождливая. Дрянной финляндский плащ не только не помогал, а, наоборот, пристал какой-то скользкой плоскостью и холодил тело. Навстречу бессменно ехали подводы со снарядами, хлебом, фуражом. На-днях замышляется что-то крупное. Стягивают силы, отчаянно работают телефоны дивизионного штаба, приходят вымышленные бодрящие телеграммы. Где-то без обозначения места и точного времени, взяты многие тысячи врагов, орудий, пулеметов, оружия, снарядов, обозов и пр. и пр. По стратегическим соображениям точные цифры и названия до поры, до времени должны остаться тайной. Странно одно: когда берем крошечную деревеньку — вот-крытую об'является и место и время, а теперь — теперь и вправду неудобно же записать взятый какой-нибудь крупный пункт, когда он еще в чужих руках. Телеграмма должна широко распространяться по войскам —„для под'ема и бодрости".

Обозы ехали к Козлам — здесь что-нибудь и замышляется. И неужели будет так же трагичен конец, как в марте у Постов? В ночь на 5 марта с. г. началось там наше наступление 5 корпусами, стоявшими в затылок. И кто же их разбил? 1—1½ германских полка! Дело в том, что в нашу сторону мысом вдавался лес, занятый неприятелем. Из этого леса, нами не обстреливаемого, немцы продольным огнем били по флангам и набили... 32 тысячи раненых! Это же ужас! И наша разведка и пленные германцы — все говорит за то, что у них в деле было только 1—1½ полка. Шли подкрепления, но лес отстояла горсточка и не дала нам сделать прорыв. Снарядов было вволю, орудий, пулеметов, оружия — с избытком, войска, по отзывам ротных командиров, шли прекрасно. И все-таки гибель, позор и неудача. Назначили следствие, одного генерала куда-то упекли. Но что же нам-то до этих „упеков" post factum! Теперь вот новое зачинание. К чему оно приведет? К чему вообще приведут нас наши стратеги и военные знатоки? Выходит как-то так, что частная удача об'ясняется единственно личной смекалкой и отвагой мелких сошек, а командование остается не при чем и получает одни только рапорты о совершившихся фактах.

ТИХИМ ВЕЧЕРОМ

Поздно, тихо, темно. Сидим у своей палатки средь насаженных елок и молча смотрим в темное поле. Все полегли спать. Сидит только Кузьма, сидит Ная и я. Молчали втроем. Лягушки отважно и резко поют на болоте, там же где-то кричит певунья-птица, а издалека — видимо, из другой деревни — мягким эхом стелется хоровая песня. Не слышно голосов, нет слов — только мелодия льет-переливается в тишине.

— Вот поют,— мечтательно промолвил Кузьма.— Поют, а на деревне, где-нибудь в глуши, жена, поди, ворочается с боку на бок, вздыхает: „Где-то Миколаша мой? На окопе, поди, сидит, с немцем дерется?“ Али мать, старушенка эдакая дряхлая, на коленях во тьме-то перед образами опустилась. Молится, и горячо молится. Не знает, что Миколаша вот на дереве и песню поет. И немца нет, и сам его не бьет, и тот его не трогает... А тишина-то какая! Чу! Теперь особо ясно слышно...

И вправду — словно к нам обернулась песня, сделалась вдруг четкой и ясной...

То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит...

Песня замерла, ее сменила другая: торопливая, злая, бездушная; вдруг затрещал пулемет, другой, третий... Пушки раскрыли голодные зевы и заухали, засверкали ракеты... Где-то далеко-далеко прорезал тьму прожектор; тихо прошелся по небу млечной полосой и так же тихо опустился во тьму.

— Атака...

— Да, знать, крадутся... заприметили...

И когда замирал стон летящего снаряда, отдаваясь далеким разрывом,— схватывало сердце, щемило... Так ясно-ясно представляешь себе страшную картину: ухнул, лопнул — на все стороны попадали солдаты... Один хватается за грудь, другой за окровавленное лицо, третий щупает перебитую руку... Лежат без движения — и навзничь и животами: этим вечный мир и покой, они не услышат нового разрыва. А эти вот окровавленные уже слышат новый, страшный свист... Он, это опять он... Вот-

вот... И где-то вблизи снова ухнуло чудовище, окровянились новые жертвы... Потом примолкло... Снова тишина... А песня из дальней деревни по-старому льется грустной мелодией — она не обрывалась, она так же будила тьму во время жестокой и близкой пальбы.

3 июня

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ПУТЬ

Это ведь ужасный, молчаливый и многострадальный путь — в тыловой лазарет. Так долго намается, так много увидит, так жестоко еще настрадается бедный солдат, пока попадет в это сказочно-светлое, высокое и теплое здание с мягкой постелью, с белыми широкими простынями, с заботливой прислугой, с хорошей пищей...

Словом, велик еще и труден путь до тылового лазарета. И вся эта мучительная дорога, все мытарства, выгрузки и перегрузки, записи и расспросы,— все это так измотает его, что в конце концов пройденный путь стоит за стеной страшным кошмаром, с утерянными гранями, без начал и без концов. И не только по неразвитости солдат не может передать только что минувшую, многострадальную полосу жизни, передать в порядке и последовательности,— нет, за личным страданием у него нехватало ни сил, ни времени наблюдать колорит и внешнюю, чужую жизнь. А страдание лежит на душе, словно черная лента-змея: однообразная, неизменно остро-холодная и безжалостная. О страданьи много говорит только тот, кто мало страдал, кому чудится наслаждение в этой тупой кичливости своим горем, кому даны только пустые слова о страдании взамен настоящей чужой муки. Потому страдалец-солдат бессвязно, скачками припоминает отдельные, яркие эпизоды, противоречит и сбивается. Сомневаешься, думаешь, не лжет ли он. Но по части лжи у меня теперь определенное мнение для солдата: врать, подобно интеллигенту, захлебываясь в собственной лжи, собственную фантазию принимая за свершившийся факт, придумывая разом и канву и узоры,— он не может. Так врет только интеллигент, в частности газетные соглядатаи. Солдат расцвечивает, раскрашивает,

дополняет неяркую, на его взгляд, картину. Но он всегда идет по готовой, правильной, живой основе.

В основе у него факт, а узоры — узоры наносятся по об'ему личной фантазии. Поэтому чистых вралей среди солдат, кроме тыловых писарей, я себе не представляю.

Начинается рассказ. А как тут расскажешь о своем личном, никем кроме тебя, не пережитом страдании? Да и кто его поймет, кому оно в сущности нужно? Поймут слова, но главного, невысказанного не поймут. Потому гордый и умный солдат комкает бесконечно интересный рассказ в крошечную историйку. Поэтому вы всегда отходите с чувством неудовлетворенности от умного солдата и с чувством пресыщения и недоверия от легкомысленного болтуна, счастливого самолюбованием, каждый день рассказывающего новые страхи. Таких болтунов, конечно, сколько угодно, особенно из трусов, но это не настоящие солдаты — это временная, неудачная приправа к сильному, здоровому блюду. Расспрашивают солдата больше из любопытства, чем из сострадания, потому он в конце концов оскорбленно замолкает и сторонится назойливых посетителей или тешит их, коротко рассказывая одну и ту же, все одну и ту же историю. Но вдруг он почувствовал, что подошел к нему настоящий человек, подошел и молчит. Так он, пожалуй, молча и отойдет, если ты не заговоришь с ним. Но и солдат уже чувствует, что в этом молчании большое к нему уважение, большая чуткость и осторожность.

„Присядьте ко мне...“ И только теперь, в первый раз за долгие месяцы, собирает солдат смутные остатки недавней жизни в одно, склеивает их кое-как в общую картину, передает молчаливому слушателю...

Ранили ночью... Но ведь трудно так вот уверенно сказать, что это была ночь... Времени мы не знали, а в мученьи можно и солнце проглядеть. Были и звезды... По широкому лугу медленно плыли бледнорозовые полосы света... Откуда этот свет? А... это прожектор забавляется... Ракеты застывали... Вот они, вражьи огни: лопнут и стоят, как факелы... А вот и наши — они золотом рассыпаются по лугу: да это наши. И вот я уж теперь не помню: может быть, свет этот был от застывших ракет, а может, и солнце поднялось... Ночью лазили наши разведчики и перерезали неприятельскую проволоку. Да заметил вражий

глаз, заставил пулеметами, встретил нас по-хорошему... Посмотришь — тут упал, посмотришь — здесь упал, а все бежишь... И куда бежишь и зачем кричишь — бог весть... Задеваешь упавших товарищей, спотыкаешься, но бежишь все дальше и дальше... Бегут и другие, тоже что-то кричат, но я их не вижу, и голоса их словно из-под земли доносятся. А пулеметы работают, словно лягушки ввечеру раскричались...

Дергает пушку, и кажется, что где-то вдалеке лает огромная цепная собака... Да... Ну, а потом и я, видно, упал... Когда очнулся, тихо было... Кругом только стон и слышался — да тихий, жалобный такой... Это уже безнадежные остались... Кто мог — все поднялись, уползли, убежали к своим частям... Я не чувствовал никакой боли и не знал даже, куда ранен... Но была такая слабость, что ни крикнуть, ни самому тронуться... И не было мысли, что помру ли, дескать, и где нахожусь: у врага или перед своими... Ни о чем не думал тогда. И, надо быть, от слабости снова опустился... Только в каком-то забытьи, словно эдак во сне чувствую, что поволокли меня, откуда-то вытаскивали, куда-то уносили... И тут мне стало нестерпимо больно, только что больно? — я все-таки не знал... И сказать не могу... А понесли... И так мне сделалось вдруг страшно, так страшно!!! Я подумал, видно, что в могилу несут... Только — как же это, я ведь живой. Ну, вот и опять уж тут ничего не помню... А глаза я открыл уже после, от большого толчка... Еду в телеге; да нет, и не телега — это фургоном называют, в военном транспорте еду... Двое носилок снизу, двое сверху, и эти, что наверху — словно качели качаются, так что страшно под низом лежать... Внизу лежит кто-то и охает... Погляжу — Вальков лежит, наш взводный... Оба-то мы слабые, оба никуда не годимся, а все-таки начали шопотом разговаривать... Только трясет, да стучит,— не все слышно... Ему руку оторвало да прободило грудь, а у меня вот голову... И теперь там еще осколочки остались, в голове-то... И рассказывает Вальков — прошибли наши, все пулеметы у него отобрали, только погибло народу много... И про которого я ни спрошу — али он убит, али тоже поранен, как и я... Про меня не надеялись — думали, что богу душу отдаю... Ан, выходился... Только сотрястись невозможно, даже шагом помалу следует ходить...

И вот уж мы тряслись-тряслись, уж мы мучились-мучились в этой повозке... Потом приехали... На пункт приехали. Тут сняли и положили на полу... Надо думать, что этот самый пункт был еще недалеко от позиции, потому артиллерию было слышно четко. Здесь мы находились недолго, надо быть, полторы суток... И завязывали, и перевязывали, и ковырялись тут у меня в голове... Все нащупывали что-то и делали совещание: здесь меня надрезать али дальше... Они тут говорят, а я ведь ни единого словечка не пропущу, все у меня в памяти, словно в книге, остается — потому хочется узнать: буду жить, али нет... Только запомнить трудно: все слова незнакомые... Ну, известно, подзовешь фельдшера и станешь его спрашивать об этих самых словах... А он смеется, да поправляет. „И откуда, говорит, ты этакие вещи знаешь?..“ А я разве скажу ему — откуда: услыхал, да и только... Короче говоря, я тут узнал, что голову мне резать не будут и осколки вынимать оттуда будут после... Не то, чтобы легче стало, а не так страшно... Потом нас забрали; опять, значит, на носилки, опять повезли... Только уж тут были экипажи настоящие — говорят, что такие в одной Финляндии делаются. Тут было ехать поспокойнее... Да и солнышко, помню, глянуло... Отворотили мы застежку — поглядываем... И что-то не помню я таких мест: ни дороги такой не видал прежде, ни луга такого. А уж в этих местах все знал... Оказалось, что леса тут порубили, а по топи проложили бревенчатую дорогу... И не знаю — правда али нет, говорили: каждая верста такой дороги из готового лесу обошлась анжинеру около 50 тысяч рублей... Э... э... эх... дорогая вышла эта дорога!.. По ней-то мы теперь вот и ехали. Тихо, не торопясь, ехали, а спереди кто-то все еще наддавал: „Тише, тише, говорю... Осторожней, канавы!“ Дай ему бог доброе здоровье — этому вожатому... Опять к лазарету под'ехали, опять нас тут высадили; занесли в палатку — высокая, белая, словно молоком ее облили... Ну, думаю, здесь-то вот мою головушку и замучают.

Только и тут не тронули... Заночевали, значит, мы эту ночь, повязали, закрутили мне голову и прямо на носилках перенесли в вагон — это санитарный поезд пришел... Так уж думаю — всему теперь конец: довезут, положат и выздоравливай с богом! Ан нет. Долго еще возили меня по разным городам; и в лазаре-

тах лежал и на пунктах переносили в больницу, а голову порезать все не решались. Так вот и рассудите сами: давно ли я здесь — совсем недавно... Уж осень, а я ведь от самого мая из одного города в другой катался. Тут десять раз помереть было можно, только уж сестрицам дай бог женихов хороших: ласковые они. Когда уж очень-то тяжело случится — наклонится она к голове да и молчит... А ведь белая, хорошая такая... Дескать, ангел наклонился, да и только... И сразу полегчает... и не скажет она ничего, только поглядит ласково, а полегчает... Дурное говорят — только что же это... я уж не знаю...

Спервоначалу я сам дурное говорил больно про них охотно, да легко говорить: никто тебя не удержит, никто не запретит, а весело... Только — кто же не грешен из нас? Как только я это подумал — так и смеяться перестал... Ласковые они... А другой грешен, да и ласки-то нет — тут уж совсем беда... Вот он путь-то какой долгий... А еще сколько не помню... да и господь с ним, может, к лучшему...

4 июня

СЕРЫЕ ГЕРОИ

Звезд, горящих жарко, на небе немного. За войну георгии, как саранча, летели на солдатскую грудь. Про офицерские награды говорить не приходится, там случайно, что ли, не знаю — но только выходит всегда так, что толкущиеся в штабе напомаженные пустократы завешаны отличиями, а смешанного с землей пехотного офицера с трудом отличаешь от солдата — так все на нем буднично, однообразно и неприглядно. Здесь, в офицерах — градация, резкая, жестокая, оскорбительная; здесь в большинстве офицерский отличительный знак является не звездой на груди, а клеймом, укором, обнажающим признаком.

Не всегда, конечно, таких — мало ли страдальцев-офицеров не награждено еще и вполовину? Да, такая здесь градация резкая, кастовая градация, основанная на связях и способности к вымогательству, а в солдатском мире градация право и неправонагражденных основана на близорукости непосредственного начальства и опять-таки на известной юркости и назойливости характера. Много серепьких, невидных, молчаливых, которые и

не думают о георгиях, покорно уступая первенство смелым и ловким. Но смелые часто бывают вместе и пройдохами, а молчаливые, серенькие — эти честны до конца и в своем терпении подымаются до величия. Главная их заслуга в том, что они вполне искренне не замечают своего героизма — настоящего и цельного героизма, не опозоренного хвастовством и жаждой славы. Они говорят о пережитой полосе ужасов и страданья единственно с благодарностью богу за то, что остались в живых. Дело об'ясняется просто: чудом. „Сподобил бог сделать такое чудо, что спас меня — вот и все". Вот наш Зуев. У него в Тверской губернии худая, рябоватая жена с 3 ребятишками. Вслух он о них никогда не вспоминает, но на вопросы отвечает охотно. И вот он — такой маленький и неприметный — рассказывает об Августовских лесах, перебирает много славных исторических боев, в которых он был участником и о величии которых не помышляет. А ведь он, другой, третий — и тысячи таких серепьких — на своих плечах выдержали жестокий натиск. Где-то они целым полком зарвались в засаду: там немец, тут немец, и бежать некуда... „Спасайся кто куда знает!" — крикнул нам командир и побежал через поляну... А по поляне немец открыл такой огонь, что нас к перелеску изо всей роты добежало 18 человек..." Вот вы и представьте себе картину: бежит он по поляне, а кругом все валятся, падают, стонут... Бежит и думает: убьют, али нет? Вот он свистит... Ну, ну... Дыханье сперло... Сейчас лопнет — неужели здесь вот лопнет? А ноги путаются в снегу, горят, подгибаются... Вот он чернеет — скорее бы туда, за деревья — там не видно... И он бежит скорее, а рядом снова и снова лопаются снаряды, остаются на снежном поле новые товарищи, кровяные тропинки запоясали белую простыню луга... А в воздухе, словно жаворонки, заливаются, звенят быстроногие пули... Про них уж не думаешь, их не боишься... И где же тут бояться пули, когда кругом снаряды валятся, как горох... Немец снарядов не пожалеет — ему бы только перебить побольше... Вот нас и били — без жалости били до самого лесу, а потом и по лесу догоняли, только уж там поспокойнее было бежать... Так вот представьте вы себе этого серепького, маленького человечка без трех передних зубов и без левого безымянного — бежит, и ждет его смерть; каждое мгновенье ждет, потому что

она носится кругом и касается его холодным, острым лезвием. Тут геройства большого нет, но страдания — некрасовская реченька. Наш брат, пережив подобный ужас, носился бы целую жизнь со своим мученическим ореолом, разукрашивая его во все цвета, набиваясь ко всякому с рассказами и дополнениями, публикуя во всех газетах свое великое прошлое,— словом, смаковал бы самоуслаждение всевозможными способами, извлек бы возможную и невозможную выгоду из этого прошлого и считал бы себя венценосным героем... А он, Зуев,— посмотрите: об этом прошлом он рассказывает тем же языком, что и про деревню, про жену и ребятишек. У него нет ни восклицаний, ни знаков изумления или восторга, ни страшного выражения лица, ни трепета в голосе... Но за этим простым, безыскусственным рассказом почему-то особенно ярко представляется пережитый кошмар. Почему-то особенно живо стоит перед глазами широкая, белая поляна, а по ней кровь, кровь и кровь... Там, где упали безнадежные — черное пятно, а по пути убегающего — словно пунктиром — кровяной струею начерталась своеобразная дорожка... И скрестились, перепутались эти дорожки. Но все к лесу: там убежище, там надежда на спасение... Рассказывая, Зуев мыл чайную посуду, а потом заправлял лампу — словом, рассказ свой он не облекал в формы, не декорировал, не пытался чем-либо усилить производимое впечатление. Да у него вообще мысли не было о впечатлении — рассказывал, как бог на душу положил, не мудруствуя лукаво.

А ИМ-ТО КАКОВО!

Уж такая ли тяжелая погода застоялась, уж так ли на сердце скользко сделалось, что в тепле да в добре — и там тошно станет, а в недостаточной жизни чего же и ожидать?..

Сидим мы в халупе. Двое от безделья в шашки пробавляются, а я — я тоже больше от безделья — так подробно распространяюсь по разным вопросам. Короче говоря, в такую вот нудную, дождливую, холодную погоду хочу я вспомнить, представить себе: „а им-то каково?“ Мы в тепле, да жалуемся, что „во всем теле, словно лужа, а по суставам вода застоялась — слышно даже, как булькает...“ Нам тошно, а там ведь не все окопы блин-

дированные... Еще, слава богу, коли сверху бревнами заложено да дерном укрыто — в те, может быть, и не все лужи собираются, а ведь сколько их — переложенных только по вертикали, безо всяких блиндажей, безо всяких заслонов — или даже и по вертикали-то не переложенных — просто вырытых канав, открытых всем ветрам и бурям, куда и с тыла и с фронта собираются невзгоды и враги. Тут уже стоят, говоря безо всяких фигур, по колени в воде. По колени в воде, винтовка наготове, а сердце колотится, не умолкает: что, это вот — за мной летит, али нет?.. Ветер словно ножом режет и тех вот, стоящих в воде, ласкает, как мачеха. Недаром же мы перевозили всего 10—15% раненых. Остальные — простуженные. У кого „грудь отнялась и никакого дыха не дает", кому ноги „переступать мешают и очинно болеют" — словом, самые разнохарактерные и в то же время самые обыденные простудные заболевания. А много ли им и нужно: пахнет холодом,— и увози скорее в больницу. Теперь ведь осталось забрать только нищих, калек, да богадельни очистить. Всякие препоны к набору отменены, осмотр стал только формальностью: смотрят, не смотрят,— все равно забреют. В солнечные дни как-то еще не думаешь об этом, а в такую вот непогодь вся душа изболит... Стоят, ждут смерть со всех концов — и никакого исхода.

Когда я об этом сказал нашему солдату, он почти обиделся. „Мы что же, нам покойно, а им-то каково, ваше бл-дие?" И он указал в сторону окопов.

РАБОТА ТРАНСПОРТА

Как только приехали в дивизию, начали работу. А работа наша такова: из перевязочного пункта дивизии, в Козянах, забираем больных и раненых и везем их или во 2-й лазарет дивизии, в Семеновичи (12 верст), или в 1-й, в Полово (18 верст). В Полово приходит в четные дни санитарный поезд и по узкоколейке перевозит солдат до Сеславина. Поезд небольшой, вмещает 120—150 человек. Из перевязочного козянского пункта обыкновенно дают человек 25. Кажется, до сих пор не было еще случая, чтобы зараз перевезти больше 30. Сажаем обыкновенно до 3 человека в двуколку, и потому в деле — двуколок

7—10. Они чередуются, чередуются и лошади. По сухой дороге сажаем и по 4, но так как сухой погодой небо не балует, то и приходится держаться раз установившейся нормы. По тяжелой дороге возить до Полова было изнурительно, и потому в Семеновичах устроили маленькую базу, отрядив туда 10 двуколок под начальством очередного брата милосердия. В нечетные числа 2-й лазарет привезенных принимает полностью, и потому десяток эти дни совершенно не работает. Зато в четные дни ездит 2 раза: в 6 часов утра забирает из 2-го лазарта человек 20—25 и везет их прямо к санитарному поезду и вечером — принимает больных своего же прибывающего транспорта и везет их в половский 1-й лазарет. Работа началась 24 мая, и теперь почти уже за месяц перевезено до 1.000 человек. Таким образом в 4 месяца перевезем целый полк, а за год, если работа усилится,— и всю дивизию переправим. Работа по существу своему неинтересная. Солдата не только не знаешь, но и не видишь: в 10 минут усадишь, расположишь всех по местам — трогай! А во время пути уже нет никакого соприкосновения. Сопровождаешь транспорт верхом, солдаты спрятаны в двуколках. Правда, большинство двуколки раскрывает и глядит не наглядится на свет божий, но вступать в разговоры кажется тут чем-то неестественным, словно приехал вот новичок и ловит каждое новое слово. Спрашивать не о чем, да и некогда. Вот уж показались крыши, а вот и лазарет. Раскроют двуколки, выйдут ребята — только я их и видел. Случается, конечно, разговоришься — только все это давно уж я знаю, все это тысячу раз слышал и прежде. Становится скучно. Только и разнообразия, что поможешь где-нибудь вытащить из грязи потонувшую двуколку или окрестишь по-русски зазевавшегося ездового. От деревни к деревне, от моста к мосточку, от поляны к этому вот грязному, вонючему лесу — и так без конца изо дня в день. Эх скучно!.. А все ждем чего-то страшного и торжественного, ждем большой работы. В дивизии через каждые 2—3 дня все так же, как и прежде, шопотом передают о нашем грозном наступлении, которое начнется „послезавтра“... Этому „послезавтра“ уже месячная давность.

И путь удивительно скучен. Скучен не потому, что нет в нем отрадных картин, не на чем взор остановить, нечем залюбоваться: так же зелены луга, так же переливаются цветы, так же

темнеют леса вдалеке. Но попробуйте-ка вы поездить изо дня в день по самым прекрасным местам — как скоро надоедят они вам, как утомят, какими покажутся скучными! Тут все уж слишком знакомо и пересмотрено: каждый пенек, каждый лужок, каждая маленька канавешка. И какая же все-таки скучная эта война: скучно было на Кавказе, скучно за Сарнами, скучно и здесь, рядом с знаменитыми историческими озерами, где недавно кипели бои. Но что же тогда будет после войны — неужели еще горшая скука? Хочется верить, что начнется тогда неведомая, непредставляемая, но столь желанная созидательная работа.

22 июня

В ПОИСКАХ ХЛЕБА

Поздним вечером сидел я в крошечном своем саду. Лучше моего сада нет другого на деревне: кудрявый, зеленый, травяной; в нем сирень, вишня и сливы, и трава такая, что спичку жалко бросить на нее, сомнешь — такая она высокая и нежная. Я свой садик люблю и часто коротаю в нем по вечерам свое одиночество. Тихо. Только от Постав доносится несмолкаемый гул: там уж второй день идет жаркое дело, но вестей пока нет. К гулу привыкли, он не нарушает тишины. Покуриваю. Наслаждаюсь. Прошел мимо солдат — и через плечо свернутая шинель, подмышкой несет ружье, идет во всеоружии. Куда он спешит так поздно? Хотел окликнуть — я люблю по ночам окликать спешащих солдат: у них всегда чего-нибудь нехватает, всегда что-нибудь они ищут. Но промолчал. Очень уж он торопился, не оторвать бы от дела. Вижу — подошел он к соседней избе, стучится:

— Ну-ка отоприте! — Избу занимает еврейская семья, держит лавочку. — Да отопри, тогда и скажу, — отвечает солдат кому-то вопрошающему из-за окна. — Ну, я солдат, — отвечает он дальше. — Да отопри, хлеба мне нужно... Ну, так что, ночное дело? Подымись; дашь хлеба, заплачу — и дело кончено: спи с богом... Так я знаю, что есть, — отвечает он на отказ: — в той пекарне вон нет, а послали сюда, здесь, говорят, что есть... — Снова отказ. — Не поверю, — возвышает голос солдат, — а я знаю, что есть: отопри, тогда поверю...

Просьба настойчивая, но неудачливая.

Забранился и повернул солдатик, не солоно хлебавши...

— Служивый,— кричу ему.

— А, я, ваше б-дие...

Удивился я: почему он сразу меня называет вашим благородием? Ведь тьма, в саду меня не видно, да если и видит теперь, то я в белой рубашке без кителя. По голосу, что ли? Может быть, уж и я нажил за войну эти таинственные нотки, по которым солдат сразу узнает „благородие“?

— Иди, я тебе хлеба дам, у меня есть.

Подходит к саду. Молчит.

— Да входи... Ну, иди за мной... Вот сюда... Трех-то фунтов у меня, брат, нет, а вот, что есть — бери; — и подаю ему краюху белого хлеба фунта в 1—1½.— Хочешь чаю стакан? — говорю, приподнимая чайник.

— Покорно благодарю, ваше б-дие, у нас это все имеется: и сахар и чай... Мы на деревне, там и кипятим, да хлеба вот нет.

— А, ну, вот теперь и хорошо...

— Так точно, покорнейше б-дарю.

— На здоровье, брат...

Зашагал. А мне вдруг стало так радостно, так легко и весело, что не знаю, как и сказать это словами. По ночам приходится часто давать солдатам то спички, то папиросы, то дорогу указывать, но никогда еще у меня не было такой радости, как теперь. Верно потому, что тут х л е б, что-то слишком и простое, и необходимое, и вместе символическое — для меня, конечно. А главное, верно, потому, что краюха эта у меня единственная и последняя, а завтра рано утром надо выезжать. Надо выезжать, а есть мне будет нечего.

10 августа

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Впервые встретил я этого казака во ржи, между скирдами снятого хлеба, в ненастный, тяжелый вечер. На душе — как на воле: туманно, пусто и тихо. Без шапки, без цели бреду из болота и не вижу, что стоит передо мной человек и смотрит в упор:

что, дескать, батюшка, лягушек беспокоишь, али дороги тебе нет? Очнулся, огляделся — выхода нет: ржавый ковыль предательски укрыл трясину и манит ступить. А я уж знаю, и меня он не обманет. Обошел кругом и очутился в тылу золотых снопов. Тут я и встретил казака — без шапки, руки в карман, в зубах папироска. На плечах капитанские погоны, а по бедрам зловещие красные лампасы. Стоит и смотрит. Но так было пусто у меня на душе, так не хотелось мне слышать человеческую речь, что, не сказав ни слова, повернул в сторону и ушел за снопы. Запомнил я только его умные, проницательные глаза, седо-ржавые огромные усы да зловещую складку между темных повисших бровей. Наш транспорт стоял в маленьком имении, затонувшем в зелени и цветах. Имя ему Бирзнэк. Тут была и живая беседка, так напоминавшая мне тургеневские гнезда; были ульи, цветы, яблони и распростертые, темные клены. А в комнате — мягкий диван и домашняя библиотека. Правда, кроме Салтыкова-Щедрина да русско-немецкого словаря там ничего не было путного, но видеть шкаф с книгами все-таки было отрадно. Маленькая, цветущая, уютная дача. Здесь сидим мы без дела и ждем приказаний со дня на день. А работы все нет. Кругом тихо. Только в ясную погоду — зашумит, налетит аэроплан, белый, как ангел, и хитрый, как дьявол, и начнет бросать где-то за лесом бомбы. Проснутся, забухают пушки, изуродуют голубую лазурь — и снова тихо. Рядом, на пригорке, в богатом имении поселилась казачья сотня. Седоусый капитан и был командиром этой сотни. При имении — заброшенный прекрасный сад. Словно стрелы — изрезали его сумрачные липовые аллеи; склонившись, перепутались, нависли над влажной, холодной тропой. Там всегда как-то холодно, в полутемных аллеях липового сада; распластались короной широкие листья и не дают солнцу поцеловаться с землей. Такой же сумрачный, такой же холодный замкнулся в аллеях затененный пруд. Качается на нем одинокая, старая лодка, ржавой цепью привязанная к столбу; кочует от берега к берегу бревенчатый плот, и на нем, словно распятая, примокла солдатская рубаха. Тихо. Только шепчутся липы да что-то звенит у меня на душе от этой странной, тоскливой тишины. Этот широко-ветвистый, прекрасный сад не любят птицы — в нем холодно и страшно, словно в мрачном глубоком подвале. Но я

любил приходить сюда. У самого берега, прислонившись к столетней липе, так хорошо помолчать одному. А иной раз рассядешься на полусгнивший руль окованной лодки и, качаясь, сидишь так целый час, бог знает о чем и думая и мечтая. Теперь я не хожу к пруду, там нет тишины: казаки нарушили молчание прекрасного, мрачного сада.

Слышно, как бранятся они и поют, как работают кузнецы, как заржет порою недовольный конь и, словно на призыв, ему отзовется другой; слышно, как всюду пробилась и заговорила властная жизнь, убившая столь же властное и столь же прекрасное молчание.

Жили мы с казаками почти рядом. Капитану было скучно; нам тоже невесело жилось. А друг друга не знали. У позиций часто так бывает: живут люди совсем близко, порознь скучают и все-таки не сходятся. Просто охоты нет: все равно, дескать, сегодня здесь, а завтра бог знает где, так стоит ли и сближаться? Другое дело, конечно, если где заведется женщина, примерно, сестрица... Только, слава богу, у нас не имеется этой радости, живем холостой, тесной компанией. Как-то вечером, вдвоем зашли мы к казакам и утащили капитана к себе. Он был чрезвычайно разговорчив и так искусно привертывал одну мысль к другой, что и видишь — как будто уж не о том человек говорит, а не поймешь, никак не припомнишь, где это он сумел так ловко перескочить. Говорит он часто, торопливо и связно. Да и нельзя сказать, что капитан только „говорит“,— нет, он живет словом, он весь и дергается и движется всеми возможными конечностями. Он бьет себя по коленкам, стучит по столу, перебирает все гимнастические движения, чтобы рельефнее показать, как один рубил, а другой убегал, как один замер от страха, а другой нечестиво упивался этим страхом, как сила, храбрость и ум всегда побеждали что-то другое, на них непохожее.

— Я скажу вам одно,— говорил капитан,— что бранят казаков лишь те, которым стыдно перед ними за свое малодушие. А другие — эти только повторяют чужие слова, так что про них и говорить не приходится... Я не защитить хочу казака — это было бы ему оскорблением, потому что не нуждается он в защите, и другое... Вам сейчас будет видно...

Что такое казак? До войны? А он прежде всего земледелец. И все-то у него свое — и земля, и хозяйство, скотина, сады, огороды, хата... Казаки живут богато. И такой зависимости, какую терпит русский мужичок-крестьянин, он никогда не знал. Его не гнут в три погибели, а потому и мести, кровожадности этой у него никогда не может быть. А ведь я сам слышал, что казаки, дескать, маленьким ребяткам в Галиции головы раскалачивали об стену... Ну, да разве это мыслимое дело, господа? Казак — и вдруг будет убивать ребеночка?.. У... у... у,— зло прогудел капитан.— Тому, кто говорит такие дела, голову надо бы расколотить... Да казак так любит дите, что дай бог матери бы так любить его. А ведь говорят — и есть, что верят тому. Ведь в пехоту кто попал? Там и крестьянин от земли, и рабочий, и контора чахлая, и продавец какой-нибудь,— все рабы, все ведь рабы... Целую жизнь несут они свое ярмо и при случае— ой, как рады сорвать на ком-нибудь свое многолетнее горе и злобу. Потому и офицеров бьют — свои же, в спину — кто этого не знает? А разве с казаками может быть что подобное? Они — свободные люди, гнета они не знают, и мстить им некому. Потому и в плен они никогда не сдаются, чувство гражданственности имеют, гордость имеют — свою, казацкую. А пехота ведь батальонами, полками в руки идет; у ней только и помыслу, чтобы мир, поскорее; за что, за кого и для чего воюет — она ведь того не знает. „Мы побьем — ничего не возьмем, и нас побьют — ничего не возьмут“, вот как она думает: дескать, и победим — лучше не будет, и нас поколотят — от врага хуже не будет. Кругом, мол, плохо, так за что же жизнь свою губить? А вот сибиряка возьмите — тут уж другая материя. Он живет далеко, и гнету этого тоже не знает,— потому и держится героем всю войну. Это солдат. С таким и казаку любо брататься. В Сибири, как на Дону, тихо да грозно, а в грозе — и сила настоящая...

— А не было случая, чтобы из ваших кто...

— Что, перебежал? Нет. Да и не может. Гордость ему казацкая не позволит, да и не жалуют нас в плену-то... Так не жалуют, что и господи ты только боже мой...

— Да, как вот встречают там казаков?

— Как встречают? Мало кто об этом знает.

Молчит капитан, дергает седой, прокуренный ус. И видно, что хочет он что-то рассказать, да не решается: то ли сам не верит, то ли тяжело ему... И вскинул вдруг глазами:

— Приполз один, рассказал... Их взяли ночью сонных, а дозоры перерезали... Двоих офицеров в бабьи юбки нарядили, а казаков почти голыми вели... Кругом болото, трясина, а дорога стельная... Завели, пустили... А потом с трех сторон в пулеметы взяли — вот и вся расправа... Раненый через болотину дополз один, дополз и рассказал...

Все замолкли. И в тишину — сквозь дождевой шопот — кузнечиком застрекотал пулемет. Грохнула пушка, и окна задребезжали. Другой, третий — выстрелы загромыхали, не переставая.

— Это что?

— Видно, что-то начинается... Палят у Кокенгаузена... Мы ушли с Двины три дня назад.

— Ну, хорошо,— рванул он,— давая знать, что не дослушано еще что-то важное.— Нас упрекают в жестокости, говорят, что казак словно зверь играет в бою, да и не только в бою, а главное — после боя, где-нибудь с бессильным, с безоружным. А я сам видел казаков с выколотыми глазами, с руками, отсеченными по локтю,— все видел сам, иначе не поверил бы... Так как же буду я по головке, что ли, гладить немца, когда он такие штуки проделывает? При случае, конечно, и жестоко получается. Ну, да око за око, а исключительного, поражающего нет ничего. Говорят, мы мародерствуем — и это тоже возмутительная ложь. Казак без того живет хорошо, ну, а к роскоши все-таки не привык. Из Восточной Пруссии одни только пехотные офицеры отправляли домой всякую всячину, с казаками таких случаев не наблюдалось. В пехотных дивизиях, которые работали с нами рука-об-руку, случаи расстрела за мародерство были не редки. У нас же за всю кампанию — ни одного. Возможно, допускаю, что отдельные лица и срамили казацкую честь, но мы говорим не об этих отдельных лицах, а про всю массу казачества. И она безусловно честна. Да вот был случай со мной в Галиции. Закатились мы там однажды в такую глушь, что об интендантстве, о помощи и думать было нечего. А кони голодные. Забираю у бабы сено, а она ревмя-

ревет: как же, мол, будет, моя-то скотинушка, ведь, с голоду вся перемрет? Знаю, все знаю, да что же делать-то оставалось? Ведь казак без лошади — куда он годится? Она стоит, плачет, и я стою — креплюсь, тоже сердце похлопывает. Взял — все сено отобрал, так ее со слезами да с голодной скотинкой и оставил! Ну, разве это мародерство? Нет, господа, здесь так стираются грани между насильем и необходимостью, что голова кругом идет, и стараешься только не думать: все равно ни до чего не додумаешься. А с другой стороны — эти же беженцы да мирные поселенцы продают нас ни за грош — и продают и грабят. Вы только подумайте: когда мы убегали из Пруссии — с голоду чуть не помирали. А они тут-то и пользовались: яйца по рублю за штуку продавали, хлеб черный по 6, по 7 рублей за фунт. Ведь нечего делать-то, берешь и за 7 рублей. Вот дело какое! А то был случай: на остановку мы пришли, в именье. Соскочил казак, привязал коня к сучку у яблони и куда-то по делу отлучился. Только приходит, а конь стоит и мотает на узде переломленным сучком. Хозяин тут же — свое пред'являет: за поломку яблони. Отдали мы ему 3 рубля — на этот счет его правительство оберегает. А соседи смеются: „Он говорит, на этой яблоне уже целый капитал, поди, нажил. Еще прошлый год по осени сломали ему эту яблоню. И с тех пор подвязывает он переломленные сучки, прикрывает и получает за поломку. Это уже не с вами первыми". Обозлился я, чорт его подери,— призвал, да и показываю нагайку: „Вот, говорю, за яблоню как начну тебя, родимый, поливать, так все и сучки растеряешь". Отдал.

— Что отдал, деньги?

— Да, деньги отдал.

Мы засмеялись — очень уж наглядно представил он, как хотел отучить мужика от яблочного дохода.

— И так на всем — цены неимоверные, а достать трудно. Ведь грибы, ягоды — кажется, чего бы им дорожать, а вздули в три да четыре раза. Там, в России, говорят, бог знает до чего дошли — непредставимое что-то совершается. Наш ведь с голоду помирает в плену, а немцам житье у нас — малина: и кормит и жалованье еще платит. Приходит немец в лавку, спрашивают с него цену, а у него свое: „Нэт, мадам, я привык

давать вот такую цэну...“ И дает почти вдвое дороже. Так один, другой, третий. А наш торговец, известное дело, рад при случае чужую кровушку похлебать. Заупрямится и вздувает. Немцу денег не жаль, на что они ему и присылаются из отечества — вот какая неожиданная махинация, разве у них все угадаешь? И свобода — гуляй, наслаждайся. Мы тут в окопах, а враги, пленные — с нашими женами, дочерьми гуляют, разве это подобает, господа?

Капитан примолк, ухватил левой рукой правый ус и теребил его нещадно.

Дальше был разговор о коварстве и умной политике Румынии, которая закупила у нас своевременно огромную партию украинских коней, продала Германии медь и уверила согласников, что также могла она ее продать и Франции и России, кому угодно — коммерческое, дескать, дело, и никакая тут связь не поддерживается.

Кончил есаул тем, что пересказал нам все характерные эпизоды своей боевой жизни — с ночными разведками, позиционной скукой, упоительной атакой, со всеми происшествиями повседневной жизни.

Забунтовал как-то у него казак: „Не хочу, говорит, итти в окопы и с коня не сойду“.

— Порешили, послали мы на родину письмо, описали его казацкую храбрость. Кошевой вместе с матерью сообщили обратное мнение, и теперь лучше того казака — нет другого: в обозе силой не оставишь, а на деле — от смерти чудом только избавляется. Был и такой случай с фуражиром: привез сено, дает записку — уплочено и получено 125 рублей... Только вижу по лицу у него, что дело не ладно, в глаза мне не смотрит, а говорит часто и много, словно пытается словами загородить от меня настоящую правду. По свежим следам отослал я вестового и обнажил дело начистую — 25 рубликов пожелал он оставить себе...

— Ну, и что ж вы ему сделали?

— А ничего... Только узнали все да чуждаться его начали. От дела отставлен и ходит теперь, будто на смерть приговоренный. Отходится — поумнеет, ошибка с кем не бывает...

Проводили мы капитана уже поздним вечером. Хлюпал дождь, на два шага перед собой не было видно. Беспрестанно ухали пушки — они уже не успокаивались ни в эту ночь, ни в следующий день...

Рано поутру пришло известие, что наш корпус (13-й) перешел в наступление.

Ждем с минуты на минуту приказа итти на работу.

МОТЫЛЕК

За окном, словно сеть, замерла паутина. Каждый вечер огромный паук в ней качался, как в люльке, и жадно следил: не качнется, не вздрогнет ли сеть?

Прилетел мотылек. Долго бил о холодные стекла и рвался напрасно к огню: не по силам ему был холодный заслон. А паук все следил и метался из края, на край, загоняя его в паутину... Испугался его мотылек, заробел и стремглав от окна отскочил, лишкой сетью опутавши крылья. Налетел, закружил его хищный паук. Спутал, свил его в шарик и долго кружил в паутине. И дрожал мотылек, обессилев в напрасной борьбе... Свил, как жгутик, его беспощадный паук, прикрутил и повлек в свою темную нору...

Больше нет мотылька. Он погиб на пути к золотому, как солнце, огню. Его спутали тонкие, липкие нити, беспощадный, как смерть, отвратительный, цепкий паук утащил его в мрачную, темную, тесную нору. И сосет его кровь. Понемногу, спокойно, чтобы знал мотылек, как жестоко и страшно на светлом пути к золотому огню.

11 августа 1916 г.

Я хотел бы в поэзии — светлой, как солнечный луч,
Позабыть все тревоги мирские,
Я хотел бы остаться навеки спокоен,
Скрытый тенями царственной тоги.
Страшно вспомнить, как много потрачено сил
На борьбу за житейскую долю...
Страшно знать, что в награду себе получил
Я лишь скорбный мой плач и неволю...

Я невольник. Я раб, не увенчанный лавром певца,
А в душе моей струны рыдают...
Я бродяга в поэзии — жил и умру,
И детей у бродяги не знают...

От автора: Ну и плохо же, брат...

24 августа

ВЕСЕЛЬЕ

Каждый день по окончании работ на условленное место выходит Сорока с гармоникой через плечо, и за ним, словно на привязи, с опущенной головой плетется Петров, обеими руками обхватив свой желтый бубен. Сорока состоит в капенармусах; рослый, широкий мужик, с добрым и умным лицом, он незаменим во время передвижения транспорта; одному посулит, другого наградит, и все помнят его могучую лапу. Помнят, боятся и любят. Семенов заведует обозом и знание строевой службы доказывает постоянно и ревностно: то без шапки возьмет под козырек, то на дневальство поставит без распоряжения начальника... Шаров — больной и тихий солдатик с красивыми темными глазами и прекрасным почерком: до войны он был сельским писарем, почему и пускает иногда в разговоре „высокие" словечки. Медленно подходят они к заветному бревну, медленно опускаются, и Сорока начинает пробовать басы. Шаров в это время из бокового кармана вытаскивает палочку и слегка постукивает ею по бубну. И вдруг Сорока, словно усыплявший до сих пор чужое внимание этой вялой пробой басов, об'являет на самых высоких нотах камаринского. Шаров только и ждал рокового момента: шея вытянулась, взор уперся в одну точку, и правая рука дрогнула... Быстро и четко, торопясь угнаться за хмельными звуками, дробит его таинственная палочка, дробит, переливается. Бывают моменты, когда в исступлении он бьет себя бубном по коленям или с размаху как бы нечаянно ударит по голове зазевавшегося соседа — это момент наивысшего напряжения. Быков, который вылетает из толпы, подобно чертенку, и трется беспомощно на одном месте, в этот момент неистовствует: он хлопает, бьет себя по бедрам, вертит

головой, силится закинуть себе на шею правую ногу. На месте пляски обычно за Быковым остается глубокая яма — признак того, что вся буря прошла на одном месте. Пляс захватывает. Старики, окружившие плясуна, дергают ногами, вскидывают плечами, толкутся и жмутся друг к другу. И бывают случаи, когда терпения нехватает, старики не выдерживают и лебедями пускаются по кругу. Движенья уж слабы, бессильны и бестолковы, но сколько тут раскрытого желанья об'явиться соколом, молодым-молодчиком. Вон посмотрите, например, как ныряет по кругу Сидоров, который до сих пор все жаловался на больные ноги и худые подметки. Правда, подметки ему подбили, но ведь ноги болят по-старому. А нехватило вот терпенья старику, заняло дух, замутило голову...

Но все-таки, они, старики, плясуны случайные, а штатным считается один Быков, и потому при первых же звуках гармошки его бесцеремонно выталкивают на середину и сочувственно смеются, хлопают, любуются, всячески вторят веселому Быкову.

Устал, уморился плясун; уж видно было, как ноги сгибались под угол, когда надо было их распластывать по воздуху; как бессильно моталась голова, когда следовало отчаянно и тихо вскидывать ее к небесам; цыгарка уж давно потухла и так же, бессильно, слюнявая и грязная, моталась в зубах; руки хлопали по бедрам, то-и-дело сваливаясь с боков, когда он пытался подпереть ими свою тщедушную фигурку; сзади ремень еще кое-как держался, но спереди окончательно сполз с живота, и потому в прискоках рубаха надувалась, как штаны на воде. Посоловели глаза, посерело измученное лицо... В этот момент для всех неожиданно выскочили на середину круга два мальчугана и завертелись, как бесенята. У обоих торчало в зубах по папироске, фуражки сбиты на затылок, руки в бока, и глаза к небесам. Одному, румяному и толстому карапузу, было лет 12, другому — стройному, как тополь, с прекрасным греческим профилем — лет 14—15. Обрадованный Быков нырнул в толпу, а ребята так и ходили, так и крутились... Потом грек, повидимому, утомился и отстал, а бутуз продолжал частить в одиночку. Штанишки у него свалились и как-то странно отвисли, словно туда было положено что-то тяжелое. Он напоминал цир-

кового плясуна: так же прихлопывал в ладоши, так же часто и неожиданно кидался в сторону, а когда опешившие солдаты расступались,— он уносился на середину и, улыбаясь, посылал им кокетливо воздушный поцелуй. Кончил, зажег потухшую папироску и принял молодецкую позу.

— А он вот прибаутки... сыграй-ка ему... прибаутки знает,— заявил кто-то из толпы.

— Он этих не знает, не сыграет,— с гордостью заявил мальчуган, махнув в сторону гармониста: — это новые...

— А ну, ты запой только,— просил Сорока, снова перебирая басы. Мальчуган выхватил папиросу из зубов, оглянулся.— А офицеров нет?

— Нет, нет, не бойся...

Минутку переждал. Кашлянул в руку и лихо сплюнул на сторону. Потом сбил еще дальше на затылок чуть не падавшую фуражку и слабым голоском начал... Пропел он всего два куплета. больше, повидимому, не знал... И такая была в этой песне жестокая похабщина, так больно и жалко было его слушать, что я шепнул Сороке: „Скажи ему, чтобы уж кончил — очень плохо что-то!“ Мальчуган перестал. Солдаты кругом хохотали и подбивали его на новую песню. Каждое жестокое слово жгло их и дергало, словно электрическая искра; за каждым таким словом, как бомба, разрывался всеобщий хохот и гиканье. Но Семенов уже заиграл вновь плясовую, ударил бубен, и мальчуганы забились вприсядку... Было тяжело от сознания, что здесь, в такой обстановке, ничем уж невозможно им помочь, ничем нельзя удержать их от страшного, покатого молодечества. Часто в ротах встречаются такие мальчуганы. Они — всеобщие любимцы, весельчаки, надежные помощники в нужную минуту. Их балуют, считают равными, вводят целиком в свою жизнь со всеми ее пороками и преступностью. Ребята, конечно, жадно пьют эту свежую, сильную, пьяную влагу и в результате узнают в 12—14 лет такие вещи, о которых другие еще долго-долго и помышлять не смеют.

НАБРОСКИ

Второв — мужик положительный, рыжебородый и смешливый. „У нас, в Вологодской губернии, народ, ваше б-дие, навсегда

хороший: он смирный и покорный и до работы охоч... Только его забижать не следует, а то сердится, как медведь..." Второва команда любит и с мнением его считается. Да и как же не любить своего кашевара? Иной раз ведь так может подвести, что никому не поздоровится. А начальству тут какой ответ?! Не удалось, да и только. На нет и суда нет. Только это все соображения сторонние; любят его не за страх, а за совесть. Трудно представить, как можно было бы любить его „за страх": широкое рыжебородое лицо, с глазами изумленного ребенка; умная, спокойная речь; веселый нрав, веселая повадка: он непрочь прихватить какого-нибудь юного Быкова и душить его в могучих об'ятьях; непрочь побегать за тем, кто утащит из кухни чурбан. Поймает, посадит на этот же самый чурбан и трет несчастному пленнику уши, трет до тех пор, пока тот не взмолится: „Ну, да пусти... пусти, брат... Ой, больно..." — „Если больно — что ж: можно, пожалуй, отпустить, только больше к чурбану не суприкасайся, натру..." На следующий день повторяется та же история, да и скучно было бы без этих историй. Все великое значение Второва об'является в полдень, в обеденное время, когда вооруженный огромной ложкой он стоит на возвышении и снисходительно шутит с каждым подходящим. Вереница внимает...

Скрябин находится при верховых конях. Росту он в косую сажень, а худобы непомерной. Вышло так, что ему попалась самая короткая шинель, и ноги обнажились едва не по пояс. Приходит как-то Скрябин к начальнику:

— Позвольте доложить, ваше высок-дие...

— Что скажешь, Скрябин?

— Да я все насчет шинелишки, ваше в-дие!

— Это, что коротка-то?

— Так точно, коротка будет...

— Подожди немного, Скрябин, новые скоро будут. Устроимся уж как-нибудь.

— Так, а я бы сам, я бы рогожкой...

— Что рогожкой?

— А к низу приставлю. У нас есть хорошие, чистые — вот, что овес привозят... Я бы такую и наставил: оно неладно немного, ну, уж зато тепло будет...

Рассмеялся начальник и с трудом уговорил Скрябина обождать.

Вхожу я как-то в кухню и вижу: примостились на сундуке Березнов и Чибисов, о чем-то совещаются, что-то записывают; у Березнова в руках маленькая книжечка, и он что-то оттуда выбирает, немедленно сообщая Чибисову. Но тот, повидимому, недоволен — протестует, отказывается писать; в знак небрежности бросает ручку в лежащую тут же фуражку и, подперев ладонью левую щеку, устремляет мечтательный взор куда-то вдаль, через голову Березнова, держа направление к посудному ящику. Я стою у двери целую минуту, боясь пошевельнуться и спугнуть цельность настроения. Потом Чибисов смирился:

— Вот ты чорт! С тобой не сговоришься... Нельзя его писать — говорят тебе, разве девушке такое дело пишут?

— А он-но хорошо будет... Ты пиши, уж я знаю, что хорошо... Ну...

И снова заскрипело перо. Березнов диктовал:

Коли что с тобой случится,
Так и знай, что не прощу,
За твое за преступленье
Как мне надо угощу...

— Эх...— только вздохнул Чибисов и провел рукой по мокрому лбу. Глаза у него было полны неподдельного страданья, и видно было, что какая-то необходимость толкает его итти против собственной воли, и горько ему и тяжело от этого разлада.

— Теперь дальше,— авторитетно заявил Березнов.— Какое-нибудь слово от себя, самое, так сказать, простое, а потом опять страха пустим.

Покорно согнулся Чибисов над бумагой и занес туда какое-то свое простое слово. А Березнов продолжал:

Коль ребенок приключится,
Я ребенка утоплю,
А тебя убью кинжалом,
Потому что так люблю...

Чибисов просиял. Загорелись глаза, рука быстрей забегала по бумаге, и весь он как-то задергался, заерзал по полу:

— Ну, да, это...

— Вот то-то и оно, — об'явил снисходительно Березнов, — я уже знаю... коли я начну, так все проведу по порядку...

— Так... А я почем знал? — извинялся Чибисов. — Там пошло нехорошо, а тут — вот оно что... Эх, ты!.. Эх!..

Они вместе писали любовное письмо зазнобе Чибисова, которая уж два месяца не присылала ему из деревни ни слова. Парень ходил, как в воду опущенный. Поведал свое горе Второву и тот взялся выручить товарища... Вот теперь сидели они и клеили жестокий укор, заносили свои ласковые хорошие слова и скрепляли их душещипательными стихами.

Один за другим пролетали аэропланы, и трудно было различить, где тут наши, где неприятельские. Стрелять перестали; они ушли за облака, и мы совершенно потеряли их из виду. Но вот сбоку появился один, белый, словно шитый из полотна, до глянцу натертого воском. Летел он прямо на нас. Заработали зенитные батареи, усеяли небо пуховыми реющими шубками. Команда ударилась врассыпную. Старики попрятались кто в дом, кто на конюшню, а молодые все остались на дворе. Почему так? У одних — целая семья на руках, любовь, забота, а у других — у других впереди только своя жизнь: „Родительское сердце в детях, а детское в камушке".

Может быть, поэтому? И всегда случается так, что молодые пренебрегают опасностью, а старики прячутся от нее. Забились вот в конюшню и сообщают там друг другу разные страхи.

Когда в речку, где они поили лошадей, упал случайно осколок снаряда и, шипя, разбросал брызги, — они едва не пустились бежать, оставив и лошадей и все на свете. А молодые остались.

4 сентября

СМЕРТЬ ЛЕТЧИКА

Над Боровкой каждый день кружился неприятельский аэроплан. Наши летчики поднимались, прогоняли, мирно опускались в свои ангары. Но вот появился новый летчик Никон Пущин — человек смелый, не раз уже побывавший в кругу неприятельских белых барашков, не раз утекавший на всех парах от жестокой неприятельской погони, побросавший много бомб, принес-

ний не мало ценных сведений. Никону было всего 22 года. Огромная голова в шапке черных волос как-то грозно всегда опускалась на грудь, словно во лбу у него была тяжелая, гнетущая лава. И как-то странно было видеть такую огромную волосатую голову на его жиденькой и нежной фигуре. Бледно-белое лицо, без морщинки; высокий лоб, словно водное лоно, вздрагивал при малейшем волнении, а глаза — эти черные, широкие, всегда опущенные глаза — вскидывались на собеседника и будто спрашивали: „Ну, зачем ты меня раздражаешь? Мне и как невесело. Оставь...“ И видел собеседник, что Никону и впрямь невесело; вспомнил, что веселым его и не видал никогда; что в спокойствии его чувствовалось больше силы и тоски, чем покоя и радости. И замолкал. А Никон барабанил длинными, бледнорозовыми пальцами по краю стола и не спускал упорного, тяжелого взгляда с какого-то тайного, ему только видимого образа. О чем он думал? Господь его знает... Он всегда так мало и так неохотно говорил о своих думах. Но летчики любили Никона за то, что редкие слова его были нежны; что в молчании его была скрыта сила; за то, наконец, что он прекрасно знал свое дело и отваживался на такие дела, которые другие считали безумием. Они бежали от безумия, но уважали, завидовали и изумлялись человеку, который принимал его и выносил на своих плечах. Поэтому никто не удивился, когда Никон об'явил, что завтра поутру взлетит один на борьбу с немецким летчиком. Ему говорили, что далеко еще нам до немца по высоте и по бегу; что опасность слишком большая, а пользы нет; что не имеет, наконец, он нравственного права — он, один из лучших летчиков,— жертвовать собою какой-то мимолетной, безрассудной затее; что силы его пригодятся на большое и нужное дело...

Никон молчал, упершись взором куда-то во тьму, за окно немигающим, тяжелым и жутким взором. Подняться решили втроем — от троих и немец улетает. Посмотрел на них Никон и сказал: „Конечно... Знаю... Улетит, коли все подымемся. А вы дайте одному, хочу силы испытать... Обидно мне...“

И в голосе была какая-то скорбная жалобная струнка... Услышали все эту струнку и почувствовали вдруг, что ведь и всем им обидно, давно обидно на свою беспомощность, только

силы нехватало на такое вот безрассудство, какое затеял теперь Никон. Шелохнулось в душе какое-то странное, новое чувство... Здесь были и гордость за смелого товарища, и благодарность ему за то, что высоко держит свое знамя, и радость, потому что Никону всегда можно верить, на Никона можно положиться. Сопровождать его вызвался молодой француз, недавно приехавший в Россию и ни слова не говоривший по-русски. Но дело облегчалось, потому что сам Никон прекрасно владел французским языком. Звали француза Адольф. Белокурый, голубоглазый, с розовым девственным лицом — он, словно виноватый, смотрел на собеседника, когда тот, забывшись, резал ему что-нибудь по-русски...

Потом обычно дотрагивался до Никона и просил его разрешить недоуменное положение. Разговорился и Никон. Решено было рано поутру вчетвером тщательно осмотреть аппарат, подвинтить, смазать, натянуть, что следует... Вечер прошел в каком-то тревожном и напряженном веселье. Шутили, но в шутках было не столько смеха, сколько мысли; смеялись, но смех не удавался... А возвращаться к затее было тяжело. Каждый полон был только ею одной и о ней только думал... Старался проникнуть в результаты; пытался представить себе всю картину предстоящего боя; отгонял назойливую, жуткую мысль о трагической развязке... Разошлись... Никон еще долго что-то об'яснял Адольфу о том, как надо держаться, если аппарат накренится при быстром повороте; посвящал его в особенности и странности своей машины, в привычки и в приемы немецких летчиков; предупредил, что опасность имеется несомненная, потому что силы неравные; вся надежда на личную сообразительность, на счастливую случайность, на оплошность врага... Адольф выслушал молча об'яснения Никона и об'явил, что страха нет, что в Никона верит и постарается оправдать его надежды. Товарищи уже спали, когда Никон в одном белье, босой, робко ступая на холодную росную землю, пробрался в ангар, к своему аппарату. Лежа в постели, он все припоминал, что где-то и что-то в его машине неладно. Он заметил это при последнем спуске, когда, мягко прильнувши к земле, аппарат издал вдруг незнакомый, фальшивый звук. Торопясь, измученный, захолодевший, он мельком взглянул под крыло и увидел, что маленькая гайка сбилась

на сторону и винт скользит по краю,— его выбило снизу осколком снаряда. Теперь он никак не мог найти эту гайку, потому что слесарь без его ведома поставил новую и пригнал нарезы. Долго шарил и щупал он под крылом, освещал его со всех сторон электрическим фонариком, но найти не мог. И на душе стало как-то неспокойно. По виду все благополучно, а вот эта проклятая гайка мучит и мучит. Подошел и снова посветил. Потом ощупал холодные кольца, погладил винты, обшарил острые, граненые гайки...

Никон не спал целую ночь... А когда засветало, разбудил Адольфа, поднял товарищей и какой-то разбитой, тряской походкой поплелся в ангар... Теперь уже все вместе кружились около машины, советовались, указывали на пятна — следы шрапнельных осколков, но ничего подозрительного не нашли...

Через час Никон с Адольфом поднялись. Разведчик темной ночью, пробираясь через глухую заросль, не всматривается и не вслушивается так чутко в шорохи затаившейся тьмы, как насторожился теперь Никон. Четко и бурно ревел пропеллер, но из этого рева привычный слух Никона выделял сторонние звуки. Он слышал, как терлись и шархали крылья, как звенела каждая пластинка, как связки натягивали продольные лопасти и как они пели, сгибаясь покорно и плавно. Адольф сидел в глубине и зорко всматривался в голубую пустыню, смотрел туда, где каждое утро сверкала в ранних лучах стальная вражеская птица... Но она не прилетала... Все легче, смелей подымаются они в голубую бездонную высь; им вольно и свободно дышать; свежий воздух щекочет и радует и бодрит... А там — как теперь там тепло и радостно на убогой, прибитой земле!..

Словно со дна необ'ятного океана подымались они к прекрасному тихому лону и оставили там на дне всю маленькую радость, оставили крошечное человеческое счастье... Все ближе к лону, все чище, светлей углубленная миром душа; все больше она постигает красоту и восторг беспредельного воздушного океана... Какой простор!.. Какая воля!.. И мы летим к недосягаемому, вечно манящему зениту!!! Мы ближе, потому что очистились этой святой, всесильной беспредельностью... Отсюда гром и буря, но отсюда же и Светлое Соли-

де — здесь смешались полюсы, здесь вечная победа света над тьмой!!! Не мысли, а подобие, какие-то обрывки, захватывающие образы, отдельные прекрасные слова кружились перед Никоном в безумной пляске. Он не знал, о чем теперь думает, но в душе все кипело, а мысли бились в каком-то экстазе. и весь он — гордый и сильный — был проникнут покорностью и благодарностью бог знает кому и за что... Иногда срывались с засохших и сомкнутых губ отдельные, самому непонятные слова,— и он не удивлялся им: в этих случайных, умчавшихся звуках, как в образах, печатлелись его восторги... Широко открытые, изумленные глаза Адольфа попрежнему неотрывно и пристально глядели в одну точку... Над этой вот черной каймой, над лесом, из-за дальней горы должна подняться неприятельская птица... И вдруг он услышал где-то в стороне чужой, непрерывно рокочущий звук... Тихо дотронулся до плеча Никона и перевел на него свой немигающий напряженный взор... А Никон, словно прикованный, давно уже сидел с высоко поднятой головой и смотрел в ту сторону, откуда неслись странные звуки... Он услышал их прежде Адольфа и понял, что неприятель взлетел с другой стороны и держался значительно выше... Перегнулся через борт и вдруг увидел, что тот близкий и страшный, стремится к нему... Он хотел закружить по спирали и подняться ему наперерез, но неприятель неотступно следил за полетом, ускорил ход и быстро завернул навстречу подымающемуся Никону... Потом спустился ниже и мчался прямо на него, словно хотел столкнуть с пути собственной силой... Никон хотел еще быстрей и круче свернуть с пути, впился холодеющими пальцами в такой же холодный и гладкий руль и вдруг услышал снова тот странный, сдавленный хрип, которым звякнула когда-то сбитая шрапнелью гайка... Он напряг последние силы и грудью навалился на руль, но машина не покорялась и так же быстро и плавно мчалась вперед...

В это мгновение зазвенели какие-то новые, быстрые, жалобные звуки... Он быстро повернулся назад и увидел, что Адольф, странно откинувшись, словно застыл в своем кожаном стуле... Глаза были закрыты, а по левой щеке, из-за брови, тихо крадучись, пробивалась свежая струйка алой крови... „Они

бьют из пулемета!..“, как молния пронеслось в голове Никона, и, напрягая последние усилия, он грузно придавил непокорный руль... В это время он почувствовал, что правая рука как будто занемела, а в плече, где-то у лопатки, так странно дергает и щекочет...

Летчики стояли на бугре и видели, как аппарат Никона сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей опускался над лесом у самого озера... Быстро оседлали коней и помчались по берегу... А когда приехали к месту — у разбитого аппарата навзничь весь облитый кровью лежал Никон. Череп раскололся на две части, и оттуда, словно из гнойной раны, сочились и стекали длинные и скользкие полоски окровавленного мозга. Слиплись и примокли его прекрасные черные волосы; они разбились на две половины, и отдельные длинные волоски над расколотым черепом тянулись друг к другу, словно тоскуя и жалуясь, что их разлучили... Лицо было залито кровью; руки широко раскинулись по желтокрасной, взмокшей земле... И тут же рядом, с пробитым виском, словно чудом сохраненный, лежал прекрасный, бледный, бездыханный Адольф...

Через три дня появилась заметка: „В славном воздушном бою над местечком Б. наш летчик подбил неприятельский аэроплан, который упал в месте расположения наших частей. Неприятельский летчик и наблюдатель найдены мертвыми возле разбившегося аппарата...“

СОЛДАТСКИЕ ОТПУСКА

Чтобы выхлопотать отпуск, солдату приходится пройти мучительно-длинную, тяжелую и ненадежную вереницу молений, всяческих унижений и разоблачения своих личных, семейных делишек. Первая просьба обычно не доходит до слуха начальства. Ее не замечают, на нее не обращают никакого внимания. И приходится тенью бродить за начальником, об'яснять ему про домашние неурядицы, про недосевы, про семейные неудачи... Но вот из дому пришло письмо: „Родимый Иван Семенович... Я тебе сообщаю, что стала плоха здоровь-

ем... Полагайся на волю господню, она тебя сохранит в трудном деле, а Маша и Ванюша тебе посылают свой поклон и благословение...“

Иван Прошин — мужик правдивый, обманом жить не привык. А теперь пришел вот, рассказал начальнику про свое горе, что жена, мол, помирает и увидел, что тот ему окончательно не верит. „Знаю я вас... Дал вот одному, сынишка тоже помирал — посыпалось ко всем: у того жена, у того мать помирает... Нет, брат, с такими делами ты ко мне и не ходи... Веры все равно не будет...“ А Прошин знал, что жене поистине неладно, что умрет она и некому будет приютить ребятишек... А нельзя и обижаться: Круглова пустили по телеграмме, что отец, дескать, при смерти, а потом об'явилось, что отца у него и в живых не имеется 12 лет... Начальник обиделся и потерял всякую веру... А ехать надо... И решил Иван по-своему, что двум смертям не бывать, а одной не миновать...

Полк скоро идет в наступление, и можно об'явить, что отстал, заблудился и долго не мог сыскать собственную часть... Так и сделал: переждал до похода, а там изловчился и сбежал... После многих мытарств добрался он, наконец, до родной деревни... А когда вернулся, об'явил начальнику всю правду и спокойно лег под жестокие розги...

СТРАХИ

„... Здесь идет слух, будто будет буря, огненный дождь и землетрясение. У нас очень много приготовляются, исповедуются и причащаются, боятся, что это уже светопреставление...“ Это из последнего письма матери.

Откуда эти нелепые, странные слухи? Где они родятся, и кто их создает? Может быть, туда, в глубину, в недра народные доходят непонятные, случайные вести о воздушных переменах в местах усиленных боев? А может, по привычке, по традиции приурочивают они к грозному явлению свои извечные страхи?

Настрадались, перемучились и не видят конца-края своим мукам, все пребывающему, растущему горю... Народная фан-

тазил облекла эти ужасы в свою доступную, рельефную форму и поверила, приняла их как заключительный, венчающий аккорд всемирного мученья. Там, в глубине, все об'ясняется по-своему. Наши политические и экономические соображения не имеют там никакой цены. События переносятся там в религиозную плоскость и находят себе об'яснение единственно в промысле божием, трактуются как бич, как наказание за всемирные грехи...

Как преступник, осторожно,
По сухой траве осенней,
По валежнику скрипучему
Пробирается стрелок...

Там за лесом над курганами,
У колючей частой проволоки
Затаился за окопами
Неприятельский дозор...

Чу! опушкой прибираются...
Смолкли, встали — сучья хрустнули...
Снова шелест... Тихо звякнула
У винтовки чешуя...

5 сентября

ДОБРОВОЛЬЦЫ И ДЕЗЕРТИРЫ

В начале войны общественные организации были полны идейной молодежью. Сторонние соображения отсутствовали, выгод и личных преимуществ не имелось, и люди шли, одухотворенные высокой, прекрасной готовностью на лишения, труды и саможертву. Минул год, минул другой, и картина изменилась... Старые работники устали и отошли в сторону: идея уже не имела той красоты, которою жили вначале... Только немногие, поистине сильные, остались нетронутыми на скорбном пути. Жизнь поставила много вопросов и выдвинула в организации огромные категории лиц, ничего общего с идеей не имеющих. А среди этих новых тускнели и переваривались, сбиваясь в общую массу, старые работники. Вы только вспом-

ните, как бескорыстны были первоначальные порывы. Долгие месяцы работали добровольцы у самых позиций и великодушно отказывались от всякой платы; вели замкнутую, тяжелую, спартанскую жизнь; ютились по грязным халупам или под открытым небом; жадно и ненасытно искали работы и шли туда, где ее было больше... Тогда именно, в самые первые месяцы, армия поняла, как бесценно дороги ей эти вольные работники, с широкой душой, с бескорыстной и самоотверженной готовностью делить с нею все невзгоды и муки. Тогда именно погибали героической смертью, тогда основалась вера в общественные союзы, основалась и закрепилась настолько, что никакие происки не могли разбить этой спайки между армией и союзами. Создали Северопомощь, какой-то зловонный и зловредный очаг, куда случайно попали хорошие люди. Думали отнимать незаметно у союзов одну функцию за другой, отнимать и передавать их Северопомощи, этому позорному бюрократическому гнезду... И что же получилось?.. Врачи и сестры сидели без дела, успокоенные огромными окладами; лазареты пустовали, и воинские части, обходя Северопомощь, передавали больных и раненых солдат в учреждения общественных организаций. Попадали туда только случайные, беглые или отставшие солдатики, которых они подбирали для регистрации: клали и беженцев, но мало... Назначение Северопомощи — утоление нужд беженцев — не оправдалось, потому что создалась она именно в ту пору, когда беженская волна остановилась и футляр остался без содержания. Но затея не лопнула. Они попытались было открывать всевозможные лавочки и чайные пункты... Что ж, дело хорошее, в таких пунктах нужда большая, ощутимая... Но сущность, основа Северопомощи — ее безыдейность — и на этот раз показала себя во всей силе.

Пункты лопались один за другим, как мыльные пузыри, потому что не было хороших и надежных работников. Оклады там были огромные, и, несмотря на такой важный соблазн, случаев перехода из общественных организаций туда не наблюдалось... Дело явно разваливалось, и, наконец, последовал приказ с 15 августа с. г. (1916 г.) начать ликвидацию учреждений Северопомощи. Факт знаменательный, его можно приветствовать как очевидную победу союзов над бюрократией.

как крах бюрократизма перед лицом армии... И разогнанная шайка поползла во все стороны... А в союзах уже недоставало работников, и потому многие попали туда, скрывая свой прошлое, зная, что оно одно может послужить достаточным основанием для отказа. Паршивая овца портит целое стадо... А таких овец уже много понабралось в союзы. Сначала тянула звучная, почетная марка, потом деньги, а потом — потом заговорила собственная шкура... До денег теперь стали все как-то особенно алчны. Люди, не бравшие вначале ни единой копейки, спокойно забирают сотни рублей и гордо заявляют, что они не служат, а „работают", потому что это не жалованье, а суточные... Часто услышите горячие споры об окладах, о возможной прибавке, о жадности союзов, о своем нищенском довольствии... И все это наделали, конечно, паршивые овцы и безработица... Да и не многие из нас способны на хроническое, длительное великодушие, так что метаморфоза об'ясняется легко и просто. Теперь большинство зачисляется в союзы, движимое единственно шкурным вопросом. Союз подает прошение о перечислении данного лица в санитары-добровольцы — и дело кончено, так как обычно освобождают. А санитар-доброволец занимает еще какую-нибудь почетную должность и сотню-другую ежемесячно откладывают за голенище. Даже самые лучшие не выстояли и попрятались за союзы, подыскивая себе не только оправдания, но даже и похвалы. Мне пришлось быть свидетелем интересного спора. Два студента, не призванные, работающие добровольцами союза с начала войны, подняли именно этот щекотливый вопрос о ложном добровольчестве.

— Да, я определенно утверждаю, что так работать в союзе, избрав его только ширмой, преступно; здесь полная безыдейность, а добровольчество прежде всего огненная одухотворенная идея. Правда, могуча она и прекрасна только по началу; я сам знаю, что расхоложенные добровольцы, вместо поэзии попавшие в жестокую прозу, оказывались полным ничтожеством. Я знаю, что многие из них, словно ошпаренные, отскакивали от суровой солдатской жизни и перебирались туда, где поспокойнее, шли в санитары, в писаря, в телефонные роты... А один христом-богом умолял начальника взять его в денщики, грозя самоубийством. Не рассчитали они, ошиблись... Но это ведь

следствия, а порыв у них был несомненной красоты и силы; их двинула идея; ну, пусть не идея, а только предчувствие ее — здесь важно то обстоятельство, что не было в этом порыве ничего личного и корыстолюбивого...

Были и другие добровольцы. Это глубоко несчастные люди, потерявшие цену и смысл жизни. Они шли с двоякой целью: или отдать подороже собственную жизнь, или возродиться... И возраждались, я знаю таких... Это горячие, усердные, многоценные работники. Им нечего жалеть и нечего бояться — потому на них всегда полагаются и с легкой душой доверяют самые ответственные поручения. Они жадно всматриваются в самую гущу человеческого мученья, словно хотят познать, до каких границ можно продолжить людское горе. Они жадно впивают в себя эти острые, жуткие впечатления и в них черпают силу для будущей личной жизни. Они видят, что в этом неизмеримо-огромном страданьи их личное горе кажется песчинкой, что люди молча переносят в тысячи раз горшие муки и ждут... ждут какого-то радостного, светлого солнца... И они приучаются молчать, страдать в глубоком, безмолвном одиночестве. Здесь тоже почтенная цель — сохранить и пропитать здоровой верой личную жизнь... Они были как бы отпетые, с понурой головой, с раздавленным сердцем. Они признавались чистосердечно, что, кроме, скуки и тоски, никому и ничего не могут дать, потому что неоткуда черпать силу и веру в жизнь — источник замутился... И (подумайте) эти люди — большей частью такие молодые и потенциально здоровые — возвращаются в жизнь! Да мало того, что возвращаются: они делаются самыми горячими, самыми искренними проповедниками светлой жизни, потому что пережили своею личной мукой весь ужас отчуждения и горького разочарования. Они думали, что все пропало, что иных путей нет и не может быть, что свет жизни играет только в счастливой, спокойной душе... И вдруг увидели, что они, такие скорбные и несчастные, могут славословить и горячо любить многогранную, страшно интересную своим многообразием жизнь... Вспомните, что все девушки, потерявшие женихов на войне, не оставались работать где-нибудь в лазарете, а шли непременно вперед, на позицию, потому что чувствовали, что только там, в самом горниле страданья, могут возродиться и поверить, что

не все еще в жизни утеряно. Здесь цель, здесь смысл — благородный и правдивый. Они не прятались от испытаний, они сами пошли к ним навстречу и почерпнули там новую, живую силу... Здесь шла борьба не на жизнь, а на смерть; они знали, что это страшное испытание будет и последним, потому спасения ждать неоткуда. И если бы здесь не нашли они настоящую правду — поверьте, что к старой жизни они не вернулись бы; они предпочтут сумасбродную смерть мучительно долгой и беспросветной пытке. Знайте, что эта война многих возродила к настоящей жизни, многим открыла затуманенные очи... Здесь смысл, здесь всюду смысл, а там, за ширмами,— там один позор трусости и малодушия...

— Но в союзы ведь ушло много таких,— возразил товарищ,— которые совершенно не способны к военной жизни; там они окажутся совершенно бесполезными, а может, и вредными... Их нельзя даже пускать туда. Они расшатают и поколеблют весь строй, на котором хотя и искусственно, но ведь ловко и твердо построено все это страшное дело... Они будут не у дел, понимаете? А здесь они, несомненно, полезны, здесь даже часто и необходимы. Ведь союзы наши только теперь развернулись так широко, обществу теперь только открылись новые пути, а вы хотите отнять у него лучших работников... Кто же строить-то будет? В строю ведь и простой смертный будет ценным, так зачем же отдавать туда и лучшие, драгоценные наши силы? От 10—15 тысяч не ушедших туда общественных работников мир не перевернется, а нам они, эти 15 тысяч, необходимы; они до конца будут руководить союзами и утвердят их законную славу и силу... А на этом ведь оснуется все общественное будущее... Вы только представьте, что это будет за разруха, если уйдут из союзов интеллигентные силы, и сами союзы мало-помалу распадутся... Это ведь полный крах общественности. Нет, если уж хотите, здесь цель окончательно оправдывает всяческие средства; и примите к сведению, что цель эта тоже бескорыстна, потому что забота об общественном строительстве не корысть...

— Нет, не согласен, товарищ, и вот почему: нет прежде всего людей, абсолютно неспособных к военной жизни. Мы все не героями родимся, и почему же такого вопроса не су-

ществует для крестьянина? Вы скажете — некультурность, кожа толста и прочее. Неправда. Вы знаете, что среди них много людей с тонкой и многосложной душой, и потом — разве офицер в такие условия попадает, как солдат? И все-таки что мы видим? Все эти ярославские огородники, все наши сельские владимирские богомазы, словно чудом, через 2—3 месяца окончательно привыкают ко всему ужасу... Дисциплина — великое дело, если уж брать войну как неизбежный и реальный факт. Все тушуется, все выравнивается и подгоняется под общую мерку. Пусть много здесь жестокости, но что же делать, коли вся война — сплошное насилие и сплошной ужас. Поэтому и не поверю я никогда, что большинство неспособно. Это привычная, старая и лживая оттоворка вроде той, что я, дескать, против войны... А скажите вы мне, разве все эти богомазы за войну? Разве они что-нибудь в ней понимают? Да ничего, совершенно ничего, а идут... И почему идут? Да все потому, что спрятаться некуда, что исход все равно один, куда ни поверни. А у нас вот имеется выход, у нас есть союзы, надежные, верные ширмы,— и мы прячемся. Ну разве это не малодушие? Делить, так поровну, всем надо делить, не разбираясь ни с чем. А мы готовы на произвол судьбы бросить своего покорного и беззащитного крестьянина. Пришла вот минута испытания, и попятилась красота земли, занедужилась наша интеллигенция... Вот почему и не верит крестьянин никогда интеллигенту; знает, что друг он ему только до черного дня, а там выставит его себе бруствером и спрячется за какую-нибудь идею... Это неправда, что большинство остается ради идейной работы в союзе — на первом месте здесь самый обыкновенный шкурный вопрос, а идею вспоминают после, догадываются, что за нее не только удобно, но и красиво даже спрятать все свое будничное малодушие.

— Но почему же вы-то работаете?

— Я не призван. Я за союз не прячусь, и когда позовут — ни минуты не останусь здесь, уйду...

— Значит, ждете, когда и вас силой погонят? Так не лучше ли было бы не ждать этого позорного принуждения, а пойти самому добровольно...

— А на это у меня свои соображения, и я вам поясню: никакого патриотизма, никакой особенной любви к родине у меня нет. Убивать или быть убитым я определенно не хочу и добровольно не пойду. Вы же знаете, что есть такие положения, когда ты вынужден быть зверем. Вы не хотите бить вот этого человека, но он вас бьет, и вы, охраняя себя, должны сопротивляться. Вас принуждают обстоятельства. Здесь вы не хотели бы итти в окопы, но вас принуждают и люди и обстоятельства. Вы покоряетесь. И вот я жду, пока не придет эта неизбежность. Здесь вопрос уже приходится ставить несколько в иную плоскость — здесь не ваши личные желания играют роль, а нравственная ваша обязанность. Положим, решено собрать 10 тысяч офицеров к воинским частям. А эти 10 тысяч ловко спрятались за союзы, и вполне естественно, что вместо них идут какие-то другие 10 тысяч. Это уже выходит, что вместо себя подставить другого, который мог бы избежать опасности, если б вы не спрятались за ширму. Здесь ясно, что дело нечестное — нечестное по самому обыкновенному земному закону, без всяких размышлений о высоком долге и прочем.

16 октября

ПОГРОМЫХИВАЮТ

Холодна и строга осенняя ночь. Безмолвны обитые ветром деревья,— словно на страже, они напряглись и раскинули злые, безлистные сучья. Крыши заострились, как нос у покойника: окна, словно фальшивые, злые глаза, матовеют во тьме... А надо всем — высокое, прекрасное, звездное небо... Там страшная, царственная тишина — тишина беспредельной, безгранной пустыни. Плещутся в небе, словно в океане, золотые рыбки, промерзшие чистые, нежные звезды... И вот-вот разорвется темносиний небесный хитон — разорвется и засыплет тихую землю ликующим быстрым алмазным дождем... И каждый алмаз умчится искать родную человеческую душу; осветит, осчастливит ее и, быстрый, как дух, трепеща и играя, снова умчится в небесную ширь...

Какая обильная красота в этой беззвучной и строгой тишине! Ни вздоха, ни шелеста, ни голоса человеческого... Уснула

земля... И вдруг, словно эхо бессильных и тяжких проклятий могучего демона, жадно и глухо во тьму ворвались отдельные стоны орудий... Снова и снова, и так без конца... Растревожили сонную, тихую землю, словно псы торопились пролаять покой... Зажигались снопами ракеты, долго плавали в темной дали, и усталые, нежные отблески как-то нехотя клали по темной кайме опьяненного звездами неба... И небо дрожало, словно боялось, что в бледной земной полосе затеряются, сгибнут красавицы-звезды... Тихо дрожало... А бархатный купол стал непроглядней — чернее древесной смолы... Сбились к нему перепуганно робкие звезды; нежно прильнули на мрачной его пелене и заиграли попрежнему чистым и трепетным светом... Больше нет тишины на земле... Где-то ржали холодные кони; где-то звякнули камнем о камень, и за речкой, на том берегу, чей-то слабый и сдавленный голос продышал изо тьмы:

— Заиграли... Опять громыхают...

И ему отозвался другой:

— Погромыхивают...

И умолкли. Ни слова. Ни звука. А на речке быстрела вода... и по-старому чистые звезды мерцали во тьме... Вдалеке замирали тяжелые стоны, все реже и реже вздыхали бесстрастные жертвы могучих орудий.

16 октября 1916 г.

РАННИМ УТРОМ

Под окном речка, а за речкой, на том берегу, по избушкам, как пчелы по ульям, разместились солдаты... И суета у них такая же бесконечная, как у пчел: сбегают по крутому берегу вниз, полощут белье, потом развешивают его на изгороди, на деревьях, на решетке, на затворах окна... И все время перебегают с места на место: то заглянут в сарай, то в соседнюю избушку, то в лавочку. И в лавочку особенно часто, потому что за прилавком там сидит румяная и приглядная молодица... Ходят туда и по делу, но больше поточить балясы... Вот он, черномазый, как уголь, и коренастый, как тумба, быстро взлетел наверх с полным ведром воды. Путь, кажется бы, прямой —

к себе в избу, ан нет, оказалась спешная нужда забежать в лавчонку: так и прет туда с ведром.

Ранним утром берег кишмя-кишит солдатами,— здесь им просторный и всегда чистый умывальник. Распоясые, всклокоченные, сморщенные и сгорбленные от холода мчатся они сюда сломя голову, чтобы хоть на бегу немного посогреться. А по утрам теперь стужа смертная, такая стужа, что и солнечные лучи помогают только к полудню... Река засветлела. Ввечеру у нее блестело только зыбкое, упругое лоно, а по краям, у самых берегов, было сумрачно и жутко. Теперь на песочке, у берега, вода словно поредела, сделалась светлой и ясной, а по середине зарябилась, скаталась в упругие стальные жгутики и прочернела... Сбегаются солдаты, и начинается вакханалия... Впрочем, каждый моется по-своему. Вот этот крепкий, русый парень трет себе лицо, шею и голову настолько отчаянно, настолько размашисто и крепко, словно чистит сапоги. Вода холодная до боли, стекает ему за рубаху и на грудь, и на спину, и в рукава, но ему словно и дела нет: натерся, намылся и так же отчаянно начал крутить из стороны в сторону холщевым полотенцем... Когда намылился, отбросил мыло на траву как ненужную, лишнюю вещь; другой положил свое мыло на кончик сапога и сгибался бережно и осторожно, чтоб не свалить; третий забрался кверху, положил его в траву, снова спустился и начал умываться. Этот последний как-то странно растирал его в руках: ладони были совершенно распрямлены и тесно прижаты одна к другой, тер он медленно и тихо, словно боялся раздавить какую-то драгоценность; потом, намыливаясь, бережно прикладывал ладони к щекам, к вискам, ко лбу, словно клал туда мазки, или ощупывал чуткое переболевшее лицо. Мылся не пригоршней, а одной рукой — другая растирала. Когда подымались в гору, игривый сосед ударил его полотенцем по заду. Мыльник повернулся, что-то заметил ему спокойно и вразумительно, потом тряхнул рукой по собственному заду, словно там могло что остаться от чужого полотенца... Ему было лет 35. Бежали другие — с ведрами, чайниками, кружками. Толкались, кричали, хохотали, брызгались водой... По всему берегу было невообразимое оживление, а пожалуй, и настоящее веселье — веселье молодого, сильного, холодного утра.

У ДРИСВЯТ

Рассказывал офицер. По делам полка он остался на месте, а полк давно уже переправился в Румынию. Вечером он заходил к нам скоротать время, а так как любил пёвануть, то частенько и „спивалы".

У Дрисвят было гнусно. Мы стояли там зимой: вьюги, метели, высокие сугробы и непроглядная тьма. Там и днем были какие-то странные сумерки... По озеру надо было итти версты 4, прежде чем доберешься до неприятельской проволоки. А устроился неприятель таким образом: протянул рядов 6—8 проволоки и тут же, вслед за рядом, поперек всего озера выбил прорубь, а за нею новые ряды... Вот и подступись. Так простояли целую зиму безо всякого дела. Разведки, конечно, были и часто с потерями, но смысла мы в них не видели никакого. Часто в пургу закружишься и не знаешь, куда итти: где уж тут „языка" достать. Одному товарищу-офицеру было поручено принести во что бы то ни стало хоть поларшина неприятельской проволоки. Ночь была чернее смолы. Он сразу же сбился, солдаты растерялись, и они втроем уже только на заре кое-как нашли свою часть. Так что же он сделал? Взял свою проволоку и представил. Поверили — тем и дело кончилось. А дело ведь грозило позорной смертью, если б открылся обман. Да и не долго жил он после того: ранней весной поднялся он наблюдателем на аэроплане. Перед наступлением надо было окончательно выверить неприятельские места. Навстречу, значительно выше, летел чужой аэроплан. Когда сравнялись — верхний отчаянно стал бить из пулемета и, повидимому, что-то пробил у нашего, потому что сейчас же там показался дымок: это вспыхнул бензин. В это мгновение мы увидали, как в воздухе распласталось человеческое тело: охваченный ужасом офицер выбросился за борт, а обгоревшего и разбитого летчика нашли за 10 верст, на луговине: он до последней минуты не терял надежды приземлиться во-время и сгорел за рулем. А бедный офицер расколотился о те самые окопы, в которых зимовал долгие месяцы...

Помню одно наступление: жестокое, бессмысленное... Был отдан приказ наступать в одиночку... А окопы наши и вражьи

были по склонам, так что бежать приходилось по оврагу. И как только показывалась спина выползавшего из окопа солдата,— оттуда открывали жаркую нещадную пальбу... Так погибли все мои люди, остался один старик. „Полезай,— говорю,— и ты“. А он крестится и шепчет что-то непонятное... „Иди,— говорю,— иди, старик, ничего не поделаешь“. И он пополз... У меня холодно было на сердце... Через минуту я услышал его отчаянный крик... Было видно, что он снова ползет в окоп, но враги заметили и новым залпом прибили его на месте.

Из моих 80 человек только четверо были ранены и остались живы, остальных похоронили... Жестоко было, а главное бессмысленно. Нам-то ясно было, что в одиночку наступать безрассудно, к тому же и без артиллерии, а оттуда, издалека приказывали свое...

И мы были бессильны... Так во всех смежных частях перебили почти всю силу...

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

От редактора 9
1914 и 1915 гг. 11
1916 161

26328

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ